

ГРИГОРИЙ
ЧХАРТИШВИЛИ

ПИСАТЕЛЬ
И

САМОУБИЙСТВО



Григорий
Чхартишвили

ПИСАТЕЛЬ
И
САМОУЧЕНИСТВО



ЗАХАРОВ

**Григорий
Чхартишвили**

**ПИСАТЕЛЬ
И
САМОУБИЙСТВО**



ЗАХАРОВ • МОСКВА

УДК 882-94
Ч 97

**Я очень благодарен тем,
кто помог мне в работе над этой книгой:**

Н.Богомолову, Н.Богомоловой,
П.Вайлю, Л.Васильевой,
С.Гандлевскому, Э.Гушанскому,
Г.Дашевскому, Б.Дубину,
И.Кукулици, Б.Мизрахи,
Й.Пейчичу, Л.Розенблюм,
Д.Рэмптону, И.Сапожниковой,
И.Смирнову, К.Старосельской,
М.Тарасовой, О.Тимофеевой,
М.Харитоновой

Издание второе, исправленное

ISBN 5-8159-0579-8 (кн.1)

ISBN 5-8159-0578-X

© Г.Чхартишвили, 1999, 2006

© Ирина Евг. Богат, издатель, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

-7-

Часть первая ЧЕЛОВЕК И САМОУБИЙСТВО

-13-

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

-15-

Человек
становится человеком

-15-

Античность

-21-

Средневековые

-25-

Новое время

-29-

Век самоубийств

-34-

Приложение
Венец эволюции.

Футурологический эпюд

-40-

Приложение к приложению
Предписание для врача, составляю-
щего отчет об эвтаназии

-48-

РАЗДЕЛ II. РЕЛИГИЯ

-50-

Христианство

-54-

Иудаизм

-63-

Ислам

-67-

Индуизм и буддизм

-72-

Приложение

Культы «Нового века»
и самоубийство

-80-

РАЗДЕЛ III. ФИЛОСОФИЯ

-98-

Pro

-101-

Contra

-116-

Приложение

Сомнения

Достоевского.

Необходимое объяснение

-130-

РАЗДЕЛ IV. ТЕОРИИ

-150-

Общество

-153-

Психика

-158-

Альтернативные теории

-166-

Приложение

Эдипов комплекс в истории
суммицидентов X. и Г.
Опыт патологоанатомического
психоанализа

-173-

**РАЗДЕЛ V.
ГЕОГРАФИЯ**

- 192-
- Самоубийство по-русски
- 200-
- Самоубийство по-немецки
- 223-
- Самоубийство по-английски
- 231-
- Самоубийство по-японски
- 242-
- Приложение.
- Огненное спасение
- 262-

**РАЗДЕЛ VI.
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ**

- 271-
- Приложение
- Красивая смерть.
- Введение в теорию
- и практику хакири
- 289-

**Часть вторая
ПИСАТЕЛЬ
И САМОУБИЙСТВО**

- 297-
- Опасная профессия
- 299-

**РАЗДЕЛ I.
КАК У ЛЮДЕЙ**

- 314-
- «Последняя капля»
- 314-

Юность

- 323-
- Старость
- 333-
- Нужда
- 343-
- Утрата
- 350-
- Любовь
- 356-

Однополая любовь

- 372-
- Болезнь
- 379-
- Пьянство
- 387-

Наркотики

- 393-

Политика

- 400-

Безумие

- 412-

Странности характера

- 421-

**РАЗДЕЛ II.
НЕ КАК У ЛЮДЕЙ**

- 428-

Творческий кризис

- 428-

Эмиграция

- 439-

Жизнь как роман

- 446-

Послесловие

- 460-

ПРЕДИСЛОВИЕ

Название этой книги может ввести в заблуждение.

На первом месте стоит «писатель», «самоубийство» на втором, но на самом деле автора в первую очередь занимает именно самоубийство, «неизъяснимый феномен в нравственном мире» (Карамзин), а почему этот феномен рассматривается через призму писательских судеб, будет объяснено чуть ниже. Итак, это не литературоведческое исследование.

Причин для написания книги было две — субъективная и объективная или, если угодно, частная и общественная.

Причина внутренняя, сделавшая процесс работы над книгой полезным для автора, — давняя и с годами все более настоятельная потребность разобраться в вопросе, которым задавались многие.

Допустимо ли самоубийство, не нарушает ли оно правил «честной игры», в которой участвует каждый из живущих?

Ответ у всякого свой, да иначе и быть не может — ведь здесь сталкиваются две разносистемные аргументации: эмоциональная и рациональная. Проблема осложняется еще и тем, что мировоззрение автора, как и у большинства соотечественников той же генерации, представляет собой вполне языческую мешанину из материалистического воспитания, головного почтения к христианству, философских теорий и личных предположений. Собрать воедино всю информацию по данной теме, взвесить доводы «за» и «против» — вот субъективная мотивация этого исследования.

А внешняя причина, которая, хочется надеяться, сделает книгу полезной для читателя, такова: тема самоубийства, одна из важнейших для человека (как известно, А.Камю считал ее самой важной) и в особенности актуальная для России, освещена на русском языке крайне скупо. Мож-

но сказать, вовсе не освещена. В каталоге мировой суицидологической литературы содержится более 5000 названий, но нет ни одной русской книги, попытавшейся бы объединить и обобщить различные аспекты явления, в котором, вероятно, заключается главное отличие человека от животного — человек знает о том, что смертен, и именно это знание дает ему возможность выбора между *to be* и *not to be*.

Отсутствие русской литературы о самоубийстве понятно. Настоящий, то есть востребованный обществом, интерес к проблеме суицида возник лишь в конце прошлого века, когда в урбанизированной Европе самоубийство стало превращаться в серьезную социальную проблему. Именно тогда появилось классическое исследование Э.Дюркгейма «Самоубийство» (1897), за которым в первые десятилетия XX века потянулись пятитысячный шлейф последующих суицидологических штудий. В дореволюционной России темы самоубийства (вернее, лишь ее религиозно-нравственного среза) успела коснуться только художественная литература. После 1917 года в течение семидесяти лет существование проблемы в нашей стране отрицалось, а посттоталитарный период, очевидно, еще слишком короток, чтобы могло появиться фундаментальное исследование столь сложного предмета.

Отсюда нежелание автора придавать книге наукообразие при помощи сносок, отсылок, комментариев и прочих атрибутов научного издания. Перед вами не научный трактат, а эссе, то есть сочинение исключительно приватное, никоим образом не пытающееся занять место первого русского всеобъемлющего труда по суицидологии. В библиографическом списке названы лишь те работы, которые, с моей точки зрения, могут быть полезны или интересны читателю, желающему глубже изучить тему.

Личные пристрастия автора также выразились в следующем:

В злоупотреблении его любимыми знаками препинания — тире, двоеточиями и скобками.

В обилии всего японского — из-за того что автор японист и еще потому, что с точки зрения суицидологии Япония — страна, представляющая совершенно особый интерес.

В большом количестве цитат¹, что несомненно объясняется некоторым страхом перед темой, изучение которой подобно прогулке по минному полю. Высказывания мудрых предшественников по тому или иному ее аспекту подобны флажкам, означающим, что здесь уже побывали саперы (впрочем, мины остались необезвреженными). Признаюсь, что страх — вообще один из главных стимулов написания этой книги. Но, как сказал Милорад Павич: «Если движешься в том направлении, в котором твой страх растет, ты на правильном пути».

Однако пора объяснить, почему книга названа не просто «Самоубийство», а «Писатель и самоубийство». Литераторы взяты как частный пример homo sapiens, достаточно компактный, легко идентифицируемый и к тому же наиболее удобный для изучения. Вообще-то эта книга не о писателе-самоубийце, а о человеке-самоубийце. От обычного человека писатель отличается тем, что в силу своей экспозиционистской профессии выставляет душу на всеобщее обозрение, мы знаем, что у него внутри. Человек пишущий привык в себе копать, его душевное устройство — то топливо, которым питается перо (стилос, авторучка, пишущая машинка, компьютер). Он лучше понимает мотивы своих поступков и уж во всяком случае лучше их вербализирует. Если литератор покончил с собой, обычно не приходится ломать голову, из-за чего он совершил этот поступок: писатель заранее дает ответ или напрямую (письмом, дневниковой записью, прощальным стихотворением), или косвенно — своим творчеством, даже самой своей жизнью. Вспомним стихотворение Олега Григорьева, ставшее народной классикой «черного юмора»:

*Я спросил электрика Петрова:
«Ты зачем надел на шею провод?»
Ничего Петров не отвечает.
Только тихо ботами качает.*

¹ Из-за обилия цитат, часто представляющих собой отдельные фразы или маленькие фрагменты текста, я не указываю имена переводчиков, за что прошу у них прощения. В книге указаны лишь переводчики стихов.

В том-то и дело, что электрик Петров на этот вопрос не ответит, а писатель ответит, да подчас так аппетитно, что кое-кто из читателей тоже потянется к проводу.

Люди творческих профессий относятся к так называемой группе высокого суицидального риска. Это объясняется обнаженностью нервов, особой эмоциональной незащищенностью и еще — опасной кощунственностью избранного ими ремесла. Человеческое творчество в известном смысле святотатственно; ведь с точки зрения большинства религий Творец только один, а земные творцы — узурпаторы, берущие на себя прерогативу Высшей Силы. В первую очередь это относится именно к писателям, создающим собственный космос. Чем писатель талантливей, тем эта бумажная вселенная правдоподобней и жизнеспособней. Но писатель не бог, и ноша, которую он на себя взваливает, иногда оказывается непосильной.

Всякий человек, живущий не только телесной, но и умственной жизнью, рано или поздно примеряет на себя возможность самоубийства. Но человеку творческому, и прежде всего литератору, эта идея особенно близка, она всегда витает где-то рядом. Более того, она соблазнительна. Возможно, дело в том, что истинно творческому человеку трудно мириться с мыслью, что он — тварь, то есть кем-то сотворен; если ты не смог себя создать, то по крайней мере можешь сам себя уничтожить.

Об искусстве самоуничтожения литераторы писали много и красиво.

«Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья... Есть особый соблазн гибели, упоение гибелью как трагически прекрасной... Всякий мужчина, кто брал в руки бритву, не мог не подумать о том, как легко он мог бы прервать серебряную нить жизни... Мысль о самоубийстве — сильное утешительное средство: с ней благополучно переживают иные мрачные ночи...» (Пушкин — Бердяев — Байрон — Ницше).

В одном из первых сохранившихся литературных памятников, написанном на египетском папирусе, изложен спор между уставшим от несчастий человеком и его душой: следует ли цепляться за жизнь или лучше

выбрать смерть. Тема самоубийства возникла одновременно с литературой. Среди первых жертв — мать Эдипа Иокаста и утопившийся в море своего имени царь Эгей. Пращур всех писателей легендарный Гомер, согласно одному из преданий, повесился, не сумев разгадать загадку. История этого и многих других писательских самоубийств изложена в третьей части книги, которая называется «Энциклопедия литературицида» (термин *litteraturicide*, то есть «самоубийство посредством литературы», придуман Артюром Рембо).

Но пора объяснить, как построена эта книга.

Ее главное архитектурное достоинство состоит в том, что книгу совершенно необязательно читать насквозь, с первой до последней страницы. Каждый раздел и каждая глава представляют собой автономное эссе, читать (или пропускать) которые можно в произвольном порядке. Людям, хорошо осведомленным о предмете, автор рекомендует вовсе пропустить первую часть «Человек и самоубийство» — они не найдут там для себя ничего нового. Эта часть посвящена истории суицида и накопленному суицидологическому опыту. Она включена в книгу вынужденно, вследствие уже упомянутого отсутствия отечественной литературы по теме.

Отдельный пласт образуют приложения, завершающие каждый из разделов первой, теоретической части. Приложение — это вставная новелла, которая выполняет роль иллюстрации к данному аспекту суицидологии; это крупный план какой-то одной детали, представляющей автору особенно важной или интересной.

Основная часть книги — вторая, титульная, в которой предпринята попытка классификации самоубийств по мотивам. Почти все из выявленных Всемирной организацией здравоохранения причин добровольной смерти встречаются и у литераторов, которые, будучи наделенными талантом облекать мысли и чувства в слова, являются идеальными свидетелями и защиты, и обвинения суицида. Главы второй части так и названы: «Юность», «Старость», «Болезнь», «Политика», «Любовь» и так далее. Большинство описываемых в книге случаев взяты из жизни писателей-самоубийц.

Третья часть книги, «Энциклопедия литературицида», содержит биографические сведения о 370 литераторах-самоубийцах разных стран и эпох.

И в завершение о тех, кому адресовано это сочинение.

Самоубийство — происшествие гораздо более распространенное и обыденное, чем представляется многим из нас. Наверняка у каждого из читателей есть родственник, друг или хотя бы знакомый, ушедший из жизни добровольно. Ежедневно около 1200 обитателей Земли убивают себя, и еще семь с половиной тысяч пытаются это сделать. В статистике смертей развитых стран суицид опережает убийство и ненамного отстает от дорожно-транспортных происшествий. Современная Россия — в первом ряду стран с высокой суицидной смертностью. В течение полутора лет, пока писалась эта книга, без малого сто тысяч моих соотечественников выбрали вторую часть дилеммы, которая в зависимости от перевода формулируется несколько по-разному:

Быть или не быть? (Б.Пастернак)

Жить или не жить? (А.Соколовский)

Жизнь или смерть? (А.Месковский)

Одно из недавних социопсихологических исследований делит все человечество на пять суицидологических категорий:

- люди, никогда не задумывающиеся о самоубийстве;
- люди, иногда думающие о самоубийстве;
- люди, угрожающие совершить самоубийство;
- люди, пытающиеся совершить самоубийство;
- люди, совершающие самоубийство.

Счастливых, относящихся к первой категории, заинтересовать своей книгой я не надеюсь. Она посвящена остальным четырем пятым человечества.

часть первая

ЧЛОВЕК
И САМОУБИЙСТВО

948503035783

0354т.

068963

068963

948503035783г

0354т.

068963

948503035783

0354т.

068963

2398457fjw3948503035783г

354т.

068963

Раздел I

История вопроса

Человек становится человеком

*Отличие человека от животного
состоит в том, что человек может по-
кончить жизнь самоубийством.*

Жан Поль Сартр



Если теория эволюции верна и человек действительно произошел от обезьяны или какого-то доисторического пра-человека, не вполне ясно, в какой именно момент была преодолена черта, отделяющая один из видов млекопитающих от «высшей ступени живых организмов». «В череде трудноразличимых форм, отделяющих ныне существующего человека от неких обезьяноподобных существ, невозможно определить конкретный пункт, начиная с которого можно применять термин “человек”» (Ч.Дарвин).

Когда же все-таки человек стал человеком?

Тогда, когда две верхние конечности освободились от

ходьбы и появилась потребность их чем-то занять? Когда появились первые орудия труда и охоты? Когда крики, мычание и повизгивание стали приобретать черты членораздельности? Когда появилось представление о Высшей Силе?

Все это безусловно очень важные этапы нашей биографии, но в них ли дело? Обезьяны ведь тоже могут передвигаться на задних лапах, размахивают палками и кидаются камнями. Дельфины, кажется, издают осмысленные звуки. А что касается высшей силы, то для собаки хозяин — такая же непостижимая в своем всемогуществе инстанция, как для верующего Бог.

Попробуем по-другому. В чем главное отличие человека от животного? Это более или менее ясно: в абстрактном мышлении, то есть способности делать выводы, заключения и предположения на основании некоей частичной информации. Однажды прямоходящее и размахивающее палкой существо с выпирающими надбровными дугами и скошенным подбородком посмотрело на засохшее дерево, на убитую птицу или, скажем, на упавшего со скалы родича и вдруг поняло: оно тоже рано или поздно умрет. В тот самый миг *homo erectus* сделал первый рывок к превращению в *homo sapiens*. А второй и уже окончательный рывок был сделан, когда неандерталец осознал, что обладает свободой выбора: может стоять на скале и смотреть сверху вниз, а может лежать под скалой и никак не реагировать на происходящее вокруг. Достаточно сделать один-единственный шаг.

Так у человека впервые возникло представление о свободе, и он стал человеком.

Правда, некоторые ученые утверждают, что суицид существует и в животном мире. В качестве доказательства приводят массовое самоубийство китов, или отказ некоторых диких зверей жить в условиях неволи, или домаш-

них животных, умирающих от тоски по любимому хозяину. Рассказывают, что собака Моцарта уморила себя голодной смертью на его могиле. Кантака, верный конь царевича Шахьямуни, не перенес разлуки с хозяином, избравшим путь аскезы, лег на солому и умер, чтобы затем возродиться в буддийском раю.

Такие случаи не столь уж редки (имеется в виду не вознесение домашних животных в рай, а их безграничная, саморазрушительная преданность хозяину), однако здесь вряд ли корректен термин «самоубийство». Это — от извечной человеческой склонности к антропоморфизму и романтике. Когда животное ведет себя таким образом, что это приводит его к гибели, следует говорить не о суициде, а об угасании жизненного инстинкта, каковое может быть обусловлено разными обстоятельствами: стрессом, бешенством, стадным чувством и проч.

Подобное утверждение проистекает вовсе не из антропоцентристской гордыни, а из определения, точно и исчерпывающе сформулированного Эмилем Дюркгеймом сто лет назад.

«Самоубийством называется всякий смертный случай, являющийся непосредственным или опосредованным результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот пострадавший знал об ожидавших его результатах».

Более лаконично ту же дефиницию излагает современный суицидолог Морис Фарбер:

«Самоубийство — это сознательное, намеренное и быстрое лишение себя жизни».

Здесь существенен каждый из трех компонентов.

«Сознательное» и «намеренное» в данном случае не синонимы. Намерение выбрасывающегося на берег кита сомнений не вызывает, но говорить о сознательности этого поступка у нас нет оснований, поскольку нас учили, что животные сознанием не обладают. Возможно, некий мощный, но вероломный инстинкт подсказывает киту, что на берегу его ожидает нечто неописуемо приятное, а вовсе не острые камни и тесаки охотников за ворванью.

Вряд ли можно назвать сознательным и самоумерщвление бедного Николая Гоголя, заморившего себя голодом во время Великого Поста. Намерение писателя довести себя до смерти было очевидно: «Надобно меня оставить, — говорил он. — Я знаю, что должен умереть» (свидетельство Н.Погодина); «Надобно ж умирать, а я уже готов, и умру» (свидетельство А.Хомякова); перед самой смертью сказал: «Как сладко умирать!» (свидетельство С.Шевырева). Однако как страстный, фанатичный христианин, Гоголь не мог сознательно стремиться к суициду, и потому в «Энциклопедии литературы» биографической справки о нем вы не найдете.

Наконец, уточнение о «быстром» лишении себя жизни понадобилось для того, чтобы отделить суицид от суицидального поведения, которому подвержено большинство людей, ибо современная суицидология относит сюда и выбор сопряженной с риском профессии (гонщик, альпинист, полицейский, военный), и наркоманию, и алкоголизм, и курение, и даже несоблюдение диеты. Все эти люди (процентов этак девяносто от населения планеты) совершают медленное самоубийство, отлично зная, что гоночные машины разбиваются, капля никотина убивает лошадь, пьянство приводит к циррозу, соль — это «белая смерть», а холестерин — эвфемизм для чаши с цикутой.

Человек научился лишать себя жизни сознательно, намеренно и быстро очень давно — задолго до изобретения колеса и покорения огня. Это подтверждается трагической историей тасманских туземцев, истребленных белыми поселенцами: аборигены находились на очень низкой стадии материального развития, однако уже знали, что, если жизнь становится невыносимой, ее можно прекратить. Многие из тасманийцев, на которых вчерашние каторжники охотились, как на диких зверей, так и поступили.

Мы можем до известной степени реконструировать практику и восприятие суицида в доисторическом обществе, используя исследования антропологов первой половины XX века, когда на Земле еще существовало немало оазисов первобытной жизни, а суицидология уже считалась важной и самостоятельной дисциплиной.

У одних племен самоубийство было распространено в большей степени и почиталось одним из дозволенных стереотипов поведения, у других табуировалось и сурово каралось, но тем не менее все равно присутствовало в культуре.

Там, где условия жизни были особенно суровы и община балансировала на грани голодной смерти, существовал обычай избавляться от членов, которые перестали быть полезными из-за увечья или старости. Обычно старики уходили из жизни добровольно. В древней Европе (у датчан, готов) этот ритуал сохранялся вплоть до христианской эры. У вестготов была так называемая Скала предков, с которой бросались старики, не желавшие обременять собой сородичей. Такой же обычай описан у испанских кельтов. На острове Кеос во времена античности старики украшали головы венками и устраивали веселый праздник, в конце которого пили цикуту. Еще совсем недавно, в Новое время, в голодных горных деревнях провинциальной Японии ста-

рики и старухи, которые больше не могли работать и чувствовали, что превратились в обузу для своих детей, требовали, чтобы их отнесли в горы и оставили там умирать голодной смертью. Этот обычай, известный нам по литературе и кинематографу, оставил о себе память и в географии: название горы Обасутэяма буквально означает «Гора, где оставляют бабушек». Когда миссионеры добрались до голодных снежных пустынь, где обитали эскимосы, христианских пастырей потряс жестокий туземный обычай: старики, чувствуя приближение дряхлости, сами уходили в тундру и замерзали там. Один из миссионеров, с успехом распространявший среди дикарей Слово Божье, убедил свою паству отказаться от этого варварского обычая. Когда несколько лет спустя просветитель вернулся в те же места, обнаружилось, что род вымер — новообращенным христианам не хватило пропитания.

Жители Меланезийского архипелага, сохранявшие родо-племенной строй еще в 20-е годы нашего века, воспринимали самоубийство без осуждения. Это был вполне укорененный способ самонаказания (в виде извинения или кары за нарушение табу) и даже мести. Меланезийские самоубийцы прыгали с высокой пальмы или принимали отраву.

В доклассовых сообществах, находящихся на чуть более продвинутой стадии развития, появляются первые ограничения против самоубийства как наносящего ущерб общине. Во многих племенах Нигерии, Уганды и Кении, изученных в начале века, суицид считался безусловным злом. Родственникам самоубийцы запрещалось прикасаться к трупу. Злодеяние требовало обряда очищения: дерево, на котором повесился преступник, сжигали; той же участи подвергалось его жилище. Родственники дол-

жны были принести искупительную жертву — быка или овцу.

Историческая тенденция такова: с возникновением и развитием классов и государства общество относилось к самоубийству все более строго. Это и понятно — интересы государства требовали все большего и большего ограничения частной свободы; механизм насилия над личностью неминуемо должен был покуситься на главную область человеческой свободы.

Античность

Если ничего не чувствовать, то это все равно что сон, когда спишь так, что даже ничего не видишь во сне; тогда смерть — удивительное приобретение... С другой стороны, если смерть есть как бы переселение отсюда в другое место и верно предание, что там сходятся все умершие, то есть ли что-нибудь лучше этого, судьи?

Платон. «Апология Сократа»



античном обществе отношение к суициду менялось от терпимого и, в отдельных случаях, даже поощрительного в ранних греческих государствах к законодательно закрепленному запрету в поздней римской империи. Философские воззрения древних на суицид будут рассмотрены в одной из следующих глав, пока же речь пойдет о том, как расценивали самоубийство общество и власть.

Государственные мужи Древней Греции признавали за

гражданами право на уход из жизни лишь в некоторых случаях. Часто разрешение на самоубийство давалось осужденным преступникам (вспомним историю Сократа). Самоубийство, совершенное без санкции властей, строго осуждалось и каралось посмертным поношением: в Афинах и Фивах у трупа отсекали руку и хоронили ее отдельно. Известна история спартанца Аристодема, искавшего и нашедшего гибель в Платейской битве. В отличие от летчиков-камикадзе и Александра Матросова, он удостоился не почестей за героизм, а хулы и осуждения.

Вместе с тем в той же Спарте чтит память самоубийцы Ликурга, которого следовало бы поставить в пример политикам последующих веков. Прославленный законодатель отправился к дельфийскому оракулу, взяв с сограждан клятву жить по введенным им законам, пока он не вернется. Когда оракул одобрил нововведения реформатора, Ликург уморил себя голодом, чтобы связанные словом спартанцы продолжали жить по его правде и дальше.

В Афинах и ряде других городов имелся особый запас яда для тех, кто желал уйти из жизни и мог обосновать свое намерение перед ареопагом. Читаем у Либания: «Пусть тот, кто не хочет больше жить, изложит свои основания ареопагу и, получивши разрешение, покидает жизнь. Если жизнь тебе претит — умирай; если ты обижен судьбой — пей цикуту. Если сломлен горем — оставляй жизнь. Пусть несчастный расскажет про свои горести, пусть власти дадут ему лекарство, и его беде наступит конец».

Итак, государство уже вторглось в область сокровенной и окончательной свободы, но пока еще ведет себя деликатно и снисходительно — разумеется, лишь по отношению к полноправным гражданам, поскольку рабам свободы не полагалось вовсе.

В Риме, особенно после создания империи, строгость закона по отношению к *mors voluntaria* («добровольная смерть» и звучит-то куда симпатичнее, чем «суицид») усугубилась. В кодексе императора Адриана (II век) легионеру за попытку самоубийства полагается смертная казнь: «Если солдат попытается умертвить себя, но не сумеет, то будет лишен головы». А дальше следует характерная оговорка: «...в том случае, если только причиной тому не были невыносимое горе, болезнь, скорбь или иная подобная причина». Далее названы и иные смягчающие вину мотивы: «усталость от жизни, безумие или стыд». Даже с учетом *capite plectatur*¹ для самоубийц, не подпадающих под вышеуказанные категории (а они, согласитесь, допускают самую либеральную интерпретацию), то получается, что во времена Адриана преторское право относилось к несчастным самоубийцам куда гуманнее, чем европейское законодательство XIX столетия — во всяком случае, признавало наличие обстоятельств, оправдывающих суицид. В «Дигестах» Юстиниана, классическом своде римского права (VI век), осуждается только самоубийство «без причины», ибо «тот, кто не жалеет себя, не пожалеет и других». «Не следует также предавать погребению тех, кто повесился или иным образом наложил на себя руки не вследствие невыносимости жизни, а по своей злой воле», — гласит закон. «Невыносимость жизни» — это еще либеральнее, чем трактовка Адриана. Правда, поблажки для солдат в кодексе Юстиниана отменяются — по тяжести преступления попытка самоубийства приравнивается к дезертирству.

Но, как и в Греции, относительная свобода распоряжаться если не собственной жизнью, то собственной смертью

¹ смертная казнь (лат.)

предоставлялась только свободным жителям империи. Самоубийство раба влекло за собой показательные акции устрашения. Чтобы при продаже живого товара покупателю не подсовывали рабов со скрытым браком — склонностью к депрессии, — существовал специальный закон, предусматривавший нечто вроде «гарантийного срока»: если купленный раб кончал с собой в течение 6 месяцев после заключения сделки, продавец был обязан вернуть покупателю полученные деньги.

Государство могло себе позволить двойной стандарт по отношению к суициду до тех пор, пока рабы считались недочеловеками, однако после того, как христианство приобрело статус официальной религии, возникла насущная потребность в унификации. Положение усугублялось тем, что в позднеримской империи самоубийства рабов необычайно распространились и стали приобретать черты эпидемии. Трудно запугать человека, решившего покончить счеты с жизнью, посмертным глумлением над его бренными останками или мучительной казнью — это лишь понуждает самоубийцу выбирать более надежный способ самоуничтожения. Понадобились меры более эффективные и кардинальные. Их предоставила в распоряжение государства христианская церковь.

Если светская власть лишала человека свободы лишь в его физической ипостаси и только на период его земной жизни, то власть церковная давала возможность стреножить и душу, ибо юрисдикция религии простиралась и в жизнь загробную.

Наступила эпоха, когда человек был неволен распоряжаться ни своим телом, ни своей душой. И продолжалось это больше тысячи лет.

Средневековье

...Переход от сей жизни к лучшей не во власти человеческого произвола, а во власти Божией. И не дозволено человеку убивать себя, дабы попасть в лучший мир.

Фома Аквинский. «Сумма теологии»



еприятный факт: христианство повело страстную, непримиримую борьбу с самоубийцами, продолжающуюся и поныне, не столько из высших соображений, сколько из меркантилизма, выполняя заказ земных властей. Все имеет свою цену, в том числе и возможность спасти миллионы душ, которую христианство получило с обретением статуса государственной религии.

Не секрет, что в первые века своего существования гонимая религия относилась к мученичеству, то есть альтруистическому самоубийству во имя веры, с благоговением. Христианство не смогло бы добиться такого авторитета без страстотерпцев, добровольно шедших на крест или на арену цирка, в пасть голодным хищникам. Однако государству и государственной религии мученики ни к чему — никогда не знаешь, чего от них ожидать, и примерно с V века отношение церкви к добровольной смерти во имя веры начинает меняться.

Утвердив принцип «кесарю кесарево», церковь расширила трактовку принципа «Богу Богово»: бессмертная душа принадлежит Всевышнему, и только Он волен ей распоряжаться.

Искоренение беса самоубийства проводилось с трудно вообразимой для наших времен обстоятельной неторопливостью, растянувшись на столетия. Первая атака была предпринята еще на закате Западной империи, на Арльском соборе 452 года, где суицид впервые был объявлен преступлением, а те, кто его совершают, — «объятыми дьявольским безумством» (*diabolico persecutus furore*). В 533 году Орлеанский собор, следуя пожеланию судебных властей, отказал в христианском погребении самоубийцам из числа осужденных преступников, ибо, совершив самосуд, они обманывают закон, уходят от положенного наказания. Следующий шаг был предпринят на Бражском соборе 563 года, введшем карательные санкции против всех самоубийц: им отказали в церковном отпевании и погребении. Толедский собор 693 года отлучил от церкви не только самоубийц, но и тех, кто, попытавшись покончить с собой, остался жив.

Христианская церковь относилась к самоубийству гораздо непримиримее, чем к убийству. Эта явная несправедливость аргументировалась тем, что убийца еще может раскаяться в своем злодеянии, а самоубийца такой возможности лишен. На самом же деле снисходительность к первому из смертных грехов объяснялась все теми же государственными интересами: и светской, и церковной власти было не обойтись без собственных убийц, состоявших у них на службе.

Каждая из ужесточающих мер, вводимых церковью против самоубийц, немедленно сопровождалась еще более строгими актами светской власти.

В «Канонах» английского короля Эдуарда (XI век) самоубийцы приравниваются к ворам и разбойникам. Почти тысячу лет, до 1823 года, в Британии суще-

ствовал варварский обычай хоронить самоубийцу на перекрестке дорог, предварительно протащив труп по улицам и проткнув ему сердце осиновым колом. На лицо «преступнику» клали тяжелый камень.

В средневековом Цюрихе утопившихся зарывали в песок возле воды; зарезавшихся выставляли на поругание, вонзив в деревянный чурбан орудие самоубийства. В Меце тело грешника засовывали в бочку и пускали по Мозелю — подальше от оскверненного родного города. В Дании самоубийцу запрещалось выносить из дома через дверь — только через окно, тело же не предавали земле, а бросали в огонь, символ адского пламени, куда уже отправилась душа грешника. В Бордо труп вешали за ноги. В Аббевиле тащили на рогоже по улицам. В Лилле мужчин, воздев на вилы, вешали, а женщин сжигали. Сумасшествие вины не смягчало — ведь всякий знал, что в душе безумцев поселяется дьявол.

Рьяность властей имела кроме религиозной и финансовую подоплеку: еще в законах Людовика Святого (XIII век) самоубийцу предписывалось не только подвергать посмертному суду, но и лишать имущества, переходящего к барону. С централизацией власти наследователем самоубийцы стала корона. Если преступник был дворянином, его герб ломали, замки разрушали, леса вырубали, а все прочее достояние доставалось казне. Уголовное уложение Людовика XIV наряду с освященными традицией эмоциональными карами (зачитать над самоубийцей приговор, проволоочь труп на рогоже лицом к земле, а затем вздернуть на виселицу или отправить на живодерню) предусматривает и обязательную конфискацию имущества в обход прямых наследников.

При таких строгостях самоубийства происходили редко и вызывали у средневековых европейцев мистический ужас. Самоубийцы наряду с еретиками и закоренелыми преступниками считались источником кадров для вампиров, привидений и прочей ночной нечисти (отсюда и кол в сердце — как мера предосторожности).

Труп самоубийцы был ценным сырьем. Во-первых, его могли безбоязненно кромсать в анатомических театрах врачи, испытывавшие постоянный дефицит в мертвецах и подчас вынужденные с риском для жизни воровать добропорядочных покойников из освященной земли. А во-вторых, во всей Европе вплоть до просвещенного XVIII столетия огромным спросом пользовалось чудодейственное вещество *мумии* — товар куда более редкий и дорогой, чем какой-нибудь вульгарный кусочек веревки с виселицы. Это лекарство изготавливалось из трупов самоубийц. Считалось, что оно обладает волшебной способностью укреплять жизненную силу. Первоначально экстракт извлекался из мумифицированных трупов, в которых высоко содержание смол (по-арабски *мумия* — «битум»). С веками туманные представления о набальзамированных египтянах слились с суеверным страхом перед самоубийцами, и последние заменили аптекарям мумий, которым в Европе взяться было неоткуда. Кстати говоря, недавняя популярность в Советском Союзе волшебного лекарства мумиё — дальний отголосок средневекового увлечения чудесным *мумии*.

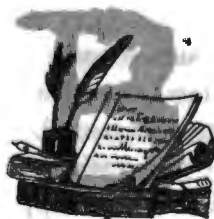
Однако с приходом Ренессанса и зарождением концепции гуманизма варварство стало уходить в прошлое. Нравы смягчались, нетерпимость постепенно выходи-

ла из моды, а жестокость и суеверие из похвальных качеств перешли в разряд постыдных. Европа вступала в новые времена.

Новое время

*Я много думал о смерти и нахожу,
что это — наименьшее из зол.*

Фрэнсис Бэкон



первые о естественных правах человека — на жизнь, на справедливый суд, на собственность — заговорили в Англии и поначалу только применительно к баронам («Великая хартия вольностей», XIII век). К началу Нового времени идея о том, что у государя есть не только права, но и обязанности, а у подданных не только обязанности, но и права, распространилась по всей северной Европе. Этот поистине революционный переворот в умах, вознесший индивида и тем самым неминуемо припустивший с недостижимой высоты и кесаря, и Бога, свершился благодаря героям этой книги — мыслителям и сочинителям: Томасу Морю, Эразму Роттердамскому, Мартину Лютеру, Шекспиру, Спинозе, Декарту, Гоббсу, Сервантесу, которые каждый на свой лад учили человека тому, что он достоин уважения.

Это не замедлило сказаться на отношении общества к суициду. Первым защитником самоубийц был Монтень, оправдывавший «благородное самоубийство» и восхищав-

шийся доблестными женщинами античности, жертвовавшими жизнью во имя долга или любви. В следующем столетии пространную и эмоциональную апологию суицида написал Джон Донн, однако опубликовать свой «Биатанатос» позволил лишь посмертно — очевидно, боялся потерять хорошее место диакона в лондонском соборе Святого Павла. Дэвид Юм, вознамерившийся «вернуть человеку его утраченную свободу», издал свой труд «О самоубийстве» (1777) через двадцать лет после того, как этот трактат был написан. Почти сразу же книга попала в список запрещенных изданий, но в конце XVIII века это было уже явным анахронизмом — эпоха безоговорочного осуждения суицида подходила к концу.

Первые симптомы послабления проявлялись и раньше. Чрезмерная суровость светского и церковного закона была трудноприменима на практике — и по эмоциональным, и по материальным соображениям. Люди все равно убивали себя, невзирая на земные и небесные кары. Оставались друзья, которые не желали отдавать останки самоубийцы на поругание, оставались родственники, которым нельзя было выжить без средств к существованию. Поэтому чаще всего факт самоубийства скрывался; покойника благополучно отпевали, хоронили на кладбище, а власти смотрели на это сквозь пальцы. В тех же случаях, когда утаить причину смерти было невозможно, самоубийцу объявляли безумным или «временно помутившимся в рассудке» — в большинстве стран это освобождало от церковного и уголовного наказания. Так, например, произошло в 1822 году, когда видный британский политик виконт Каслри, он же маркиз Лондондерри, перерезал себе горло бритвой. Причиной был нервный срыв, вызванный бракоразводным скандалом в королевском семействе и упорно ходившими слухами о гомо-

сексуальных увлечениях виконта-маркиза. Не протыкать же было спикера палаты общин и министра иностранных дел осиновым колом? Суд поступил мудро: признал самоубийцу временно обезумевшим и санкционировал почетные похороны.

Восемнадцатое столетие завершилось тем, что признало за человеком право на жизнь. Это поставило перед юристами сложную задачу: является ли это право одновременно и обязанностью? Ни в одной из конституций и деклараций прав человека этого не утверждалось. Если у человека есть юридическое право жить, стало быть, он может и не пользоваться этим правом, то есть прекратить свое существование. Понадобились долгие десятилетия, чтобы уголовное законодательство различных стран было приведено в соответствие с их Основным законом.

Французская революция, пролившая реки крови, но показавшая всему миру, как надо расправляться с предрассудками и анахронизмами, первой вычеркнула самоубийство из списка уголовных преступлений. Последней же из европейских стран на это решилась Великобритания, сохранявшая в кодексе антисуицидную статью вплоть до 1961 года.

Между двумя этими событиями — 170 лет упорной борьбы государства и церкви с общественным мнением, все более и более сочувственным по отношению к самоубийству. Твердая власть не любит, когда подданные проявляют своеволие, предпочитает лишать жизни сама, поэтому при тоталитарных режимах, будь то наполеоновская Франция или коммунистическая Россия, самоубийство как социальное явление сурово осуждалось или замалчивалось. Во время Итальянского похода Бонапарт, обеспокоенный количеством самоубийств в рядах своей победоносной

армии, издал специальный приказ, в котором говорилось: «Солдаты! Нужно уметь преодолевать сердечные страдания! Для того чтобы выдержать душевные невзгоды, нужно не меньше силы воли и мужества, чем для того чтобы выдержать залповый огонь неприятеля!» Великому полководцу принадлежат и такие слова: «Смерть как акт отчаяния — это трусость. Самоубийство не отвечает ни моим принципам, ни месту, которое я занимаю на мировой арене. Я человек, приговоренный к жизни». С другой стороны — исторический факт: в канун первого отречения Наполеон принял яд и остался в живых лишь благодаря тому, что отравы от длительного хранения утратила свою действенность...

Во второй половине XIX века в цивилизованных странах самоубийц уже не подвергали публичному поношению, но закон по-прежнему был суров по отношению к тем, кто пытался уйти из жизни, но не сумел. В 1881 году законодательное собрание штата Нью-Йорк определило неудачливым самоубийцам наказание в 20 лет тюрьмы. В Англии же государство бралось завершить не доведенное до конца самоубийство при помощи палача — попытка суицида каралась смертной казнью. Вот отрывок из письма Николая Огарева бывшей проститутке Мэри Сазерленд (он «спас» эту падшую женщину, и она стала его верной подругой до конца жизни):

«Тут повесили человека, который перерезал себе горло, но был спасен. Повесили его за попытку самоубийства. Врач предупредил их, что вешать его нельзя, потому что разрез разойдется и он сможет дышать прямо через трахею. Его не послушали и повесили. Рана немедленно раскрылась, и повешенный ожил. Понадобилось много времени, чтобы собрать ольдерменов. Наконец они собра-

лись и решили перетянуть шею приговоренного ниже раны и держать так, пока он не умрет. О, Мэри, что за безумное общество и что за идиотская цивилизация!»

Этот возглас очень точно отражает состояние умов и общее настроение думающих людей прошлого столетия. Из жуткого, табуированного призрака, загнанного в самый угол общественного сознания, суицид превращался в мощное, многокомпонентное явление, в котором сочетались кризис религии, изменение мироощущения личности, социальный кризис, распад патриархальной семьи и множество иных факторов, заслуживавших самого серьезного изучения. Мишель Фуко пишет в работе «Право на смерть и власть над жизнью»:

«Самоубийство, которое прежде считалось преступлением, поскольку было способом присвоить себе право на смерть, отправлять которое мог лишь суверен — тот ли, что здесь, на земле, или тот, что там, по ту сторону, — ... стало в ходе XIX века одной из первых форм поведения, вошедших в поле социологического анализа; именно оно заставило появиться — на границах и в зазорах осуществляющейся над жизнью власти — индивидуальное и частное право умереть. Это упорствование в том, чтобы умирать, — такое странное и, тем не менее, такое регулярное, такое постоянное в своих проявлениях, а следовательно, столь мало объяснимое индивидуальными особенностями и случайными обстоятельствами, — это упорствование было одним из первых потрясений того общества, где политическая власть как раз только что взяла на себя задачу завладеть жизнью».

А потом настал XX век, который называют веком социальных революций и веком технического прогресса, веком космоса и веком атома, веком мировых войн и веком

массовой культуры. Все это, конечно, так, но ведь самое важное — не то, что происходит вокруг нас, а то, что творится в нашей душе.

В душе человека в XX веке произошло вот что: огромное и постоянно увеличивающееся количество людей в разных частях планеты перестали хотеть жить.

Главный титул нашего столетия должен бы звучать так: век самоубийств.

Век самоубийств

...Земля как будто потеряла силу держать на себе людей.

Ф.М.Достоевский. «Дневник писателя»



о вступительной главе уже было сказано, что в современной статистике смертей самоубийство почти во всех странах занимает тревожное третье место — вслед за смертью в результате болезни и несчастного случая (под которым главным образом подразумеваются ДТП). Ежегодно себя убивают 30 000 американцев, 25 000 японцев, 20 000 французов, 60 000 россиян, а число тех, кто пытается себя убить, в 7–8 раз выше. И это при том, что статистика самоубийств всегда занижена, в нее попадают лишь явные случаи. На самом же деле самоубийц гораздо больше — по оценке некоторых социологов, чуть ли не вдвое. По официальной статистике, почти полмиллиона землян каждый год сами ставят точку в своей жизни.

А ведь XX век, при всех его потрясениях и злодеяниях, невероятно обустроил существование человека, окружил его комфортом и удобствами, невообразимыми сто лет назад — причем более всего материальный уровень жизни вырос именно в тех странах, которые сегодня лидируют по уровню самоубийств (Россия в данном случае не в счет — наш суицидальный всплеск 90-х годов объясняется чисто дюркгеймовскими, социальными причинами и, будем надеяться, закончится вместе с переходным периодом от одной общественной модели к другой).

В чем же дело? Что, собственно, произошло? Почему в век толерантности и социального обеспечения (водятся за нашим столетием и такие определения) человечество уподобилось ентообразному зверьку какомицли, который, оказавшись в зоопарке, впадает в депрессию и через некоторое время начинает сам себя пожирать, хотя клетка просторная, а еды много?

Причин тому множество.

Во-первых, социальные, впервые исследованные Дюркгеймом. В результате технической революции, индустриализации и урбанизации патриархальный мир прошлого столетия был разрушен. Человек утратил контроль над непосредственно окружающим его жизненным пространством, нарушился сам масштаб взаимоотношений личности и общества. Мир стал слишком большим (не деревня, а мегаполис, не артель, а фабрика, не пустынное поле, а людная площадь) и оттого чужим. Любое социальное потрясение, любое массовое изменение общественного статуса (то, что в массовых пропорциях происходит в современной России) влечет за собой всплеск самоубийств. Самоубийцы — это щепки, которыми густо усыпана земля, когда в социальном лесу вырубают поляны и просеки.

Во-вторых, нравственные. В XX веке у большинства землян изменилась этическая мотивация поведения. Прежде в ее основе были не подлежащие обсуждению и тем более сомнению установления религии, вызвавшей не к логике, а к чувству, не к разуму, а к вере. Если церковь запрещает самоубийство — это не обсуждается. Нельзя — значит нельзя. В нашем веке стал очевиден кризис веры, подготовленный событиями XVIII и XIX веков. Это не духовная катастрофа, как кажется некоторым, а естественная стадия развития. Человечество подросло и повзросело, оно хочет знать, почему и зачем, оно вышло из детского возраста, когда инструкции воспринимаются без обсуждения, на веру: надо мыть руки перед едой, маму с папой следует слушаться, самому себя убивать нехорошо. А почему? В XX веке человечество пережило переходный возраст со всеми приметами подросткового бунта — атеизмом, революциями, безумными социальными фантазиями. В почете были не послушание и доброе сердце, а ум, дерзновение и самодостаточность. Но, как мы увидим в одной из последующих глав, ум и высокая самооценка — это та система координат, в которой суициду отводится важное и почетное место.

В-третьих, психологические. Если сравнивать самоощущение нашего современника и человека прежних веков, то при внешней иллюзии большей свободы выбора и поступка мы стали гораздо более зависимы от внешнего мира. Просто его диктат из прямого превратился в косвенный, но оттого не менее эффективный. Через аппарат массовой культуры общество все время навязывает нам некий стандарт жизненного успеха, несоответствие которому воспринимается как трагедия. Наверное, прежде стрессов было не меньше, чем сейчас, но люди были психологически устойчивей, менее изнежены — выживание требовало куда больших усилий, а

это делало жизнь более ценной, ибо человеку свойственно дорожить только тем, что дается с трудом.

Отсюда четвертая, на мой взгляд, главная причина. Парадокс: чем благоустроеннее становился быт человека XX столетия, тем стремительнее ползла вверх кривая суицида, опускаясь лишь во время мировых войн, что и понятно — когда озверевший мир на тебя охотится, не хочется играть с ним в поддавки. «На войне, в лагерях и в периоды террора люди гораздо меньше думают о смерти, а тем более о самоубийстве, чем в мирной жизни, — пишет Надежда Мандельштам. — Когда на земле образуются сгустки смертельного страха и груды абсолютно неразрешимых проблем, общие вопросы бытия отступают на задний план». Поразительный, но почему-то греющий душу факт: в Освенциме уровень самоубийств среди охранников был в несколько раз выше, чем среди заключенных. Жизненный инстинкт обостряется тогда, когда жизни угрожает опасность. И наоборот.

Современному человеку, которому повезло родиться в благополучной, сытой стране, жизненный инстинкт не очень-то нужен: голод, холод, насилие какому-нибудь финну, канадцу или японцу известны больше понаслышке, благодаря привычке ужинать перед телевизором. Человек из благополучной страны знает, что почти наверняка будет жить: а) в комфорте, б) не подвергаясь принуждению, в) долго. Перспектива ясна: умрет в 94 года от болезни Альцгеймера. От этой уверенности происходит размягчение жизненного мускула, а размягчение — первый шаг к атрофии. Согласно Фрейду, который прав не во всем, но в этом, кажется, прав, наша психика определяется балансом двух противоборствующих сил: эроса, инстинкта жизни, и танатоса, инстинкта смерти. В старости первый ослабевает, второй же постепен-

но берет верх. Последствия известны. Если так, то высокий уровень самоубийств в развитых странах — первый признак общего старения человечества. Чем спокойнее и налаженнее будет становиться жизнь людей, чем меньше в ней будет катаклизмов и потрясений, тем ближе энтропия — полное отсутствие колебаний и тепловая смерть.

Давайте помечтаем. Предположим, что в XXI веке homo sapiens будет развиваться по пути, который большинству из нас представляется благом. Итак, все социальные, экологические и политические проблемы решены. Нет больше голодных, нет бездомных, каждому гарантирован уровень существования, необходимый для чувства собственного достоинства. Каждый человек уважает себя, а стало быть, уважает и других. Раздоры остались в прошлом, все толерантны, наблюдается бум армяно-азербайджанских браков, а израильтяне и палестинцы добровольно объединились в одно государство и не нарадуются друг на друга. Из преступников уцелели только сексуальные маньяки, которых заботливо лечат в санаторных условиях. Коррупция превратилась в тему исторических романов. Озоновая дыра залатана, на Марсе цветут яблони. Медицина не может спасти и воскресить только тех, кто случайно упал в чан с серной кислотой. Разница между полами определяется с трудом, но это ничего, потому что дети все равно рождаются в инкубаторах, а спермы нобелевских лауреатов запасено на тысячу лет вперед. Три четверти населения планеты составляют те, кому за восемьдесят, но и это не страшно — всем всего хватает, один работающий способен прокормить сотню. В общем, осуществились все наши мечты.

Но человек остался смертен и все равно не знает, откуда он взялся, зачем живет и куда денется после смерти.

Но жизненный инстинкт за не востребованностью

поник до нулевой отметки. Человек близится к совершенству, а совершенство — это смерть.

Впрочем, не будем пугать себя раньше времени. В конце XX века миру до тепловой смерти еще очень далеко, homo sapiens пока вполне способен избрать более эффективный способ исчезновения — ядерную войну, экологическую катастрофу или какой-нибудь иной вариант видового самоуничтожения.

У человечества сегодня много проблем, и суицид — лишь одна из них, не самая заметная, но самая трудно-разрешимая. С точки зрения философии — главная. Стоит ли жизнь того, чтобы дожить ее до конца? Должен ли человек покоряться пращам и стрелам яростной судьбы?

Всякий теперь может ополчиться на море смут, не терзаясь угрызениями совести и страхами за посмертные последствия, запрета на самоубийство больше нет — ни нравственного, ни юридического, ни общественного. Религиозный запрет (ранее действенный для христиан, мусульман и иудеев) из грозного окрика с неизбежными карами за нарушение сник до нестрашного шепота тихой укоризны, вряд ли способной остановить того, кто решил.

На исходе второго тысячелетия христианской эры человек остался с проблемой самоубийства один на один, и решать ее приходится каждому за себя. Что, впрочем, неудивительно. Ибо

*ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?*

(И.Бродский «Большая элегия Джону Донну»)

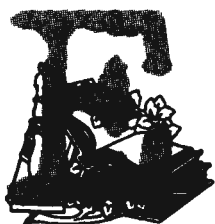
Приложение

ВЕНЕЦ ЭВОЛЮЦИИ

Футурологический этюд

*Гробы изнутри здесь вроде матраса,
с точки зрения местного среднего класса
смерть — это красиво и как бы сон.*

Лев Лосев



сли все будет замечательно хорошо, если осуществятся чаяния лучших умов человечества, если победят силы Добра и Разума, то венцом эволюции homo sapiens, ее главным завоеванием, ее гран-при станет стопроцентная смертность от самоубийства.

Когда человек достигнет всего, о чем он сегодня мечтает, и поборет все, с чем борется, станет окончательно ясно, что на самом деле мечтал он о полном контроле над собственной жизнью, а боролся не столько со Злом, сколько с непредсказуемостью внешних условий бытия, иначе именуемой Случаем, Роком или Богом.

Итак, предположим, что нам всё удалось. Мы, люди, стали подлинными хозяевами своей жизни. Случайности сведены до минимума, будущее послушно человеческому гению и прогнозируемо с вероятностью в 99,9%. Твердо известно, что нашей планете ничто не угрожает, кроме столкновения с кометой, которое произойдет через 2358 лет и которого можно будет избежать при помощи некоторых заблаговременных действий и умеренных затрат.

Смертность человека, разумеется, никуда не делась, потому что все, имеющее начало, должно иметь и конец. Да если б и делась, какой же безумец захочет жить вечно. Долго — да, но бесконечно долго? Од-

нако чего всякий хозяин жизни захочет наверняка, так это самому выбирать момент расставания с нею, самому решать, когда уже пора, уже хватит, уже устал, уже надрело. Иначе какой же он будет хозяин?

Человек будущего, если будущее будет, непременно пожелает умирать только добровольно, на собственных условиях. Это и станет считаться полноценным финалом полноценно прожитой жизни.

Вот и выходит, что наши счастливые потомки все сплошь будут самоубийцами.

Я не собираюсь писать фантастический рассказ об отдаленном будущем, о величественных Дворцах Счастливой Смерти и эффектных погребениях в виде распыления на атомы. Вероятно, представления о хорошем вкусе и величественности к тому времени все равно изменятся, да и, честно говоря, далекие потомки с их прекрасной, лишенной неожиданностей жизнью мне не так уж интересны. «Потомства не страшись, его ты не увидишь», — сказал граф Хвостов и был прав.

Поговорим лучше о нашем времени, когда появляются первые ростки этого замечательного будущего, еще робкие и слабые, но уже вполне различимые. И представляющие для нас, живущих сегодня, самый непосредственный интерес.

Речь, как вы уже догадались, пойдет об эвтаназии, «хорошей смерти» (от греческого *эу* + *танатос*).

С эвтаназией пока мало что ясно. Не выяснено даже, к какому разряду статистики относить этот тип смерти — к убийству (как настаивают суды, приговаривающие излишне сострадательных медиков к тюремному заключению) или к самоубийству. Человечество не готово к решению этой проблемы — ни юридически, ни нравственно, ни мировоззренчески. А между тем проблема быстро становится насущной и долго прятаться от нее не удастся.

У добровольной смерти как избавления от неизлечимой и мучительной болезни сторонники находились во все времена — и в толерантной античности (Сократ, Платон, стоики), и даже в суровое средневековье (Томас Мор, Фрэнсис Бэкон). Кстати, именно Бэкон пер-

вым ввел в обиход сам термин: *«Скажу более, развивая сию тему: долг медика не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в смягчении страданий, вызванных болезнью; и состоит он не в том лишь, чтобы ослаблять боль, почитаемую опасным симптомом; если недуг признан неизлечимым, лекарь должен обеспечить пациенту легкую и мирную кончину, ибо нет на свете блага большего, нежели подобная эвтаназия...»* («Instauratio Magna», 1623).

При том что идея «хорошей смерти» витала в воздухе с незапамятных времен, организованное общественное движение за легализацию эвтаназии возникло сравнительно недавно — в 1935 году. Разумеется, это произошло в Англии, на родине чувства собственного достоинства. Оттуда за минувшие две трети века проэвтаназийное движение распространилось на всю зону господства протестантской этики и даже вторглось в некоторые католические регионы.

Против так называемой пассивной эвтаназии (прекращения искусственного поддержания жизни больного, когда нет никаких надежд на улучшение), собственно, уже никто всерьез не возражает. Битва идет за право больного на активную эвтаназию, то есть на самоубийство с использованием профессиональной медицинской помощи. На практике это происходило и происходит сплошь и рядом: больные (или если они находятся в бессознательном состоянии, то их родственники) просят врача, тот из сурдоболия или корыстолюбия соглашается, выписывается справка о смерти вследствие естественных причин, и никаких проблем не возникает.

Однако есть медики, которым претит обман. Они считают, что долг врача — не способствовать любой ценой продлеванию жизни пациента, а делать так, чтобы *пациенту было лучше*. Если ему лучше умереть, то врач должен помочь и в этом. Крестоносцы вроде американца Джека Кеворкяна, заслужившего прозвище «Доктор Смерть», намеренно афишируют свою эвтаназийную деятельность, чтобы добиться судебного прецедента, который оправдывал бы «медицид». В последнее время западная судебная система оказывается бессильной перед общественным

нением, относящимся к эвтаназии все с большим и большим сочувствием. Многим людям, в том числе и судьям, довелось испытать горькую беспомощность при виде бессмысленных страданий близкого человека, умирающего от тяжелой, неизлечимой болезни. Каждый из нас боится оказаться в таком положении сам, и мысль о возможности эвтаназии делает подробную перспективу менее пугающей. Джек Кеворкян, который в 90-е годы помог избавиться от страданий нескольким десяткам больных, предстал перед судом по меньшей мере пять раз и неизменно получал оправдательный вердикт. И с каждым годом последователей у упрямого Doctor Death становится все больше¹.

На наших глазах разворачивается драматичная борьба одних защитников прав человека с другими. Так сказать, хорошего с лучшим. Жизнь священна и неприкосновенна, утверждают одни. Жизнь не должна превращаться в тюрьму и застенки, говорят другие. Аргументы «других» кажутся неоспоримыми, во многих очевидных случаях противодействие эвтаназии выглядит бессмысленной жестокостью.

Хотя бессмысленной ли?

Допустим, опасения по поводу возможных врачебных ошибок в расчет брать не стоит. Их хватает и без эвтаназии, а при принятии столь ответственного решения можно предусмотреть особые меры предосторожности.

Главное в аргументах противников эвтаназии, конечно же, — соображения нравственные и религиозные. Многие люди (на сегодняшний день большинство) считают, что есть сферы жизни, куда человеку вторгаться нельзя, потому что не его ума дело. Клонирование, евгеника, эвтаназия — суть вмешательство в прерогативы природы и Бога. Не мы, а Господь решает, сколько человеку жить, когда умирать и сильно ли мучиться перед смертью.

¹ В 1999 году Джек Кеворкян все же получил тюремный срок в штате Мичиган после того, как телевидение показало сделанную им видеозапись смерти очередного «клиента». В 2007 году «Доктор Смерть» может выйти на свободу в результате условно-досрочного освобождения.

Впрочем, этот аргумент не вполне состоятелен с религиозных же позиций. Ведь не осуждает же церковь применение в медицине обезболивающих средств. Не возбраняется и активное медицинское вмешательство при трудных родах. Но если врач может ассистировать великому таинству рождения, то почему табуируется облегчение страданий в момент другого великого таинства? Да и фактически современный человек давно уже лишился права на естественную смерть. Медицина продлевает существование (и страдания) неизлечимо больного гораздо дольше, чем это предусмотрено природой. Получается, что идеальная с точки зрения «религиозной» медицины смерть — это когда человек умирает в больнице после нескольких недель, а то и месяцев пребывания в коматозном состоянии, с капельницей, накачанный всевозможными успокоительными, с искусственным дыханием и уже после фактического прекращения мозговой деятельности. Господь давно вознамерился забрать эту душу, но медики всеми правдами и неправдами, вопреки здравому смыслу и милосердию, оттягивают предрешенное. Кому от этого лучше? Папе римскому?

Другой веский аргумент *contra* был в свое время высказан Честертоном: *«Кое-кто выступает в поддержку так называемой эвтаназии; в настоящее время предлагают убивать только тех, кто самому себе в тягость; но скоро так же станут поступать и с теми, кто в тягость другим»*. Можно было бы отмахнуться от этого предостережения. Мол, знаем, слышали: сегодня носит «Адидас», а завтра родину продаст. Можно было бы — если б Честертон не оказался прав. Действительно, вскоре после того, как писатель написал эти слова, идея эвтаназии была чудовищно скомпрометирована немецкими национал-социалистами. Это пока единственный пример узаконенного государством применения эвтаназии, поэтому давайте вспомним, как там все происходило.

Начиналось красиво и даже гуманно — как привилегия для неизлечимо больных арийцев, желающих без страданий уйти из жизни. Но в октябре 1939 года Гитлер подписал секретный указ, согласно которому эвтаназии следовало подвергнуть все *lebensunwertige Leben* («фор-

мы жизни, которые недостойны жизни»): деформированных младенцев, сумасшедших, сенильных стариков, неизлечимых сифилитиков, энцефалитиков и так далее вплоть до больных какой-то хореей Гентингтона. Специальная врачебная «тройка» решала вопрос в каждом конкретном случае. Государство создало шесть эвтаназийных центров, где в течение двух лет было уничтожено по одним источникам 100 000 человек, по другим – 275 000. Применялись инъекции и прекращение кормления, а также новое, многообещающее изобретение – бани, где вместо воды из душа шел отравляющий газ. Родственникам умерщвленных сообщали, что смерть произошла в результате естественных причин. Однако при столь масштабной деятельности даже аккуратная немецкая бюрократия совершала неизбежные ошибки: то пришлют две урны вместо одной, то перепутают диагноз, то известят о неудачной аппендектомии у человека, которому аппендикс вырезали много лет назад. Поползли нехорошие слухи, и 3 августа 1941 года епископ Клеменс фон Гален произнес в Мюнстере знаменитую проповедь, в которой назвал нацистскую эвтаназийную программу «чистейшим убийством» и призвал католиков «освободиться от нацистского влияния, дабы не оскверниться их образом мыслей и безбожным поведением». Фюрер не тронул мужественного епископа и программу закрыл – в это время уже существовал проект лагерей смерти, поэтому потребность в «эвтаназийных центрах» все равно отпала.

Эта история, конечно, заставляет отнестись к легализации эвтаназии с особой осторожностью. Но отнюдь не закрывает самого вопроса. Фон Гален был абсолютно прав: то, что затеяли фашисты, являлось «чистейшим убийством» и с эвтаназией ничего общего кроме названия не имело. Проблема была не в эвтаназии, а в нацизме и нацистской медицине. Если врач безумен, то и вырезание гланд превращается в смертельно опасную операцию.

Однако прошло целых полвека после нацистского «эксперимента», прежде чем законодатели осмелились сделать первые шаги к узаконению медицида. Референдум, проведенный в ноябре 1997 года

в американском штате Орегон, ввел в силу закон о добровольном уходе из жизни неизлечимо больных с использованием профессиональной медицинской помощи. «За» высказались 60% голосовавших.

Парламент Нидерландов в 1993 году освободил от судебного преследования врачей, которые совершили эвтаназию в строгом соответствии с официальной инструкцией (см. Приложение к приложению). По сути дела этот акт узаконил медицид, и знаменитые своей толерантностью Нидерланды стали первой страной, где эвтаназия применяется широко и неконспиративно. Злоупотреблений, которых так страшатся оппоненты, пока не отмечено. Напрашивается вывод: медицид допустим, но лишь в тех обществах, которые для него достаточно созрели.

Большинство стран Запада именно таковыми и являются, поэтому победа эвтаназии там предрешена. Общее стремление среднего класса к приданию всем сферам жизни *приличности* неминуемо распространится и на умирание. Если уж умирать — так в чистой, удобной больничной палате, без боли и унижения. А если без боли и унижения не получается, тогда — ничего не поделаешь — требуйте эвтаназии. Церкви в этом вопросе придется пойти на компромисс или же отвести глаза.

Пока речь идет только о совершенно бесспорных случаях: медицина бессильна, смерть все равно неизбежна, страдания больного неимоверны. Но, ступив на путь признания правомочности самоубийства и соучастия в нем, общество уже не сможет повернуть обратно. Разве душевные терзания менее мучительны, чем физические? Да и вообще порог боли — понятие сугубо индивидуальное. Муций Сцевола руку на огне держал и при этом мужественные слова говорил, а кто-то и от зубной боли готов из окна выпрыгнуть. Полмиллиона человек ежегодно кончают жизнь самоубийством, потому что их порог нравственных, психических или физических страданий ниже средне-статистического. Но эти люди ведь не виноваты, что родились такими чувствительными, зачем же обрекать их на прыгание с мостов и крыш, на самоповешение, самоотравление всякой дрянью и пальбу в собственный лоб?

В 1969 году профессор Упсальского университета философ Ингмар Хеделиус предложил учредить в Швеции (там как раз наблюдался пик самоубийств) суицидальную клинику, куда могли бы обратиться те, кто решил уйти из жизни. В клинике этим людям оказали бы всестороннюю социальную, медицинскую, психологическую помощь и попытались бы отговорить от рокового намерения. Однако если решение останется твердым, этим людям помогли бы легко и безболезненно умереть. Тридцать лет назад это предложение не прошло. Но минует еще тридцать лет, и оно будет принято — не в Швеции, так в какой-нибудь иной стране. Предложение-то, ей-богу, хорошее, без фарисейства. Многим из нас жилось бы на свете легче, если б знать, что есть такая спасительная клиника, где тебе помогут выбраться из отчаянной ситуации. А если выбраться невозможно, то все равно помогут.

В заключение футурологического этюда я опишу маленькую сцену из будущего, только не отдаленного, а достаточно близкого. Из XXI века, когда мы с вами станем совсем старыми и соберемся умирать.

К тому времени эвтаназия станет делом привычным и обыденным, вроде кремации. Только в крематорий, как и сейчас, будут ездить автобусы с гробами и черными траурными лентами, а в эвтаназииумы (или как там они будут называться) — какие-нибудь белые лимузины вроде свадебных, разве что без целлулоидного пупса на капоте.

— Завтра не приду, — скажет на работе ваш внук. — Причина уважительная — везем дедушку в эвтаназий. Решил старик, что хватит. Ужасно жалко, но я его понимаю: Альцгеймер, недержание, да и без бабушки ему одиноко. Хочет проститься со всеми по-хорошему, послушать про себя добрые слова. Музыка будет, банкет. Конечно, дорогое удовольствие, но хочется побаловать старика напоследок. Заслужил.

Приложение к приложению

**Предписание для врача,
составляющего отчет
об эвтаназии**

*(Утверждено Парламентом
Нидерландского королевства)*

I. История болезни

A. Чем был болен пациент и каков основной диагноз?

B. Давно ли началась болезнь?

C. Какое лечение применялось (лекарственное, хирургическое, физиотерапевтическое и др.)?

D. Назовите, пожалуйста, имена, адреса и телефоны всех врачей, чьими услугами пользовался пациент. Каковы были их диагнозы?

E. Были ли нравственные и/или физические страдания пациента достаточно велики, чтобы он/она мог/могла счесть их невыносимыми?

F. Было ли положение пациента действительно отчаянным, безо всякой надежды на выздоровление? Действительно ли кончина была неотвратимой?

— Можно ли было сделать заключение, что впереди пациента ждут только мучения, обрекающие его/ее на утрату человеческого достоинства и невыносимые физические страдания?

— Не было ли у пациента шансов на смерть с достоинством без использования эвтаназии?

— Когда, с Вашей точки зрения, наступила бы смерть пациента, если бы Вы не прибегли к эвтаназии?

G. Предлагали ли Вы пациенту какие-либо меры к облегчению грядущих страданий? Возможны ли были такие меры в принципе?

II. Просьба об эвтаназии

A. Сделал ли пациент добровольное, недвусмысленное и осознанное заявление с просьбой об эвтаназии? Если да, то в результате чего:

– Исчерпывающей информации, предоставленной Вами ему/ей о состоянии болезни и способе прекращения жизни.

– Беседы о возможности или невозможности облегчения страданий (пункт I.G).

В. Если пациент сделал подобное заявление, то когда и кому? Были ли свидетели?

С. Оставил ли пациент действенное завещание? Если да, то предъявите его, пожалуйста, муниципальному патологу.

D. Сознавал ли пациент, делая заявление, его последствия? Адекватно ли он/она представлял/представляла свое физическое и психическое состояние? Какие доказательства Вы можете предъявить в подтверждение своих слов?

Е. Рассматривал ли пациент иные варианты кроме эвтаназии? Если да, то какие? Если нет, то почему?

Ф. Повлияло ли на решение пациента или на Ваше решение какое-нибудь третье лицо? Если да, то каким образом?

III. Дублирующее мнение

А. Консультировались ли вы с другими врачами? Если да, то сообщите, пожалуйста, их имена, адреса и телефоны.

В. К какому заключению пришли ваши коллеги в отношении пунктов I.G и II.D?

С. Видели ли эти доктора пациента? Если да, то когда именно? Если нет, то на чем основывались их заключения?

IV. Эвтаназия

А. Кто осуществил эвтаназию и как именно?

В. Был ли пациент заранее проинформирован о способе эвтаназии? Если да, то как и кем?

С. Уверены ли Вы были в том, что избранный способ эвтаназии даст ожидаемый эффект?

D. Кто еще присутствовал при эвтаназии? Сообщите, пожалуйста, их имена, адреса и телефоны.

Раздел II

Религия

Религии богаты всякими уловками против требования самоубийства; этим они вкрадываются в доверие тех, кто влюблен в жизнь.

Ф.Ницше.

«Человеческое, слишком человеческое»



начале предшествующего раздела было высказано предположение о том, как прачеловек стал человеком: это произошло тогда, когда он не ощутил инстинктом, а осознал свою смертность и понял, что обладает свободой выбора — жить или не жить. Это наверняка было очень страшное открытие, и человек испугался ответственности и еще — бескрайнего одиночества, которое подразумевает такой выбор, оставляющий тебя наедине с небытием. Тогда-то и возникла потребность в божестве, тогда-то и появилась религия. Она была нужна прежде всего для того, чтобы никогда не оставаться одному и чтобы кто-то удерживал от маленького шага, отделяющего край обрыва и жизнь

от падения в пропасть и смерти. Религия возникла, чтобы примирить человека с идеей смертности, ослабить страх перед небытием, сделать существование возможным. У Достоевского Кириллов формулирует еще более решительно: «Человек только и делал, что выдумывал бога, чтобы жить, не убивая себя; в этом вся всемирная история до сих пор».

Итак, религия — средство для сохранения рассудка. Она придает жизни разумность и смысл. Верующий человек говорит себе: я живу не просто так, а ради некоей (пусть даже неведомой мне) высшей цели; если мне плохо, больно и страшно, то это так надо, и я должен терпеть; с меня спросят за то, как я жил.

Религия вводит понятие ответственности человека за его поступки и, в конечном итоге, за всю его жизнь. Ответственности окончательной, ибо уйти от нее невозможно. Один из самых убедительных противников самоубийства, Н.Бердяев, пишет: «Каждый несет страшную ответственность [разрядка моя. — Г.Ч.], он или утверждает жизнь, возрождение, надежду — или смерть, разложение, отчаяние». Это сильный аргумент — но лишь для человека верующего. Человек неверующий своей жизнью ничего не утверждает, он просто живет, и, если это человек достойный, то старается прожить так, чтобы ему не было *от самого себя* противно.

Главная социальная функция религии на протяжении истории состояла в том, чтобы человечество соблюдало хотя бы некие минимальные нормы общежития, чтобы наш биологический вид, склонный к истреблению себе подобных, выжил. Система религиозных запретов (заповедей) действовала крайне неэффективно, но все же задавала определенные координаты этического поведения.

В современном мире религиозное чувство и, соответственно, сдерживающее воздействие религиозной этики ослабло, но разве человечество в целом стало от этого менее нравственным? Пожалуй, нет. Скорее, наоборот. Жестокость и нетерпимость, два самых несимпатичных человеческих качества, сейчас менее популярны, чем пятьсот лет назад, когда в Бога верили поголовно все. У автора этой книги, как и у любого читателя, есть и верующие, и неверующие знакомые, однако на нравственности поведения ношение/неношение крестика никак не сказывается. Очевидно, с точки зрения этики, принимаемые на веру религиозные заповеди могут быть с успехом заменены врожденным и укрепленным при помощи воспитания нравственным чувством, которое безошибочно подсказывает человеку, что хорошо, а что плохо, что можно, а чего нельзя. Возможно, этот встроенный камертон и есть голос Бога. Тогда поверить в Бога легко, потому что этот камертон, этот внутренний закон действительно существует (более подробно на эту тему у И.Канта и Л.Толстого).

Что же говорит человеку о допустимости самоубийства нравственное чувство, очень часто диссонирующее с доводами рассудка?

Боюсь, что каждого из живущих на Земле придется спрашивать об этом персонально, и ответ будет в значительной степени зависеть от того, где человек родился и вырос. Значит ли это, что единой нравственной формулы по сему вопросу не существует? «Человек в сущности никогда не хочет убить себя, да это и невозможно, ибо человек принадлежит вечности, — с великолепной уверенностью пишет христианин Бердяев, — он хочет уничтожить лишь одно мгновение, принятое им за вечность, в одной точке хочет уничтожить все бытие и за это

посягательство на жизнь он перед вечностью отвечает». Для меня слова русского философа действенны, они созвучны внутреннему, не обманывающему голосу «нравственного закона». Но с Бердяевым вряд ли согласится буддист, верящий в перерождение души и постепенное, восходящее движение к нирване. С точки зрения буддиста, есть жизненные коллизии, в которых самоубийство — не уничтожение всего бытия, а верный способ еще на ступень приблизиться к святости.

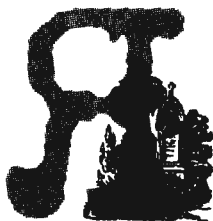
Не все религии, даже из числа основных, безоговорочно осуждают сунцид, а те, что занимают непримиримую позицию, часто непоследовательны, и потому не вполне ясно, от кого, собственно, исходит запрет — от Бога или от человека?

Религиозная принадлежность играет очень важную роль в принятии суицидального решения: одни конфессии воздвигают больше моральных и психологических запретов на пути к самоубийству, другие меньше. Даже если оставить в стороне восточные религии, не считающие самоубийство абсолютным злом, и рассматривать только «антисуицидные» конфессии (христианство, ислам, иудаизм), обнаружатся весьма заметные расхождения в статистике добровольных смертей. Возьмем относительно узкий спектр — западное христианство. Оказывается, в протестантских странах уровень самоубийств втрое выше, чем в католических. Дело в том, что протестантизм «не довольствуется машинальными обрядами, но хочет управлять сознанием людей» (Э.Дюркгейм), он более индивидуалистичен, не перекладывает ответственность за неудачи с личности на Бога или судьбу. В этой конфессии выше степень свободы выбора.

Религия, являясь глубоко укорененным компонентом духовной и бытовой культуры общества, косвенно влияет даже на поступки человека нерелигиозного. Вот и выходит, что без анализа религиозных трактовок суицида вряд ли удастся разобраться в географии и психологии этого феномена.

Христианство

*О, если б ты, моя тугая плоть,
Могла растаять, сгинуть, испариться!
О, если бы Предвечный не занес
В грехи самоубийство! Божел! Божел!¹*
Вильям Шекспир. «Гамлет»



уже писал в историческом очерке, что христианская церковь сформировала безоговорочно негативное отношение к суициду лишь через 500—600 лет после своего возникновения. В Священном Писании прямого осуждения самоубийства не содержится, если не считать двух мест — одного в Ветхом Завете и одного в Новом, которые при желании можно истолковать как запрещающие своевольничать с жизнью и смертью. Во «Второзаконии» Господь произносит: «Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (XXXII, 39). А в «Первом послании к коринфянам» Павел говорит: «Раз-

¹ Пер. Б. Пастернака.

ве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» (III, 16—17).

Впрочем, грозные слова ветхозаветного Бога скорее относятся к перечислению атрибутов Его могущества, и смысловое ударение здесь делается не на местоимении «Я», а на глаголах. Что же до слов апостола Павла, то здесь, пожалуй, все-таки имеется в виду не физическое разрушение тела, а разорение собственной души, которое происходит как раз при жизни.

В Библии можно найти семь случаев очевидного самоубийства, и ни в одном из этих описаний нет оттенка порицания.

Первый из библейских самоубийц — Авимелех, сын царя Гедеона, умертвивший 70 своих братьев и смертельно раненный при осаде Тевеца — одна из жительниц осажденного города бросила в него с башни обломок жернова. «Авимелех тотчас позвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: обнажи меч свой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне: женщина убила его. И поразила его отрок его, и он умер» (Суд. IX, 54). Библия осуждает злодеяния Авимелеха, но отнюдь не его самоубийство.

Следующий самоубийца, Самсон, и вовсе восхваляется как герой. Захваченный филистимлянами, ослепленный и лишенный своей чудодейственной силы, он обрушил на головы врагов крышу дома и погиб под обломками вместе с ними. «И сказал Самсон: умри, душа моя, вместе с Филистимлянами! И уперся всею силою, и обрушил дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей» (Суд. XVI, 30). В этих словах звучит явное одобрение поступ-

ку богатыря, да и апостол Павел, который якобы осуждает самоубийц, перечисляет Самсона среди пророков, «которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования» (Евр. XI, 33).

В «Первой книге Царств» описано самоубийство царя Саула и его оруженосца. Потерпев поражение от филистимлян и потеряв в бою троих сыновей, раненный стрелами царь велел оруженосцу заколоть его мечом. «Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним» (XXXI, 4-5).

Ахитофел, неверный советник царя Давида и участник заговора Авессалома, покончил с собой, когда царевич пренебрег его планом мятежа. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал заветное дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего» (2 Цар. XVII, 23). Опять простая констатация, без какой-либо моральной оценки.

Последний из ветхозаветных самоубийц — иудейский старейшина Разис — предпочитает смерть позору пленения. Обратите внимание на несомненное восхищение, звучащее в тексте Писания [курсив мой. — Г.Ч.]:

«Когда же толпа хотела овладеть башнею и врывалась в ворота двора, и уже приказано было принести огня, чтобы зажечь ворота, тогда он, в неизбежной опасности быть захваченным, пронзил себя мечом, желая лучше *доблестно умереть*, нежели попасться в руки беззаконников и недостойно обесчестить свое *благородство*. Но как удар оказался от поспешности неверен, а толпы уже вторгались в двери, то он, *отважно* вбежав на стену, *мужественно* бросился с нее на толпу народа. Когда же стоявшие поспешно расступились, и

осталось пустое пространство, то он упал в середину на чрево. Дыша еще и сгорая негодованием, несмотря на лившуюся ручьем кровь и тяжелые раны, встал и, пробежав сквозь толпу народа, остановился на одной крутой скале. Совершенно уже истекая кровью, он вырвал у себя внутренности и, взяв их обеими руками, бросил в толпу и, *моля Господа жизни и духа опять дать ему жизнь и дыхание*, окончил таким образом жизнь» (2 Мак. XIV, 41-46).

В Новом Завете самоубийца всего один, зато знаменитейший из всех и даже давший впоследствии название самому явлению — «иудин грех». Если оставить в стороне позднейшие богословские интерпретации самоубийства Иуды Симонова из Кариота и обратиться непосредственно к тексту Писания, мы увидим, что евангелист отзывается о смерти предателя лаконично и бесстрастно: «И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф. XXVII, 5). То, что Иуда удавился, — не новое преступление, а свидетельство раскаяния в содеянном. В словах же Петра (Деян. I, 18), рассказывающего ученикам об иудиной участи, звучит гадливость («и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его») и осуждение предательства — но не осуждение самоказни.

При отсутствии канонических обоснований отцам церкви, участникам антисуннитских церковных соборов V—VII веков, было не так-то просто доказать тезис о недопустимости самоубийства. Положение усугублялось тем, что сам Иисус принял смерть добровольно, то есть фактически закончил свое земное существование самоубийством. Примеру Агнца последовали сотни и тысячи христианских мучеников. Одни безропотно и даже с радостью предавались в руки палачей, другие убивали себя сами и именно за это были причислены христианской церковью к лику святых.

Ранние вероучители Тертуллиан (II век) и святой Иероним (IV век) восхваляют верность Дидоны, предпочевшей самосожжение повторному браку. У Евсевия Кесарийского (III век) описано тройное самоубийство антиохийской христианки Домнины и двух ее дочерей, которые, спасаясь от разнузданной диоклетиановой солдатни, бросились в реку «и погибли незапятнанными среди волн». Пятнадцатилетняя святая Пелагия, чтобы сберечь свою невинность, прыгнула с крыши. «Дайте мне насладиться этими хищниками, и пусть будут они елико возможно жестоки; а если не набросятся они на меня, я сам призову их на себя, хоть бы даже и силой» — эти слова Игнатия Богоносца (II век), процитированные Джоном Донном, любой современный психиатр расценил бы как проявление острого суицидального комплекса.

В IV—V веках появились христианские фанатики-донатисты (последователи карфагенского епископа Доната), которые так неистово жаждали мученичества во имя веры, что церковь в конце концов объявила их еретиками. Донатисты убивали себя по поводу и без повода, создав своеобразный культ самоубийства. У Гиббона в «Истории упадка и разрушения Римской империи» говорится: «Они часто останавливали путешествующих на дорогах и принуждали их нанести смертельный удар во имя мученичества, суля вознаграждение, а если путник отказывался, то грозили немедленной смертью». Донатисты верили в то, что человек может достичь святости усилием воли, однако правящая церковь усмотрела в этой установке грех гордыни. Святой Августин, первым из отцов церкви обрушившийся на суицид, утверждал, что спасение идет только от Бога, а самоубийство, даже совершенное во имя веры, — «мерзкий грех, заслужива-

ющий проклятия, худший из грехов, ибо в нем нет возможности раскаяться». Диспуты с адептами донатизма в конце концов сменились репрессивными мерами. Именно тогда в христианском мире утвердился принцип «веры насильно», вознесший церковный институт к вершинам земной власти, но подорвавший самую основу христианства.

Поскольку сослаться на установления Библии Августина не мог, он главным образом оперировал аргументами, почерпнутыми из платоновского «Федона», дополнив их суждением о том, что убить себя — означает убить образ Божий. И все же у Августина еще нет полного запрета самоубийства. Для оправдания христианских мучеников, лишивших себя жизни во имя веры, вероучитель ввел категорию самоубийства, вынужденного свыше, то есть совершенного по велению Господа (таков, например, случай Самсона).

Однако для позднейших вероучителей допущение Августина оказалось слишком либеральным. Святой Бруно (XI век) отказал самоубийцам в мученическом венце, назвав их «страстотерпцами во имя Сатаны», а окончательно обвинительное заключение в их адрес было сформулировано Фомой Аквинским (XIII век). В «Сумме теологии» Аквинат объявляет самоубийство трижды смертным грехом: против Господа, дарующего жизнь; против общественного закона; против человеческого естества — инстинкта самосохранения, заложенного в каждом живом существе. «Всему сущему свойственно любить себя и продлевать свое бытие; самоубийство противно и природным устремлениям, и тому милосердию, с коим человек должен к себе относиться». Пять столетий спустя Дэвид Юм в своей логической апологии суицида будет

полемизировать именно с постулатами святого Фомы как наиболее весомыми.

Разрешил святой Фома и два давних вопроса, с которыми не справился Августин: может ли христианка прибегнуть к самоубийству, если ей угрожает изнасилование? И еще: допустимо ли самоистребление ради веры — путь, который избрали многие раннехристианские мученики? «Не позволено женщине убивать себя ради того, чтобы избежать осквернения, — пишет автор «Суммы». — Ибо никто не вправе избегать малого греха, прибегнув к греху большому. А на женщине, подвергшейся насилию, и вовсе греха нет, если над ней надругались без ее согласия. Как сказано у святого Луки: «Не осквернится тело без соизволения души». Да и всякому очевидно, что грех прелюбодеяния либо супружеской неверности несравним по тяжести с грехом убийства и тем более самоубийства». К самоубийцам во имя Господа Фома Аквинский суров: «...Некоторые убивают себя, полагая, что поступают мужественно, как это сделал Разис; но сие не доблесть и не проявление истинной силы. Так поступает душа слабая, не способная вынести страдания».

Данте, последователь учения Аквината, поместил самоубийц в седьмой круг Ада, ниже еретиков и убийц. Души грешников поэт превратил в ядоносные шипы, произрастающие в темном лесу. Там с повествователем вступает в беседу душа одного из первых литераторов-самоубийц Пьера дела Винья (1190—1249), советника германского императора Фридриха II. Оклеветанный врагами, Винья был заточен в тюрьму и ослеплен. Его возили из города в город, чтобы толпа над ним глумилась. Не выдержав страданий, он разбил себе голову о стену и теперь раскаивается в содеянном: «Рассудок мой во власти злого нрава задумал

смертию от злобы утаиться и понудил меня несправедливо с душою справедливой обойтись».

Однако при всей строгости отношения к греху суицида христианская церковь была не вполне последовательна в своей позиции. «Христианство сделало рычагом своей власти необыкновенно распространенную ко времени его появления жажду самоубийства, — пишет Ф.Ницше. — Оно оставило лишь две формы самоубийства, облекло их высочайшим достоинством и высочайшими надеждами и страшным образом запретило все прочие. Но мученичество и медленное умерщвление плоти аскетом были дозволены». Сильное и искреннее религиозное чувство неминуемо несет в себе элемент физического саморазрушения, то есть все того же суицидального комплекса. Презирав жизнь земную во имя жизни небесной, терзая свою плоть, религиозный фанатик намеренно и сознательно сокращает срок, отпущенный ему природой. История миссионерской деятельности церкви сплошь украшена подвигами явно суицидального свойства. К примеру, святцы католической церкви изобилуют мучениками, казненными в Японии конца XVI—первой половины XVII века. Когда сёгунат¹, испуганный активностью миссионеров, запретил «веру южных варваров» под страхом смертной казни, христианские проповедники устремились в Японию, на самый край света, с упорством мотыльков, летящих на огонь. Не знавшие языка и обычаев страны, внешне не похожие на аборигенов, миссионеры сразу же попадали в руки властей и безропотно принимали мученическую смерть. Вероятно, особенно соблазнительной эта участь представлялась иезуитам и францисканцам из-

¹ Система государственного управления в феодальной Японии.

за того, что в средневековой Японии преступников обычно распинали на кресте.

Другой пример подсознательной суицидальности первоначального христианства — трагическая история русских раскольников¹. Старая русская церковь ближе к исходному (римскому и византийскому) христианству, чем позднейшие ответвления — католичество, протестантизм или никоновское православие. С середины XVII века на протяжении двух с половиной столетий на Руси горели раскольниковы скиты. Самосожжение, самоутопление, самопогребение совершили десятки тысяч дуперстных христиан.

Главную причину непримиримого отношения правящей церкви к суициду выделить легко: нельзя допустить, чтобы человек ощущал себя хозяином своей жизни, ибо тогда «все позволено». «Самоубийство есть измена Кресту», — с несвойственной ему резкостью заявляет Бердяев, и даже добрейший В.Соловьев в этом вопросе непреклонен: «Можно сочувствовать самоубийце, но нельзя сочувствовать самоубийству». И далее у него же: «Церковные каноны в этом отношении слишком жестоки и беспощадны и на практике отношение это принуждены смягчать. Но в этой жестокости и беспощадности есть своя метафизическая глубина. Самоубийство вызывает жуткое, почти сверхъестественное чувство, как нарушение божеских и человеческих законов, как насилие не только над жизнью, но и над смертью». Что опять-таки воспроизводит аргументацию Фомы Аквинского.

В двадцатом веке христианство пережило и глубочайший за всю свою историю кризис, и настоящее возрождение. Почти повсеместно лишившись статуса

¹ Эта тема подробно рассмотрена в приложении к Разделу V.

государственной религии и диктующей инстанции, церковь потеряла в политическом влиянии и выиграла во влиянии духовном. Человек вообще, и человек христианского мира в особенности, за последние 100 лет очень изменился. Христианство не может, как прежде, взывать только к чувству, оно должно быть приемлемо и для разума. Силловые методы борьбы с суицидом более невозможны, нужно совершенствовать искусство убеждения. Впереди новые диспуты по главному вопросу философии, и старыми аргументами здесь не обойтись.

Иудаизм

Не говорите о нем [самоубийце] ничего. Не чтите его, но и не проклиняйте.

Акиба бен-Иосиф



отношение к самоубийству другой религии того же корня, иудаизма, тоже отрицательно, но без запугивания, свойственного воинственному и агрессивному историческому христианству. Ни в Библии, ни в Талмуде суицид как таковой не осуждается. Наоборот, как мы уже видели, некоторые самоубийцы (Самсон, Разис) прославляются как герои, и, в отличие от позднего христианства, иудаизм не пытался впоследствии пересмотреть свое отношение к альтруистическому самоубийству — для него было сделано исключение.

В древности существовал обычай, согласно которому

самоубийц не хоронили до захода солнца, о чем пишет Иосиф Флавий. Однако законодательно запрет на добровольный уход из жизни был оформлен лишь в постталмудический период и наиболее полно изложен в трактате «Семахот», классическом тексте, посвященном смерти и трауру. Самоубийство рассмотрено во второй главе «Семахота» — там же, где идет речь о казненных преступниках. Самоубиение названо худшим из грехов, еще более тяжелым злодеянием, чем убийство, ибо самоубийца отвергает Божий суд и пренебрегает правом на грядущую жизнь. Вместе с тем преступления этого рода считались подсудными не людям, а Богу — то есть не земному суду, а небесному (с этой позицией, видимо, согласится подавляющее большинство наших современников). Попытка самоубийства карается мягко — бичеванием. Если же грешник осуществил свой замысел до конца, ему не может быть отказано в траурном обряде, но церемония отправляется в усеченном виде: сочувствие и уважение должно выказывать по отношению к родственникам усопшего, но не по отношению к самому покойнику.

Официально признанных самоубийц в еврейской общине было очень мало, потому что малейшее сомнение в злонамеренности предписывалось трактовать в пользу умершего. В «Семахоте» сказано:

«Кто ж свершает самоубийство в здравом рассудке?

Если человек залез на дерево или на крышу и разбился насмерть, это еще не самоубийство, а самоубийством его смерть будет признана, лишь если перед этим он сказал «вот, лезу на дерево или на крышу и оттуда брошусь вниз», а затем поступил по своему слову при свидетелях... Тот же, кого нашли повесившимся или бросившимся на меч, будет признан умертвившим себя в помрачении рассудка».

Самоубийства несовершеннолетних, психически неуравновешенных и впавших в иступление из категории преступления исключались.

Талмудический закон позволяет еврею убить себя, если иначе он может впасть в грех идолопоклонства, убийства или прелюбодеяния (последняя индульгенция предназначена для женщин, которым угрожает насилие). В средние века групповое самоубийство совершали целые иудейские общины, которым грозило насильственное крещение. Самый известный инцидент — добровольная смерть 500 йоркских евреев в 1190 году. Извинительными считались и те суицидальные случаи, которые можно было уподобить Сауловой участи: безвыходная ситуация, в которой самоубийство представляет собой всего лишь замену одного способа смерти другим. Так, например, были посмертно оправданы израильские боевики Меир Файнштейн и Моше Баразани, взорвавшие себя в иерусалимской тюрьме в 1947 году, чтобы избежать виселицы.

Поступок же мужественного Разиса, предпочевшего смерть пленению, не только оправдывался, но и восхвалялся. Иудаизм чтит своих мучеников, совершивших самоубийство, не затушевывая обстоятельств их смерти, как это делало средневековое христианство.

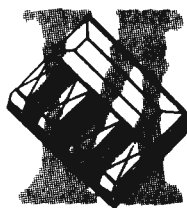
Крепость Масада, где в 73 году тысяча zelотов совершили самоубийство, чтобы не попасть в плен к осаждавшим их римлянам, считается символом израильского патриотизма и национальной святыней. А почти два тысячелетия спустя главный раввин израильской армии Ш.Горен высказал суждение, что солдат, которому угрожает пленение, не только может, но даже обязан себя убить. Чтят иудаисты и память евреев, в знак протеста покончивших с собой в концлагере Трешлинка (1943). Это

было первым шагом к отчаянному по смелости восстанию, что симптоматично: самоубийство — это акт свободы.

Первые статистические сведения о самоубийстве среди евреев относятся ко второй половине прошлого века. Тогда в Восточной и Центральной Европе ассимиляционные процессы (за исключением Германии) еще не развились в полной мере. В наше время проводить подобные исследования имело бы смысл только в Израиле, поскольку в прочих странах евреи (даже те, которые соблюдают религиозные обряды) не представляют собой обособленной группы населения. На суицидальной динамике ассимиляция отразилась не самым благоприятным образом: если в западно-русских и австро-венгерских еврейских общинах прошлого века уровень самоубийств был очень низким — в среднем вчетверо ниже, чем у католиков и православных, то в современном западном обществе (например, в США) уровень самоубийств у иудеев так же высок, как у протестантов, и в несколько раз выше, чем у католиков. Отчасти это объясняется тем, что евреи чаще занимаются профессиями высокого суицидального риска: искусством, бизнесом, наукой. Во всяком случае, влияние иудейской религии как сдерживающего антисуицидального фактора не слишком эффективно. Как и протестантизм, иудаизм делает упор на личную ответственность и рациональность, что повышает вероятность суицидного исхода.

Ислам

*Тот, кто убьет себя,
будет мучиться в адском огне.*
Аль-Бухари



слам, еще одна религия того же ближневосточного корня, относится к самоубийству с осуждением, однако, как и иудаизм, признает смягчающие обстоятельства. Корни этой не декларируемой, но практикуемой толерантности восходят к эллинистической эпохе и к философии стоицизма, утверждавшей, что смерть предпочтительнее страданий и бесчестья. Исторический ислам вообще гораздо терпимее и снисходительней к человеку, чем историческое христианство, слишком озабоченное идеей власти и экспансии. Как писал В.Соловьев: «Ислам — это последовательное и искреннее византийство, освобожденное от всех внутренних противоречий. Он представляет собой открытую и полную реакцию восточного духа против христианства, систему, в которой догма тесно связана с законами жизни, в которой индивидуальное верование находится в совершенном согласии с политическим и общественным строем». Если мусульманский закон и порицает самоубийство, то не столько в силу религиозных установлений (хотя формально они присутствуют), сколько из соображений человечности — как противоестественный акт, которого следует всемерно избегать, хотя это, к сожалению, не всегда возможно. Если говорить о религиозном аспекте этого

деяния, то, с точки зрения ислама, преступность суицида заключается в том, что человек смеет противиться своей судьбе, которая предопределена ему Аллахом, и тем самым добровольно отказывается от Рая. Наказанием грешнику будет Ад, где ему придется вновь и вновь совершать свое злое деяние. В подтверждение приводятся слова Пророка: «Человек умирает по воле Бога, согласно книге, в которой отмечен срок его жизни. Когда придет конец, он не сумеет ни замедлить, ни ускорить его ни на одно мгновение».

Однако эти слова нельзя трактовать как прямой запрет самоубийства. Такого табу в Коране вообще нет. Иногда ссылаются на призыв из суры «Женщины»: «О вы, которые уверовали! Не пожирайте имуществ ваших между собой попусту, если только это не торговля по взаимному согласию между вами. И не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам милосерд!» (33/29). Но среди толкователей преобладает точка зрения, что «не убивайте самих себя» здесь, вероятнее всего, означает «не убивайте друг друга». Вместе с тем в Коране есть по меньшей мере два места, которые звучат как поощрение самоубийства. В той же суре читаем: «А если бы Мы предписали им: «Убейте самих себя или выйдите из ваших обиталищ!» — то сделали бы это только немногие из них». (69/66). В суре «Корова», где пересказывается история пророка Моисея, говорится: «И вот сказал Муса своему народу: «О народ мой! Вы сами себе причинили несправедливость, взяв к себе тельца. Обратитесь же к вашему Творцу и убейте самих себя...» (51/54).

Как и в иудео-христианстве, в исламе религиозный запрет на самоубийство возник не сразу и опирается не

на священный текст Книги, а на суждение толкователей и вероучителей. В хадисах, то есть посткоранских преданиях о словах и деяниях Пророка, можно найти недвусмысленные угрозы в адрес тех, кто совершает интихар (по-арабски это слово первоначально означало «самоумерщвление посредством взрезания горла», однако позднее стало термином, обозначающим любой вид суицида). В одном из хадисов Пророк говорит: «Убивший себя железом будет до скончания века таскать на себе в аду орудие преступления. Отравившийся будет вечно пить свою отраву. Спрыгнувший с высоты будет вновь и вновь падать в самую бездну преисподни». Составитель одного из шести «проверенных» сборников суннитских хадисов Абу-Дауд (X век) повествует о том, как Мухаммед отказал в погребальных почестях самоубийце. Приписывают Пророку и такие слова: «В старые времена был некий человек, мучимый болезнью, которая истощила его терпение, и взял он нож, и перерезал себе запястье, и истек кровью до смерти. И сказал на это Господь: «Раб мой ускорил свой конец, нет ему пути в Рай».

Однако в реальности мусульманские общины проявляли снисходительность к самоубийцам и в погребении им не отказывали. Вопрос о том, можно ли читать погребальные молитвы над совершившими интихар, обсуждается и поныне. Что же касается мусульманского законодательства, то в нем вопрос о суициде затрагивается лишь косвенно: например, как быть с приданным женщины-самоубийцы, если брак еще не вступил в силу, или должен ли нести материальную ответственность человек, вырывший колодезь, если в этом колодезе утопился самоубийца.

Иногда политические убийства обставлялись так, чтобы смерть врага выглядела, как самоубийство: это не только спасало убийцу от ответственности, но и бросало тень на жертву, поскольку для истинно верующего интихар почитался злодеянием и позором. Так произошло в Стамбуле в 1876 году, когда «новые османы», свергнувшие султана Абдул-Азиза, инсценировали его самоубийство. Арестованный падишах якобы перерезал себе артерию, подстригая бороду маникюрными ножницами. Такая бесчестная смерть должна была устранить со сцены неудобную фигуру, а заодно подтвердить правильность решения шейх-уль-ислама о низложении безбожника. К той же тактике прибегли очернители памяти вольнодумного багдадского поэта аль-Маарри (XI век), распустившие слух о том, что нечестивец якобы наложил на себя руки.

Поэтическая и новеллистическая традиция мусульманского Востока, склонная к цветистости и преувеличению, романтизировала самоубийство и сделало его одной из самых распространенных метафор в любовной лирике. Иногда к угрозе самоубийства прибегали даже ученые богословы. Известен случай, когда прославленный суфий Абу'ль Хусейн аль-Нури потребовал от самого Аллаха, чтобы Всевышний каким-нибудь, пусть даже небольшим чудом подтвердил святость своего раба, в противном случае угрожая наложить на себя руки.

Другой богослов, слепой Иса аль-Ираки из Дамаска, действительно совершил самоубийство (1206 г.), и горожане отказались молиться за грешника, однако коллеги самоубийцы были более милосердны и проводили умершего молитвой.

В период наивысшего расцвета исламской культуры самые смелые из философов ставили под сомнение гре-

ховность самоубийства. Писатель Абу Хайан ат-Таухиди (X век) и его ученики выдвинули концепцию, которая была бы невообразимо дерзкой для средневекового христианства: жизнь человека имеет смысл, только если она добродетельна; недобродетельное же существование равносильно не-жизни, а стало быть, нет никакого греха в том, чтобы добровольно оборвать жизнь неудачную и недостойную.

Примечательно, что в мусульманских странах, несмотря на сравнительно мягкое отношение к суициду, реальные случаи самоубийств во все времена происходили гораздо реже, чем в агрессивно антисуицидном христианском обществе. Эта тенденция еще заметнее в современном мире. Разумеется, бросающийся в глаза перепад в статистике самоубийств (в среднем в 3-4 раза) между странами христианской и мусульманской культуры объясняется и другими факторами (прежде всего социальными и общекультурными), но все же факт остается фактом: из трех великих ближневосточных религий почему-то именно ислам побуждает человека цепче держаться за свою жизнь¹.

¹ После первого издания этой книги прошло всего 6 лет, но нынешний всплеск исламского экстремизма, в частности, вылившийся в эпидемию суицидальных терактов, ставит этот тезис под серьезное сомнение. От снисходительного отношения к суициду до его героизации оказался всего один шаг — во всяком случае, для определенного направления современного ислама. Впрочем, это тема для отдельного исследования.

Индуизм и буддизм

Красноволосые¹ убеждены, что самоубийство — грех, но я так не считаю.

Акутагава Рюноске.

Из предсмертного письма



Индуизм и буддизм, как и три религии, рассмотренные выше, происходят от одного корня, но объединение их в одной главе объясняется не столько общим происхождением, сколько определенным сходством в трактовке интересующей нас проблемы. Великие восточные конфессии в гораздо меньшей степени, чем иудаизм, ислам и особенно христианство, озабочены этической оценкой суицида и вообще не склонны рассматривать самоубийство как вопрос первостепенной важности. Подобное хладнокровие объясняется тем, что буддизм и индуизм по-иному относятся к смерти.

Для человека оксидентальной культуры (к которой в данном случае я отношу и Ближний Восток) смерть находится за гранью, откуда нет возврата. Страшный Суд далеко, и вердикт его неизвестен, Воскресение суждено не каждому — в общем, за гробом человека подстерегает неведомое. Смерть при этом рассматривается, во-первых, как событие огромной, всё заслоняющей важности, а во-вторых, как нечто страшное, внушающее ужас.

Обе восточные религии провозглашают повторяемость земных перерождений человека, которому суждено много

¹ Так в Японии называли европейцев.

раз жить и много раз умирать. При этом колесо самсары, череда перевоплощений, — это тяжкое испытание, которое нужно с достоинством выдержать, и тогда, достигнув святости, душа вырвется из порочного цикла и больше не должна будет выносить ни муку новых рождений, ни муку новых смертей. Идея реинкарнации, общая для буддизма и индуизма, делает суицид бессмысленным и даже вредным — но не из страха перед Богом, а из вполне рациональных соображений. Добровольно уходящий из жизни ничего не достигнет — карма вновь поставит его в ту же самую ситуацию, ибо человек с ней не справился. Самоубийство все равно не спасет от выпавших на твою долю страданий. Более того, поскольку уровень нынешней инкарнации определен поведением в предшествующем воплощении, эгоистическое самоубийство отдаляет от нирваны. Суицид — не выход, но и драматизировать его особенно незачем. Будет другая жизнь, будет другой шанс.

Однако есть ситуации, в которых самоубийство может продвинуть человека далеко вперед по цепочке перерождений и, возможно, даже разорвать ее вовсе. То есть и индуизм, и буддизм признают, что иногда убивать себя не только извинительно, но даже похвально. Все помнят буддийских монахов, в 60-е годы подвергавших себя самосожжению в знак протеста против американской оккупации Вьетнама. Вряд ли эти люди рассчитывали, что своей страшной смертью заставят американцев вывести войска, но они верили, что актом самопожертвования достигнут статуса святости. С этим, кажется, был не согласен нобелевский лауреат и будущий самоубийца Кавабата Ясунари, писавший: «Даже если испытываешь глубочайшее отвращение к окружающей реальности, самоубийство все равно — не форма сатори. Самому высоконравственному самоубийце все равно далеко до

святого». Но в ответ монахи могли бы сослаться на «Агамасутру», в которой приведены слова Шакьямуни, одобряющего самоубийство одного из своих учеников.

Разумеется, говоря об индуизме и буддизме, можно делать только самые широкие обобщения — обе великие восточные религии подразделяются на многочисленные ветви, школы, секты, и у каждой своя философско-этическая система, своя традиция, свой ритуал, свое отношение к смерти вообще и к самоубийству в частности.

Классический индуизм, самая древняя из существующих религий (три с половиной тысячи лет), наиболее апатичен и пессимистичен. Для него жизнь в любых ее проявлениях — безусловное зло, а смерть, небытие — безусловное благо. Идеальный путь души — как можно быстрее (то есть за минимальное количество перерождений) исполнить свой земной долг и влиться в Великую Пустоту. Высшая из каст, брахманы, терпимы и даже благосклонны к суициду, если он совершен из высших соображений. В «Законах Ману» сказано: «Брахман, без страха и горя освободившийся от своего тела при помощи одного из способов, завещанных нам святыми, считается достойным того, чтобы быть допущенным в местопребывание Брахмы». Правда, те же законы позволяли взыскующему святости уходить из жизни лишь по достижении определенного возраста и только в том случае, если у него есть хотя бы один сын. Религиозные фанатики велели закапывать себя живьем в землю¹.

¹ Этот обычай переняли и буддисты. В Японии до сих пор находят пещеры с мумифицированными останками монахов, уморивших себя голодом. Добровольное погребение заживо было распространенным способом ухода для тех из братии, кто состарился и устал от жизни. Так, например, поступил выдающийся японский скульптор Энку (XVII век): став немощным, он заживо лег в могилу. Дышал через трубочку и звонил в колокольчик, чтобы монахи знали — Энку еще жив и молится за них.

С индуизмом связаны два суицидных ритуала, в свое время произведшие глубокое впечатление на европейцев.

Английское слово *juggernaut*, употребляемое в значении «всесокрушающая машина», произошло от имени бога Джаганнатхи, особой ипостаси Вишну-Кришны. В городе Пури, где находится святилище Джаганнатхи, издавна проводится *ратхаятра*, церемония провоза изваяния на массивной колеснице, которую тянут сотни храмовых служителей и паломников. В прежние времена самые истовые из пилигримов в порыве благочестия бросались под тяжёлые колеса, веря в благодать такой смерти.

Если случаи добровольной гибели фанатиков под колесами «Джаггернаутовой колесницы», вероятно, происходили не так уж часто, то другой индийский обычай — *сати* (самоубийство вдов) был распространен очень широко. Буквально *сати* означает «добродетельная жена». Этот обычай уходит корнями в глубокую старину и некогда был распространен у многих древних народов, в том числе у скифов, фракийцев, китайцев. Мужчинам нравится думать, что они составляют весь смысл существования своих женщин, но у древних было больше возможностей принудить вдову доказать свою любовь и преданность самым радикальным из способов. Порицая современных римлянок за неверность и легкомыслие, Проперций (I век до н.э.) ставил им в пример индийских жен:

*Благословен закон восточных погребений!
Когда, от факела огнем воспламенившись,
Костер испепеляет тело мужа,
Супруги верные за честь и право бьются
В последний путь его сопровождать.*

Святой Иероним, еще не подозревавший о том, что век спустя церковь начнет кампанию против суицида, тоже восхваляет подобную самоотверженность:

«У них [индийцев] есть закон, согласно коему любимая жена должна взойти на костер вместе с усопшим супругом. Жены соперничают друг с другом, чтобы завоевать это право, и высшая награда целомудрия — быть сочтенной победительницей. Та из жен, что оказалась самой достойной, обряжается в лучшие одежды и ложится рядом с трупом, лобызая и обнимая его. Прославляя чистоту, она презирает бушующее пламя».

Первоначально последний долг верности должны были соблюдать лишь женщины высших каст, но со временем сати стал применяться очень широко, особенно в Гуджарате, Раджпутане и Пенджабе. Резкое понижение социального статуса вкупе с давлением общественного мнения понуждали многих вдов избирать добровольную смерть. Они или топились в реке, или бросались в погребальный костер. Известно, что вдовам из касты ткачей было предписано захоронение заживо. Временами это очень мало походило на самоубийство, поскольку женщину бросали в реку или в огонь насильно, а то и предварительно оглушали.

Англичане, ведшие непримиримую борьбу против этого «варварского» обычая, пытались вести статистику *сати*. Самым смертоносным стал 1821 год, когда колониальные власти зарегистрировали 2366 случаев самоубийства. Несмотря на законодательные запреты, обычай сохранился в Индии и поныне, только теперь вдова не бросается в огонь, а устраивает самосожжение у себя дома, облившись бензином...

Китайцы восприняли пришедший из Индии буддизм с существенными корректировками, обусловленными спецификой национального характера и культуры. Учение

Будды мирно уживались с конфуцианством и даосизмом. Культ предков делал мир мертвых близким и по-родственному нестрашным, а смерть воспринималась как трудное, но не лишенное приятности путешествие, в конце которого умершему гарантирована встреча с дорогими его сердцу людьми. Китайскую культуру отличает «домашнее», даже какое-то уютное отношение к смерти. Вспоминать о ее неотвратимости совсем не страшно — скорее наоборот. Вполне уместно подарить гроб тяжело больному другу или престарелому родителю — конечно, если подарок красивый и дорогой. Похоронный обряд похож на праздник, особое значение придается его пышности. Старый советский анекдот о месте, освободившемся на Новодевичьем кладбище (умереть необходимо сегодня же, не то участок перехватят), звучит вполне по-китайски.

Вот характерный эпизод, который мог иметь место только в Китае.

В цинской империи самоубийство входило в свод уголовных наказаний. Провинившемуся сановнику могли прислать от императора «подарок»: мешочек с ядом, белый или желтый (в зависимости от занимаемого ранга) шнурок для самоповешения или лепестки золотой фольги. Лепестки полагалось глотать — они прилипали к горлу и гортани, вызывая смерть от удушья. Однако самые хитрые из чиновников находили способ выкрутиться даже из такой безвыходной ситуации. В 1870 году императрица Цы Си под давлением европейских держав отправила роковой «подарок» некоему губернатору, который не сумел предотвратить беспорядки, направленные против чужеземцев. Однако губернатору умирать не хотелось, и он нашел добровольца, безвестного кули, вызвавшегося принять кару на себя. В качестве награды за спасение на-

чальства кули потребовал дорогой гроб и похороны по высшему разряду, о котором бедняку прежде не приходилось и мечтать. В итоге все остались довольны — и кули, и императрица, и находчивый губернатор.

В Китае самоубийство считалось вполне достойным выходом из тяжелой или позорной ситуации (в истории Поднебесной насчитывается шесть покончивших с собой императоров), однако китайцам было далеко до средневековых японцев, возведших суицид в ранг наивысшей доблести и желаннейшего из видов смерти.

Японская разновидность буддизма жестче, мужественнее и мрачнее, чем буддизм континентальный. Это объясняется не только влиянием пресловутого «японского духа», но и «разделением функций», сложившимся между двумя японскими конфессиями, буддизмом и синтоизмом, которые отлично ладят друг с другом. Национальная религия островитян охотно потеснилась, отдав под юрисдикцию чужеземного учения все связанное с горем и смертью, себе же оставила лишь те стороны человеческого бытия, которые связаны с жизнью и радостью. Синто — самая жизнеутверждающая из всех религий, в ней заложено изначальное неприятие смерти. В синтоистской мифологии описано, как бог Идзанаги, подобно Орфею, отправился в царство мертвых за своей умершей супругой богиней Идзанами. Когда Идзанаги увидел гниющий, разлагающийся труп жены, он в ужасе бежал из мира мертвых, завалил вход камнями и совершил обряд очищения. В мире нет другой религии, которая относилась бы к небытию с таким отвращением, как синтоизм. Он просто отказывается признавать существование смерти.

Буддизм, в свою очередь, охотно предоставил туземной религии заниматься свадьбами и танцами, забрав

себе похороны и бдения, ибо тот, кто владеет смертью, владеет и жизнью. Дзэн, буддизм прямого действия, был взят на вооружение самурайским сословием и доведен до своего логического завершения: лучший воин — тот, кто не боится смерти; смерти не боится тот, кто не боится *верной* смерти; самая верная смерть — это не смерть в бою (где можно и уцелеть), а смерть от собственной руки. Стало быть, высший разряд смерти — суицид. А для того чтобы воины не переубивали себя, возник целый кодекс самоубийства, введший сложную систему запретов, ограничений и ритуалов.

На японском суициде я останавлиюсь подробнее в главах «Самоубийство по-японски» и «Красивая смерть», пока же подведем предварительные итоги.

С точки зрения суицидологии главное отличие восточных религий (то есть индуизма и буддизма) от религий западных (христианства, ислама и иудаизма) заключается в том, что самоубийство не имеет стигмы греховности. Это серьезный аргумент против «нравственного закона», отвергающего суицид. Если половина человечества в течение многих веков не считала суицид преступлением против Бога, то, может быть, Бог (нравственный закон, природа) самоубийц вовсе не отвергает? Что если наш пресловутый «нравственный закон» — всего лишь голос подсознания, которое, как известно, формируется под влиянием взрастившей нас культуры (в данном случае христианской, а стало быть, антисуицидной)? Ведь не может же современный оксидентальный человек, хоть бы даже и исповедующий христианство, быть до такой степени высокомерно-европоцентричным, чтобы признавать истинность только своей веры и только своей нравственной системы?

Приложение

Культы «Нового века» и самоубийство

Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо требовали всего или ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось — к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве.

Ф.М.Достоевский. «Сон смешного человека»



самая распространенная из современных религий, христианство, вот уже третий век переживает серьезный кризис. Главную опасность для веры Западного мира представляет не атеизм или агностицизм, а неудовлетворенность все большего числа верующих догматами и мировоззренческой системой традиционных ветвей церкви. Во второй половине XX века в Америке и Европе появилось множество культов, сохранивших некоторые элементы христианской обрядовости, однако по своей сути являющихся верованиями принципиально иного толка. В мозгу среднестатистического человека, усердного потребителя голливудских фильмов, телевизионных шоу и таблоидов, воцарился полнейший сумбур, мешанина из воспоминаний о детской вере, оккультных мифов и космической фантастики. «Привычная» церковь многим кажется устаревшей, а Новый Завет обветшавшим. Пестрые течения так называемых религий Нью-Эйдж («Нового века») предлагают взамен широкий ассортимент Новейших Заветов, объединяю-

ших в себе черты разных конфессий и дополняющих их собственными «откровениями». Привлекательность этих сект в том, что они суперсовременны, энергичны и ориентированы не на человечество в целом, а на более или менее узкую группу, на конкретного «потребителя» — так сказать, выполнены на заказ. Многие из новых культов предвещают скорый конец света, играя на эсхатологических страхах массового человека перед ядерной войной, экологической катастрофой или какими-то иными призраками, которыми так любят пугать себя люди.

В учениях проповедников надвигающегося Армагеддона суицид все чаще предстает не в привычном обличье «худшего из грехов», а в прямо противоположном качестве — как единственный способ спасения души. Готовность расстаться с собственной жизнью нередко сочетается у zelотов с пренебрежительным отношением и к чужим жизням, что делает подобные культы особенно опасными. Сохраняя веру в вечную жизнь и Бога (как правило, христианского, во всяком случае по имени), приверженцы «суицидных» культов могут с легкостью нарушать все десять христианских заповедей.

При всей пестроте обрядовых, организационных и теологических различий секты этого склада имеют ряд неперенных типических особенностей.

Прежде всего, они эксплуатируют идею исключительности своих членов: мол, все погибнут, а мы спасемся. Концепция спасения немногих избранных — спасения, целиком и полностью зависящего от неукоснительного выполнения воли «пророка», — это психологическая основа поведения обращенных, которое со стороны может выглядеть абсурдным, необъяснимым и даже чудовищным.

Для обоснования идеи избранничества необходимо, чтобы весь мир, находящийся за пределами круга верующих, выглядел чуждым и агрессивно-враждебным. Там, снаружи, — злоба, люта́я ненависть и стремление всеми средствами истребить избранных; внутри же — единство, полное взаимопонимание и духовная слиянность. Для этого во

всех культах подобного типа особый упор делается на разрушение семейных и родственных связей, секта становится единственной семьей. Обычно импульсом к коллективному самоубийству становится реальная или вымышленная угроза вторжения внешних сил в жизнь «семьи».

Все «суицидные» культы в своей проповеднической деятельности сочетают обильное цитирование священных текстов (чаще всего «Откровения Иоанна Богослова») с нарочито современной терминологией, в которой фигурируют биоэнергетические поля, инопланетные космические корабли, экологически чистая пища и прочее.

Для пропаганды своих идей проповедники виртуозно используют достижения главной науки нашего столетия — искусства обработки массового сознания. Здесь идут в ход и газеты, и шоу, и рок-музыка, и Интернет, и телевидение.

Основатели сект — все без исключения — обладают незаурядными деловыми способностями и быстро превращают свою организацию в высокодоходный бизнес, причем всей прибылью распоряжаются бесконтрольно. Обращенные либо жертвуют «семье» свое имущество, либо, как это было в «Солнечном Храме», платят очень высокие членские взносы. В сектах, вербующих участников преимущественно из социальных низов, существует двойной жизненный стандарт: рядовых членов призывают довольствоваться малым, в то время как иерархическая верхушка купается в роскоши.

Примечательно, что подверженность влиянию «новых религий» не зависит ни от уровня образования, ни от социального положения. Из четырех «суицидных» культов, история которых будет описана ниже, два («Народный Храм» и «Ветвь Давидова») были предназначены для бедных и незамысловатых, а два других («Солнечный Храм» и «Врата Небесные») — для обеспеченных и высокоумных. Дело здесь не в учении и материальной обеспеченности, а в психологии.

Все проповедники и гуру делают ставку на один из самых распространенных типов человеческой личности — на людей со слабо выраженным «эго», которые легко поддаются внушению, стремятся оказаться

в положении «ведомых» и испытывают подсознательную тягу к растворению собственного «я» в некоем коллективном «сверх-Я». По определению Фрица Римана, автора замечательного исследования «Основные формы страха», это так называемые депрессивные личности, которые стремятся к всемерному укреплению уз с эмоциональными партнерами, именно в этом видя защиту от страха и неуверенности. «Депрессивные личности, — пишет Рима́н, — стремятся к симбиозу, к упразднению разделительной границы между «я» и «ты»... Они полностью растворяются в своей привязанности, которая их как бы «пожирает», так что они уже не проводят различий между собой и партнером». Подобная психологическая модель, направленная на подавление своего «я», изначально несет в себе саморазрушительный заряд, который при определенном стечении обстоятельств может привести к суицидным устремлениям. По Риману, идеальным объектом привязанности для депрессивных личностей являются «шизоидные личности». Этим неделикатным термином Рима́н обозначает людей, у которых «я» развито чрезмерно. Именно к такой категории относились все основоположники «суицидных» культов — и Джим Джонс, и Дэвид Кореш, и Люк Журе, и Маршалл Эпплуайт. Несмотря на всю посмертную (и вполне заслуженную) хулу в адрес этих «ловцов человеков», нельзя не признать, что каждый из них был яркой, сильной, харизматичной личностью. Иначе они не смогли бы увлечь людей определенного склада — и повести их за собой на край и за край света.

Душевное устройство мессий распутинского толка, к сожалению, мало исследовано. Ясно лишь, что шарлатанство органично уживается в них с искренней верой в свою избранность, а крайний эгоцентризм с самоотверженностью, проявляющейся в готовности погибнуть во имя своей веры. В прежние времена таких называли «одержимыми». Они умели вызвать фанатичную любовь и нерассуждающее повиновение и мастерски овладевали настроением толпы; особенно ярко их звезда вспыхивала в переломные моменты истории, и своей смертью они, как правило, не умирали.

Обращает на себя внимание то, что эти «пророки» обычно наделены гипертрофированной сексуальной энергией, что определяет поведенческий режим всей общины. Тут есть два типа поведения: либо «пастырь» жесточайшим образом подавляет сексуальность и в себе, и в пастве — вплоть до кастрации, распространенной у членов «Врат Небесных»; либо табуирует половую активность своих «сыновей», зато себе дает полную волю, для чего устраивает настоящий гарем из числа своих «дочерей». Потрясает смирение, с которым члены секты, сплошь граждане стран с высокоразвитым представлением о правах человека, выносят невероятные унижения и прямое насилие. «Пророки» поразительным образом умеют поработать не только тела, но и души.

Рекордсмен по числу «пойманных душ» — преподобный Джим Джонс, основатель калифорнийской секты «Народный Храм». Еще мальчиком он знал наизусть чуть ли не все Священное Писание и устраивал церемонии «крещения» для детворы (не забывая при этом брать плату). Когда Джонс подрос, он стал проповедником среди городских низов — в основном, цветных безработных. На собранные пожертвования кормил обездоленных бесплатными обедами и давал им кров. Джонс умел производить впечатление на журналистов, те создавали ему паблисити, и слава «Народного Храма» росла. Рос понемногу и бизнес: питомцы Джонса возвращали долг трудом, стекались в казну секты и щедрые пожертвования.

Поскольку учение предназначалось для людей простых и малограмотных, его теоретическая часть была примитивна: грядет ядерная катастрофа, спасутся только последователи Джонса, а мешать их спасению будут силы зла, облик которых год от года менялся и под конец отождествился с ЦРУ и американским правительством.

Основатель «Народного Храма» отличался выдающимися организаторскими и актерскими способностями. Помимо широко рекламируемой благотворительной деятельности он всюду прибегал и к эффектным «исцелениям»: мановением руки вразумлял бесноватых, поднимал на ноги паралитиков и возвращал к жизни раковых больных (на роль страдальцев нанимались специальные люди). У членов секты

«Папа» считался ясновидящим и вездесущим, потому что имел обыкновение во время проповеди, закатив глаза, публично объявлять, о чем втайне думает тот или иной из «детей». Для этой цели Джонс обзавелся целой сетью подслушивающих и подглядывающих, которые бдительно следили за настроениями и состоянием умов паствы.

Особенно эффектен был трюк с инсценированным покушением, разыгранный вскоре после убийства Мартина Лютера Кинга. Джонс ворвался на молитвенное собрание шатаясь, весь забрызганный кровью, и объявил, что только чудом спасся от убийц. Под крики и причитания потрясенной аудитории «Папа» немного покорчился, произнес молитву, и раны чудодейственным образом исчезли.

В середине 70-х, в период расцвета, в «Народном Храме» состояло более 3000 членов, а число сочувствующих было столь велико, что во время президентской избирательной кампании супруга демократического кандидата Розалин Картер пригласила преподобного на ужин тет-а-тет — без поддержки джонсоновского электората в стратегически важном штате Калифорния Джимми Картеру было не обойтись.

История с «Народным Храмом» нагляднейшим образом демонстрирует достоинства и недостатки свободной прессы. Без поддержки журналистов, которые падки на сенсации и с легкостью принимают желаемое за действительное, Джонс никогда не стал бы суперзвездой. Но в конце концов именно журналист, бескомпромиссный и дотошный, разрушил сусальную легенду и вывел махинатора на чистую воду.

В августе 1977 года репортер Маршалл Килдрафф опубликовал в журнале «Нью Вест» статью, в которой доказательно, опираясь на факты, цифры и документы, обвинил Джима Джонса в вымогательстве, мошенничестве, педофилии и множестве других неаппетитных деяний. Члены секты знали о готовящейся публикации заранее и сделали все, чтобы она не вышла в свет: совершили ряд налетов на редакцию, выкрали первоначальный вариант статьи, отправили сотни писем спонсорам, угрожая бойкотировать товары, реклама которых

появляется на страницах «Нью Вест». Все было тщетно, гром грянул, и разразился шумный скандал, после которого Джонсу в Калифорнии и вообще в Соединенных Штатах рассчитывать стало не на что. Отлично это понимая, а также предвидя возбуждение уголовного дела, проповедник предпринял неожиданный ход — вывез значительную часть своих «детей» в Южную Америку. Примерно тысяча членов секты поверила, что именно там, в девственных джунглях Кооперативной республики Гайана, находится благословенный заповедник, который уцелеет во время надвигающейся всемирной катастрофы.

Марксистское правительство недавней колонии приняло общину с распростертыми объятьями — их приезд был выгоден и с финансовой, и с политической точек зрения. В дела коммуны власти не вмешивались, и Джонс получил уникальную возможность создать собственное маленькое государство. Колония получила название Джонстаун.

Жили в Джонстауне так. Мужья отдельно от жен, дети отдельно от родителей. Рядовые члены с утра до вечера работали на полях, выращивая «экологически чистый» урожай, а по ночам Джонс произносил перед ними многочасовые проповеди. Информация из внешнего мира тщательно фильтровалась, и до паствы доходили лишь сведения о том, что Америка катится в пропасть, что ядерная война неумолимо приближается, что вся остальная часть человечества озабочена лишь одним — как бы извести джонстаунских счастливицев. Для подавления недовольства и инакомыслия преподобный завел вооруженную до зубов охрану. Эти сто головорезов могли как угодно глумиться над паствой. Избиения, пытки и сексуальное насилие были в порядке вещей.

Сам «Папа» тем временем пристрастился к наркотикам и все больше подладал под власть мрачных апокалиптических видений. Эффектный финал он готовил долго и обстоятельно.

Сначала возникла доктрина «Перевода», согласно которой вся община должна была единым махом «перевестись» с обреченной Земли на другую эдемообразную планету. Для этого все члены «Народного Храма» должны были одновременно умереть.

Чтобы в решающий момент не произошло сбой, проповедник постоянно проводил учения по суициду — так называемые «Белые ночи». Среди ночи гудела сирена, сонные жители спешили на площадь, «Папа» объявлял им, что великий день настал, и все послушно пили «яд» — подслащенную водичку. В последний год было проведено срок три подробных тренировки. «Дети» привыкли к ритуалу.

До Америки доходили смутные слухи о чудовищных нравах, царивших в колонии, родственники обращенных заваливали правительство петициями и письмами, и в конце концов официальные инстанции зашевелились. Когда в гайанские джунгли прибыла инспекционная миссия конгрессмена Лео Райана (это произошло 15 ноября 1978 года), Джонс понял, что пора закрывать занавес. Конгрессмена сопровождали журналисты, адвокаты и представители комитета встревоженных родственников — всего около двух десятков человек.

В первый день Джонсу удалось заморочить гостям голову: Джонстаун сиял чистотой, все улыбались, хор пел гимны, дети танцевали. Но дотошный инспектор сказал, что готов взять с собой в Штаты всех желающих, и несколько смельчаков немедленно выразили готовность улететь на родину.

Дальнейшие события развивались по сценарию, очевидно, заранее разработанному Джонсом. Охранники изрешетили пулями Райана и сопровождавших его лиц, а все население городка согнали на площадь. Сидя на троне, проповедник объявил пастве, что путешествие подошло к концу. Голос, усиленный динамиками, произвел на толпу обычное месмеризирующее воздействие — кто-то впал в транс, кто-то запел, кто-то затрясся в конвульсиях. Сначала умерли дети — родители поили их водой с цианидом, а самым маленьким делали инъекции. Потом яд выпили взрослые. Они ложились на землю рядами и умирали. Бежать почти никто не пытался, а если и попробовал бы, то ничего бы не вышло — по периметру стояла вооруженная охрана.

Церемония растянулась до темноты, и несколькими недостаточно одурманенным колонистам все же удалось спрятаться в джунглях.

Они-то и рассказали потом, как городок Джонстаун «переводился» на другую планету.

Наутро полиция обнаружила 914 трупов. Из них почти треть составляли дети. Сам Джонс яд принимать не пожелал — он застрелился у алтаря. Прошло несколько недель, прежде чем потрясенный мир узнал причины и подробности трагедии, произошедшей в одном из самых глухих уголков планеты.

Зато следующий эпизод коллективного суицидного безумия разыгрался на глазах у всей Америки, наблюдавшей по телевизору, как гибнут члены неистовой секты «Ветвь Давидова».

В отличие от большинства верований «Нового Века», этот культ возник довольно давно — еще в 30-е годы, когда от церкви Адвентистов Седьмого дня отделилась группа последователей болгарского эмигранта Виктора Гутева, который утверждал, что в Священном Писании содержится некий шифр, предвещающий скорый конец света. Срок Апокалипсиса без конца переносился, и секта Гутева вновь и вновь становилась всеобщим посмешищем, однако не распалась, а мирно сосуществовала до 80-х годов, обосновавшись на обширном земельном участке в штате Техас. В то время пророчицей, наделенной даром «разгадывания шифров», у давидианцев считалась 70-летняя Луа Роден. После нее главой коммуны должен был стать ее сын Джордж.

Тут-то на ранчо и появился юный далласец Вернон Уэйн Хоуэлл. Биография его выглядела скромно: не доучился в школе, не сумел стать рок-гитаристом, пробовал заниматься мелким мошенничеством, но не преуспел и на этом поприще. К давидианцам Вернон обратился со смиренной просьбой — избавить его от пагубного пристрастия к онанизму и открыть путь к духовному просветлению. Поначалу покладистый и услужливый юноша выполнял всякую мелкую работу, много времени проводил в молитве, присматривался к порядкам и изучал расстановку сил. Потом сделал неожиданный ход — объявил миссис Роден, что ему было видение: им двоим суждено зачать сына, который станет последним пророком.

Став фаворитом давидианской престарелой папессы, Вернон быстро подчинил общину своей воле. Его мрачные проповеди, предсказывавшие близость Армагеддона, заставили коммуну сплотиться и еще больше отгородиться от внешнего мира. Однако Луа Роден умерла слишком рано, молодой честолюбец не успел утвердиться в роли ее преемника. «Законный наследник» Джордж Роден сумел изгнать узурпатора, обвинив его во многих грехах, в том числе в распутстве и совращении малолетних (что было правдой). Вернон покинул ранчо, но с ним ушли 25 последователей, уверовавших в его звезду.

Некоторое время диссиденты вели кочевой образ жизни, уподобляя себя моисеевым евреям в пустыне. Вернон искал тайные апокалиптические знаки в популярной песне «Дом восходящего солнца», сулил скорую схватку с Сатаной, выступал с музыкальными концертами и проповедями, главное же — готовился к реваншу. В 1987 году во главе банды телохранителей (они назывались «Мужчины силы») он ворвался на ранчо давидианцев, подстрелил Джорджа Родена и взял власть над общиной в свои руки.

Он принял новое имя: Дэвид Кореш (в честь царя Давида и персидского царя Кира, чье имя по-древнееврейски произносилось «Кореш»). Впрочем, называл он себя и иначе — «Ангелом из Откровения» и еще последним, седьмым пророком, который поведет твердых верой на решающий бой с Сатаной. Новое имя получила и община — «Ранчо Апокалипсис».

Пророк Кореш завел новые порядки. Вся деятельность членов секты подвергалась строжайшей регламентации. Мужей и жен расселили; половые контакты без санкции «Ангела» запрещались; дети могли играть только в одобренные пророком игры; по вечерам все дружно смотрели фильмы про войну, а по ночам слушали проповеди. Все женщины и даже девочки принадлежали только Корешу. Мужчины должны были молиться и учиться обращению с оружием. «Каждый должен взять в руки оружие, — призывал пророк. — Если вы хотите умереть за Господа, то будьте готовы и убивать за Него».

Ранчо Апокалипсис все больше напоминало военный лагерь. Готовясь к Армагеддону, давидианцы закупали оружие и боеприпасы в таких количествах, что в конце концов это привлекло внимание Федерального агентства по контролю за алкоголем, курением и огнестрельным оружием, которое выдало ордер на обыск.

Тут-то и грянул Армагеддон. 28 февраля 1993 года около ста агентов, полицейских и рейнджеров при поддержке вертолетов предприняли попытку ворваться в укрепленный лагерь, однако были встречены шквалом огня и отступили, потеряв убитыми и ранеными до четверти личного состава.

Пришлось приступить к правильной осаде, которая продолжалась без малого два месяца. Кореш сдаваться не собирался и доводил свою паству до неистовства проповедью самоубийства. Особенно часто он цитировал строки о пятой печати:

«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число».

В проповедях фигурировал и космический корабль, который Господь пришлет за Своими мучениками.

Тем временем психологи из ФБР, проанализировав слова и поступки Кореша, пришли к выводу, что он трус и демагог, не способный устроить в Техасе второй Джонстаун. Достаточно выкурить фанатиков слезоточивым газом, и они сдадутся — такова была рекомендация экспертов.

19 апреля 170 агентов ФБР под прикрытием танков начали штурм. Дэвид Кореш и его последователи прочли последнюю молитву и подожгли ранчо. Взорвался склад боеприпасов, и почти вся община погибла в огне. Из 83 осажденных в живых остались только восемь

человек. Представители властей обнаружили на пепелище 25 мертвых детей, двенадцать из них были сыновьями и дочерьми самого Кореша.

Два «респектабельных» суицидных культа, предназначенных для интеллектуалов, были не столь многочисленны, как «Народный Храм» и «Ветвь Давидова», однако обставили свой уход с обреченной планеты не менее эффектно.

Особенную организационную виртуозность проявили «тамплиеры» Люка Журе, они же «Рыцари Христовы», они же прихожане «Солнечного Храма». В октябре 1994 года в Канаде и Швейцарии несколько десятков членов этой экзотической секты прекратили свое земное существование. Разобраться, кто из них сделал это по собственной воле, а кого убили, оказалось не так-то просто.

Основателем «Солнечного Храма» был бельгийский врач Люк Журе — талантливый гомеопат, с ранних лет увлекавшийся мистицизмом и эзотерикой. В конце 70-х, когда Журе на Филиппинах изучал искусство знаменитых туземных хилеров, на него снизошло просветление, побудившее 30-летнего врача заняться проповеднической деятельностью. Однако, в отличие от Джима Джонса и Вернона Хоуэлла, он не гнался за количеством обращенных. Начал Журе с собственных пациентов, которым внушал, что в исцелении нуждаются не только их тела, но и их души.

Организация, созданная новым пророком, полностью называлась «Международный рыцарский орден солнечной традиции», а коротко — «Солнечный Храм». Это был настоящий элитарный клуб с трехступенчатой системой членства, всего около 500 человек, по преимуществу людей весьма обеспеченных. «Послушники» ходили на лекции и получали кассеты с записью проповедей, за что платили по 50 долларов в неделю. Те, кого признавали достойным, становились членами клуба «Аркадия», где уже нужно было вносить по 150\$. За это членов клуба привлекали к проведению мистических церемоний, доверяли им вер-

бовку «послушников» и различные виды сакральных работ вроде выращивания целебных растений. Элиту организации составляли члены «Золотого Круга» (плата — 200\$ в неделю), имевшие рыцарское звание и участвовавшие в магических ритуалах. Многие из попавших в «Аркадию» и «Золотой Круг» отдавали в общий котел все свое имущество.

Тон в секте был заведен строгий: разврат строжайше запрещался, наркотики тоже; пророк сам решал, что можно есть, а что нельзя, сам сводил и разводил супругов. Впрочем, для членов «Солнечного Храма» супружеские узы утрачивали смысл, потому что все они становились единой семьей. «Здесь все белое, а снаружи — тьма», — повторял им Журе.

Во время изысканных банкетов с шампанским велись неспешные мистические беседы. Обряженный в тогу пророк толковал о неотвратимости экологической катастрофы и о «макроэволюционном прыжке» — необходимости покинуть Землю, чтобы сохранить генофонд будущего человечества. Главное — не упустить момент для эвакуации избранных.

В 1986 году временным пристанищем перед окончательной эвакуацией для членов «Солнечного Храма» стал лесистый участок в провинции Квебек, получивший название «Земля обетованная». Там храмовники выращивали экологически чистые овощи, пекли хлеб и очень нравились соседям своей приветливостью и покладистостью.

Другая штаб-квартира организации находилась в Швейцарии, где базировался Фонд «Золотой Путь», основанный Джозефом Димамбро. «Солнечный Храм» и «Золотой Путь» слились в одну секту. Журе стал ее духовным пастырем, а Димамбро, опытный предприниматель с сомнительным прошлым (ему случалось отбывать срок за мошенничество), с успехом возглавил финансовую деятельность коммуны.

Впоследствии обнаружилось, что Димамбро занимался «отмыванием» денег и пропустил через счета секты без малого 100 миллионов долларов. Пока члены секты выращивали капусту и мололи муку, Журе и его премьер-министр жили на широкую ногу, разъезжали по

фешенебельным курортам и тратили огромные средства на личные нужды. Проблемы организации начались именно из-за финансовых злоупотреблений: некоторые из канадских «рыцарей» потребовали отчета и ревизии. Одновременно с этим махинациями Димамбро заинтересовалась канадская полиция.

Дальше все развивалось по уже привычному сценарию. К сожалению, власти никак не научатся осторожности в обращении с «суицидными» культами. Как только параноидальная концепция враждебности внешнего мира по отношению к «избранным» получает хоть малейшее фактическое подтверждение, члены подобной секты немедленно переходят к решительным действиям.

Первый акт трагедии разыгрался в «Земле обетованной». Рано утром 5 октября 1994 года Журе и Димамбро «отправили в эвакуацию» членов квебекского филиала секты. Предварительно они утертвили трехмесячного младенца, проткнув ему сердце осиновым колом. Ребенок был сыном двух членов секты, и Димамбро объявил, что это Антихрист. Усадьба была заминирована и взорвана, а руководители секты вылетели в Швейцарию, чтобы довести дело до конца. В тот же день взрывы грянули в двух альпийских резиденциях «рыцарей». Судя по следам на трупах, некоторые из членов секты были застрелены, а многие – накачаны наркотиками. На сей раз «эвакуацию» возглавили лично Журе и Димамбро. Общее число жертв – 53 человека. Пророк обещал им, что после «огненного крещения» они возродятся к новой жизни на планете Сириус.

А за 39 членами секты «Врата Небесные» прилетел космический корабль, на котором они покинули Землю 25 марта 1997 года.

Прибытия инопланетных спасателей «избранные» ожидали давно, и когда некоторые средства массовой информации сообщили, что в шлейфе приближающейся кометы Хейл-Болпа различим некий летающий объект, секта засобиравалась в дорогу. Ведь Маршалл Эпплауит предупреждал, что рано или поздно желанный час настанет.

Этот человек, сын пресвитерианского священника, с ранних лет связал свою жизнь с религией: закончил семинарию, руководил церковным хором, преподавал музыку в католическом колледже. Преподавательская карьера Эпплуайта оборвалась из-за его гомосексуальных пристрастий, которые в Америке конца 60-х еще считались предосудительными — во всяком случае для педагога.

Избавиться от плотских соблазнов Эпплуайту помогли чудесные голоса, курс лечения в психиатрической клинике и встреча с Бонни Неттлз, медсестрой, которая верила в то, что все зло коренится в сексе. Подвергнувшись кастрации, Эпплуайт окончательно избавился от похоти и вместе со своей духовной супругой основал новую религию, члены которой не делали различия между полами: одинаково одевались, одинаково стриглись, отвергали половую жизнь — одним словом, стремились быть похожими на платоновых андрогинов. Некоторым мужчинам для достижения духовной безмятежности пришлось последовать примеру «пророка» и согласиться на кастрацию. Плотский брак и зачатие считались препятствием к воскресению, ибо в Евангелии от Луки сказано: *«Чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и Воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят».*

Эпплуайт проповедовал, что душа может быть отделена от тела, перенесена в космос и затем воплощена вновь. Сам «пророк» рассказывал, что уже побывал на Земле 2000 лет назад — под именем Иисуса — и теперь вернулся, чтобы спасти немногих достойных. Власть на планете захватили злые инопланетяне-люциферианцы, поэтому миру предстоит подвергнуться кардинальной чистке. Теология секты основывалась все на том же «Откровении Иоанна Богослова», где говорится о двух свидетелях, которые пролежат мертвыми три с половиной дня, а потом воскреснут: *«И услышали они с небес громкий голос, говоривший им: взойдите сюда».*

Как и все прочие проповедники этого склада, Эпплуайт проявил недюжинные деловые способности и создал в высшей степени ус-

пешное коммерческое предприятие, главным образом занимавшееся компьютерным дизайном — имущественный и образовательный уровень паствы «Врат Небесных» был очень высок. Коммуна купила ранчо в Калифорнии и дожидалась там Знака, распространяя свое учение через Интернет.

Как водится, коллективному самоубийству предшествовало параноидальное ожидание гонений — в данном случае лишенное каких бы то ни было оснований, потому что агрессивностью последователи Эпплуайта не отличались и никаких законов не нарушали. Вполне достаточно оказалось насмешек и безразличия, с которыми встретили проповедников из «Врат Небесных» студенты, когда новые андрогины предприняли попытку «пойти в народ». На интернетовском сайте секты появилось сообщение: *«Это сигнал, что нам пора готовиться к возвращению домой. Сад зарос сорняками, он больше не плодоносит. Пора его перелопатить, пора сдать цивилизацию в утиль на переработку».*

Тут-то некоторые астрономы и углядели в хвосте кометы необычный объект, по очертаниям похожий на космический корабль. Это, конечно, был Знак.

Сектанты обрядились в пурпурные хламиды, выпили водки с фенотербиталом и уснули вечным сном.

Вряд ли эта глава — последняя в саге о коллективном «суицидном спасении».

Продолжение следует.

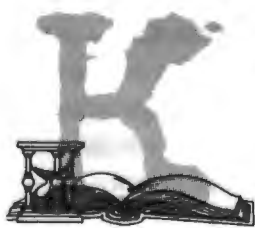
Раздел III

Философия

— Старые философские места, одни и те же с начала веков, — с каким-то брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин.

— Одни и те же! Одни и те же с начала веков, и никаких других никогда! — подхватил Кириллов с сверкающим взглядом...

Ф.М.Достоевский. «Бесы»



ажется, Новалис был первым, кто сказал, что самоубийство — деяние чисто философское. Это безусловно так. Даже в тех случаях, когда самоубийца неграмотен и слыхом не слыхивал о философии, он все равно принял важное философское решение: признал, что его жизнь (а стало быть, и жизнь вообще, потому что все остальные жизни он может постигать лишь через собственное существование) плоха, лишена смысла, и лучше ее прекратить.

В свое время нас учили, что главный вопрос философии — об отношении материи и сознания. Вопрос сформулирован неверно. То есть не то чтобы совсем неверно

— скучно. Разве нам, живущим на свете, денно и ночью не дает покоя забота о том, что первично — дух или вещный мир? Нет, мы хотим быть счастливы, и многим из нас для этого необходимо знать, зачем мы родились, что мы здесь делаем, деваемся ли куда-нибудь после смерти и есть ли в нашем существовании хоть какой-то смысл?

Самое время привести цитату, без которой, кажется, не обходится ни одна книга о сунциде:

«Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема — проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, — значит ответить на фундаментальный вопрос философии». (Альбер Камю)

Самоубийца решает этот вопрос отрицательно: жизнь — пустая трата времени. Самоубийце неинтересно, чем закончится этот спектакль, он уходит, не дождавшись финала.

Предложим
иную редакцию
главного вопроса
философии: кем

Помни главное: дверь открыта.
Эпиктет

является человек по отношению к собственной жизни — владельцем или сторожем? Если я — хозяин, то имею право поступать со своим имуществом, как мне заблагорассудится, пусть даже себе во вред. Если же я, как утверждает религия, — нечто вроде арендатора, то я, конечно, могу разворовать или уничтожить доверенное мне сокровище, но в этом случае я злодей и разбойник. Настоящий хозяин жизни с меня спросит. Дискуссия между идеалистами и материалистами, между сторонниками и противниками самоубийства в значительной степени представляет собой то, что на современном юридическом

языке называется *имущественным конфликтом из-за права собственности*.

В систематических каталогах российских библиотек суицидологическую литературу совершенно справедливо относят к общей философской категории «Смысл жизни». Однако

«То, что называется смыслом жизни, есть одновременно и великолепный смысл смерти». (Альбер Камю)

Философия — дисциплина, которую смерть и то, что будет (или чего не будет) после смерти, занимает ничуть не меньше, чем жизнь.

«Те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним — умиранием и смертью». (Платон)

Там же, в платоновском «Федоне», сказано, что философия — упражнение в смерти, а философствовать — значит готовиться к смерти, *облегчать себе смерть*. Не оттого ли из всех жанров литературы философия дала наименьшее количество самоубийц, в чем легко убедиться, пролистав «Энциклопедию литературицида»? Философ все время помнит о смерти, *работает с нею*, видит ее перед собой. Он подобен верхолазу, который приучил себя не бояться высоты, и от взгляда вниз у него не кружится голова, как у обычного человека. Хотя профессия, конечно, опасная, и если утратить бдительность, то можно и сорваться. Это — стезя философа-дилетанта Кириллова, самоубийцы «с рассудка».

Спор философов о самоубийстве продолжается по меньшей мере два с половиной тысячелетия, со времен античности. Однако корректной (то есть оперирующей одной и той же системой аргументации) дискуссия эта была недолго: сначала в дебаты о целесообразности этого деяния про-

ник этический фактор, с трудом поддающийся логическому анализу, а затем в спор вмешалась религия, и с тех пор сторонники и противники суицида заговорили на разных языках.

Философская дискуссия в

*Меж отрицателями
жизненного смысла
есть люди серьезные, это
те, кто свое отрицание
завершают делом —
самоубийством...*

В.Соловьев

чистом виде осталась достоянием дохристианского периода, а после второго дыхания, которое она обрела в XVIII веке, даже завзятые рационалисты из числа спорящих уже не могли оставить в стороне религиозно-этический аспект проблемы.

На заре же философии, когда человек упивался разумом, как новой увлекательной игрушкой, когда высшим достижением мысли считался софизм, а тираны прислушивались к совету парадоксалистов, в хитроумных ристалищах о самоубийстве Бог мог и не участвовать. Дискуссия велась по двум направлениям. Волен ли человек обрывать свою жизнь, когда ему заблагорассудится, или должен при этом учитывать интересы общества, частью которого является? И еще — уже в стане апологетов неограниченной свободы выбора — когда правильное убивать себя: когда тебе плохо или когда тебе хорошо?

Первый взгляд, пропагандируемый стоиками и эпикурейцами, рационален: следует жить в гармонии с природой и миром; если эта гармония почему-либо невозстановимо нарушена, правильное умереть. Эпикур вовсе не призывал своих учеников к смерти — наоборот, он советовал им жить полной жизнью, но лишь до тех пор, пока существование доставляет радость; залог счастливого бытия — готовность расстаться с ним по первому зову обстоятельств.

Второй взгляд при кажущейся парадоксальности еще более рационален и основывается на принципе, много позже сформулированном Гёте: остановить мгновение, когда (и пока) оно прекрасно. Зачем уходить из жизни, когда она от тебя отвернулась, зачем уносить с собой горечь и разочарование? Не благороднее и красивее ли прекратить свое существование в его наивысшей точке, тем самым зафиксировав счастье в вечности? Когда в романах влюбленные выражают немедленную готовность умереть от переполняющего их блаженства, это не пустая метафора, а отголосок идеи, все-рьез рассматривавшейся две тысячи лет назад.

«Самоубийство надо совершать, когда счастлив». (Валерий Максим)

«Хорошо уходить из жизни, когда у тебя все есть, когда ты счастлив материально и духовно и ни в чем не нуждаешься».

(Плутарх)

А вот та же мысль, произнесенная совсем недавно:

«Самоубийство дозволено лишь тем, кто абсолютно счастлив». (Поль Валери)

Впрочем, при всей блаженно-нарциссической красоте этой идеи ее вряд ли часто осуществляли на практике.

После Платона подобный эгоизм был обречен на маргинальное существование, главной же ареной дискуссии стала сфера морали. Голос разума был сначала потеснен голосом чувства, а позднее, во времена всевластия религии, и вовсе заглушен. Спор радио с верой, и в самом деле, методологически некорректен. Ну что это за полемика глухого со слепым? Один твердит: из первого вытекает второе, из второго третье, а из третьего со всей неоспоримой очевидностью четвертое. Оппонент в ответ: ничего не желаю слышать, верую ибо абсурдно.

И тем не менее спор этот вполне нормален, ибо отражает дуалистичность человека, который и сам некорректен, так как соединяет в себе много, казалось бы, совершенно несоединимого.

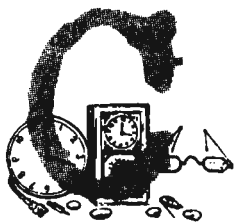
В этой многовековой дискуссии нет правого и нет неправого. Вернее, каждый из прислушивавшихся к ней мог выбрать правоту по себе.

Рассмотрим же аргументы обеих сторон. Попутно попробую с ними полемизировать — с сугубо личных позиций, безо всякой претензии на объективность (мои сомнения и комментарии будут помещены в квадратные скобки).

PRO

Стоики учат, что не должно сетовать на жизнь; дверь тюрьмы открыта... Я принял решение. С этого момента я почувствовал себя неуязвимым.

Хорхе Луис Борхес. «25 августа 1983 года»



амые решительные из защитников самоубийства утверждают, что оно, точнее сама его идея, является необходимым условием человеческого существования.

«Без способности к самоубийству человечество потеряло бы какое-то равновесие, перестало бы быть возможным (разрядка моя. — Г.Ч.)... Это безумие, необходимое для цельности разума». (Морис Бланио)

И еще у Бланшо о том же:

«Мы не убиваем себя, но можем себя убить. Это чудодейственное средство. Не будь под рукой этого кислородного баллона, мы бы задохнулись, не могли бы жить. Когда смерть рядом, безотказно послушная, то становится возможной жизнь, ибо именно смерть дает нам воздух, простор, радостную легкость движения — она и есть возможность».

Итак, кислородный баллон. Или другое, еще более эффективное сравнение: цианистый калий в зубе у разведчика (разве не похож человек на шпиона, оказавшегося во враждебной и опасной или, во всяком случае, чужой и непредсказуемой среде?). Если жизнь вдруг превратилась в гестаповский застенок, яд становится спасением от невыносимых мук и предательства — хотя бы по отношению к самому себе.

Плиний Старший называл суицид лучшим даром Бога человеку — даром тем более щедрым, что сам Всевышний такой возможности лишен: Он даже при всем желании не мог бы «причинить себе смерть», потому что вечен. Таким образом, дар Бога — не только жизнь, но и возможность добровольной смерти. Стоит ли от этого дара отказываться?

«Линия защиты» на судебном процессе над суицидом выстраивалась тысячелетиями. Первым и, пожалуй, самым именитым адвокатом самоубийства был строгий рационалист Сократ. Взгляды философа известны нам главным образом из пересказа Платона, который к самоубийству относился резко отрицательно, но тем не менее звучат эти доводы убедительно, и их весомость еще бо-

лее подчеркивается тем, что произнесены они перед чашей с цикутой. То, что смерть Сократа была не казнью, а именно добровольным уходом из жизни, доказывает сам философ, сказавший, что ему ничего не стоило опровергнуть вздорные обвинения судей, но он не пожелал этого делать. Его прощальные слова, обращенные к суду, свидетель-

Бесспорно, есть люди, которым лучше умереть, чем жить, и, размышляя о них — о тех, кому лучше умереть, — ты будешь озадачен, почему считается нечестивым, если такие люди сами окажут себе благодеяние, почему они обязаны ждать, пока их благодетельствует кто-то другой.

Сократ

ствуют, что смерть он приветствует как благо: «Но уже пора идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это никому не ведомо, кроме бога».

Впрочем, как мы увидим в следующей главе, Платон вкладывает в уста Сократа слова, сводящие на нет правомочность этого довода.

Первая разработанная аргументация, целая этическая система, оправдывающая самоубийство, была создана стоической школой. Разумность и нравственность — непрерывные условия жизни достойного человека. Если в силу каких-либо причин жить разумно и нравственно сделалось невозможно, следует умереть. Благо — не продолжительность жизни, а ее качество. Страха нет, ибо человеку нечего бояться — он хозяин своей судьбы. Соблазнительная формула стоицизма: достойная жизнь и достойная смерть. И неминуемый вывод: достойно жить трудно, достойно умереть легко.

[Вроде бы всем хорош стоицизм, только, с точки зрения современного человека, слишком уж легко готов расстаться с жизнью. Хочется думать, что со времен Стои она все-таки поднялась в цене.]

Смерть Клеанфа, ученика и преемника основателя стоицизма Зенона, оставляет чувство некоторого морального дискомфорта. Когда философ заболел, врачи посоветовали ему воздержаться от приема пищи. Клеанф двое суток ничего не ел, и ему стало лучше — опасность миновала. «Он же, — пишет Плутарх, — изведав уже некую сладость, порождаемую угасанием сил, принял решение не возвращаться вспять и переступил тот порог, к которому успел уже так близко придвинуться». [Что-то здесь все-таки не так. Возможно, стоицизм — отличная философия смерти, но вряд ли стоит преподавать ее в школах в качестве философии жизни. Ничего с собой не поделаешь — не лежит душа восхититься и истинно стоическим умиранием Сенеки, которое, как нам кажется, слишком уж похоже на назидательное действо.]

Пришли от императора, сказали, что пора. Старый писатель велел слугам вскрыть ему вены на руках и ногах. Вены были сужены, кровь вытекала плохо. Тогда Сенека принял яд и лег в горячую ванну. Пока умирал, беседовал с друзьями и диктовал секретарям последние мысли. Величественная сцена, но не без кары за чрезмерную величественность: записи последних мыслей Сенеки не сохранились...

Воззрения на суицид эпикурейцев сходны со стоическими, хотя две эти философские школы несколько веков оппонировали друг другу по целому ряду основополагающих вопросов — главное различие именно в том, что эпи-

куреизм-то как раз в первую очередь учит правильно жить. И, что существенно, жить счастливо. Учение Эпикура в его этической части как нельзя лучше соответствует мировоззрению современного оксидентального человека. Эпикуровская формула бытия обаятельна (жить благородно и весело), желания оспаривать ее не возникает. Прославленное бойкотирование смерти («Смерть нас не касается: когда мы есть — нет ее, а когда она приходит, то исчезаем мы»), пожалуй, звучит несколько легкомысленно, но к основным постулатам этики Эпикура трудно не прислушаться.

*Боги (Бог), возможно (и даже почти наверняка), есть, но им (Ему) не до человека, а стало быть, и человеку не должно быть до них (Него) дела. Надеемся не на Него, а на себя.

*Жить надо в мире с собой, по возможности абстрагируясь от внешних условий.

*Правильная жизненная установка — безмятежность духа и свобода от страха перед миром и смертью.

Замечательно сказано:

«Не сдавайся ни судьбе, ни чему-либо другому. Но когда явится необходимость расстаться с жизнью, то смело отрешись от нее и от всех, кто по пустоте скован ею; мы выйдем из жизни с прекрасными словами на устах и возгласим: «Хорошо мы прожили!» (Эпикур)

После поздних стоиков (Эпиктета и Марка Аврелия) и поздних эпикурейцев (Лукреция и Горация) слово защите не предоставлялось в течение полутора тысячелетий — вплоть до конца XVI века, когда мэром города Бордо Мишель Эйкем де Монтень опубликовал свои «Опыты»,

Лучше всего
добровольная смерть.
Жизнь зависит
от воли других,
смерть же зависит
только от нас.
Монтень

впоследствии включенные в ватиканский «Index Librorum Prohibitorum»¹, что и неудивительно — достаточно было бы уже одной только главы «Обычай острова Кеос», посвященной проклятому «иудиному греху».

Монтень — один из первых свободных умов зарождающейся гуманистической эпохи и уже поэтому не может осуждать тех, кто осуществил свое право на свободу выбора в главном из вопросов бытия: жить или не жить. Автор «Опытов» порицает лишь тех, кто наложил на себя руки из малодушия, но самоубийство из благородных мотивов вызывает у него уважение. Особенно восхищается он самоотверженностью женщин античности, в качестве примера приводя ряд историй о самоубийствах, почерпнутых из «Писем» Плиния Младшего.

Однако у Монтеня теме суицида отведено совсем немного места — для рассудительного и вместе с тем оптимистичного рационалиста эта тема, видимо, представляла скорее отвлеченный интерес, и свободу окончательного выбора он отстаивал не из личной заинтересованности, а из принципа и любви к справедливости. Первый же трактат, целиком посвященный апологии самоубийства, появился несколькими десятилетиями позднее.

«Биатанатос» Джона Донна — произведение во многих отношениях примечательное. В придаточных предложениях длинного, витиеватого, уклончивого наименования

¹ «Список запрещенных книг» (лат.)

этого труда легко увязнуть: «БИАТАНАТОС. ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРАДОКСА ИЛИ ТЕЗИСА, ГЛАСЯЩЕГО, ЧТО САМОУБИЙСТВО — НЕ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ ГРЕХ, ЧТОБЫ ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ ИМЕННО ТАК И НЕ ИНАЧЕ, С ПОДРОБНЫМ РАССМОТРЕНИЕМ СУТИ И СОДЕРЖАНИЯ ВСЕХ ЗАКОНОВ, ЯКОБЫ НАРУШАЕМЫХ СИМ ДЕЯНИЕМ».

На титульном листе оригинального издания 1648 года издателем для пущей осторожности приписано: «Сочинение Джона Донна, впоследствии рукоположенного в священники английской церкви и скончавшегося в должности диакона лондонского Собора Святого Павла». Книга была написана Донном еще в молодости, после попытки самоубийства, и не рассчитана на публикацию при жизни автора. Даже умирая, господин настоятель запретил сыну предавать рукопись гласности — но также и огню. И вот, еще полтора десятилетия спустя, трактат увидел свет.

Цель в предисловии заявлена вполне благая: обличить зло самоубийства, однако автор обличает сей грех довольно странно. Да, пишет он, самоубийство — одна из форм убийства и потому заслуживает осуждения. С другой стороны, не каждый, совершивший убийство, по закону подлежит каре. Точно так же не каждый самоубийца несет на себе печать смертного греха. В длинном перечне прославленных самоубийц прежних веков Донн находит оправдание для каждого из них: «Бедный Теренций утопился, ибо утратил свои 108 комедий... Поэт Лабиев сжег себя, ибо по эдикту сожжены были его сатиры... А Зенон, с коим немногие сравнятся, споткнулся, поранил палец и воспринял сие как зов с небес и

повесился...» Донн пишет, изображая наивное недоумение: «Когда я заглядываю в мартиролог всех тех, кто погиб от своей руки во имя религии, родины, славы, любви, избавления от страданий, страха, стыда, мне стыдно видеть, сколь мало приверженцев добродетели по сравнению с сими бесстрашными». Тем самым автор подводит читателя к главной своей мысли, которую в XVII веке можно было изложить лишь после долгой аргументации: «Наш благословенный Спаситель избрал сей путь ради нашего избавления и пожертвовал своей жизнью, и пролил свою кровь». Прав Борхес, когда пишет: «Заявленная цель «Биатанатоса» — обличение самоубийства; главная — доказать, что Христос покончил с собой». Вот он, наивысший аргумент, делающий все прочие доводы излишними: самоубийство — «не до такой степени грех», если на него пошел Сын Божий.

[По сравнению с мощью умозаключений философов древности Монтень и Донн, конечно, проигрывают. Их логические построения не столько убеждают, сколько трогают своей искренностью. Внушает симпатию и мужество, которого в ту не склонную к толерантности эпоху требовали от сочинителя подобные откровения. Но не более, не более.]

Прошло без малого еще полтора века, прежде чем апология суицида была изложена сухо, деловито и наукообразно, по пунктам. Эту миссию взял на себя еще один англичанин, Дэвид Юм, назвавший свой труд предельно просто, уже безо всяких придаточных — «О самоубийстве» (издано в 1777). Это эссе долгие годы существовало только в виде рукописи, вышло в свет на английском лишь после смерти автора, анонимным изданием, и тоже попало в список запрещенных книг —

дух сочинения был слишком вольнодумен даже для Века Просвещения.

«Постараемся же вернуть людям их врожденную свободу, равобрав все обычные аргументы против самоубийства и показав, что указанное деяние свободно от всякой греховности и не подлежит какому-либо порицанию в соответствии с мнениями всех древних философов». (Дэвид Юм)

Сформулировав подобным образом стоящую перед ним задачу, Юм последовательно разбирает три главных обвинения в адрес суицида, в свое время выдвинутых Фомой Аквинским и доселе никем не опровергавшихся: преступление против Бога; преступление против ближних; преступление против человеческой природы. Второй и третий пункты обвинения в XVIII столетии, как и в нынешнем, опровергались без труда, поскольку они относятся к компетенции земного разума.

По поводу вреда, который самоубийца может нанести своим деянием обществу, Юм говорит, что отношения индивида с социумом строятся на основе взаимности. «Я не обязан делать незначительное добро обществу за счет большого вреда для самого себя; почему же в таком случае следует мне продолжать жалкое существование из-за какой-то пустячной выгоды, которую общество могло бы, пожалуй, получить от меня?» Не говоря уж о том, что люди старые и больные являются для общества явной обузой. [Правда, возражу я Юму, «ближние» — это не только и не столько некое безличное «общество», до которого, по правде говоря, большинству из нас мало дела, а прежде всего близкие люди, по отношению к которым самоубийство безусловно является преступлением. С дру-

гой стороны, многие из решающихся на суицид безысходно одиноки...]

От довода о греховности самоубийства по отношению к самому себе Юм просто отмахивается: есть вещи похуже быстрой смерти — дряхлость, неизлечимая болезнь, тяжкие невзгоды. [Что ж, с этим, кажется, не поспоришь.]

Главное место в эссе, как и следовало ожидать, занимает полемика с первым и в принципе неоспоримым (поскольку не человеческого ума дело) тезисом о преступлении перед Господом. Для атеиста этот аргумент, разумеется, — полнейший вздор, не заслуживающий обсуждения, однако большинство наших современников — люди верующие либо агностики (каковым был и сам Юм). Автор книги «Писатель и самоубийство» принадлежит к числу последних и потому склонен отнестись к доводам мудрого англичанина с чрезвычайным вниманием.

Юм начинает с неприятного, но по нынешним понятиям безупречного в смысле политической корректности заявления о том, что для Вселенной (а стало быть, и для Бога) жизнь человека ничуть не важнее жизни какой-нибудь устрицы.

Следующий тезис: если все, что совершается на свете, происходит по воле Божьей, то «когда я бросаюсь на собственный меч, я так же получаю смерть от руки Божества, как и тогда, когда причиной ее были бы лев, пропасть или лихорадка».

Религиозные философы утверждают, что человек подобен часовому, который не смеет покидать свой пост без приказа свыше. Но никто и не покидает своего поста без согласия провидения. «А если так, то и моя смерть, пусть и произвольная, произойдет не без его согласия; а поскольку муки или скорбь настолько превысили мое терпение,

что жизнь стала мне в тягость, то я могу заключить, что меня самым ясным и настоятельным образом отзывают со своего поста».

[Нет, эти резоны нас, сегодняшних, не удовлетворяют — слишком уж они отдают казуистикой. Все предопределено провидением, от нас ничего не зависит? А свобода выбора, а ответственность, подразумеваемая этой свободой? Ведь не провидение же решает, пора или не пора электрику Петрову совать голову в петлю?]

Из всех теологических построений Юма искренностью (а значит, и весомостью), пожалуй, обладает только одно:

«...Я благодарю провидение как за те блага, которые уже вкусил, так и за предоставленную мне власть избежать грозящих мне вол».

Важный вклад в реабилитацию суицида — не моральную, а чисто юридическую — внес Шопенгауэр, который осуждал самоубийство с этической точки зрения (логические обоснования этого философа мы рассмотрим в следующей главе), однако столь же решительно выступал против уголовного преследования самоубийц: «...Пора поставить вопрос: по какому праву, без указания какого-либо библейского авторитета и сколько-нибудь самостоятельного философского аргумента, клеймят названием преступления поступок, который совершили многие уважаемые и любимые нами люди, и лишают честного погребения тех, кто добровольно уходит из мира». Именно Шопенгауэру принадлежит основополагающий принцип трактовки человеческой личности — принцип, сам по себе являющийся сильнейшим аргументом в пользу неограниченной свободы поступка:

«Каждый ни на что в мире не имеет столь неоспоримого права, как на собственную особу и жизнь».

Страстная и сумбурная защита суицида, принадлежащая Фридриху Ницше, — пример того, что от избытка свободы, как и от избытка кислорода, может закружиться голова (уничижительный комментарий Вл. Соловьева: «Как известно, этот несчастный писатель, пройдя через манию величия, впал в полное слабоумие»). Собственно говоря, гениального базельского профессора вообще зря причисляют к философам — он, конечно же, никакой не философ, а поэт и даже беллетрист, только из тех мастеров художественной прозы, кто не нуждается в вымышленном сюжете — самая увлекательная фабула раскручивается в их собственном мозгу, так что и выдумывать ничего не надо. Ницше с одинаковым жаром излагает суждения о том, в чем он гениален (таковы, например, его мысли о художнике и искусстве), и о том, в чем он мало что смыслит (например, его обобщения о женщинах), но в вопросе о человеческой гордости ему поистине нет равных.

«Свою смерть хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне, потому что я хочу». (Ф.Ницше)

И та же мысль в виде поэтизированной метафоры:

«...Или я погасну, как свеча, которую задувает не ветер, но которая сама устает от себя и пресыхает собою, — выгоревшая свеча? Или, наконец: задуваю ли я сам себя, чтобы не выгореть?» (Ф.Ницше)

Этот человек, гордому разуму которого суждено было угаснуть еще при жизни, буквально влюблен в идею самоубийства. Если б не психическая болезнь, он, больше

всего боявшийся *опоздать уйти*, наверняка убил бы себя — но Бог (судьба, провидение, слепой случай, логика развития) рассудил иначе. Идея добровольного ухода настолько величественна, считал Ницше, что самоубийцы, лишаящие себя жизни из недостойных соображений, дискредитируют самоубийство. Это либо «ужасные, что носят в себе хищного зверя», либо «чахоточные душой». (Интересно, что той же точки зрения придерживается бесконечно далекий от Ницше Н.Бердяев, писавший: «Самоубийство может быть от совершенного бессилия и от избытка сил».) У Ницше был несомненный избыток мыслительной энергии, его блестящие парадоксы и яркие образы ослепляют и завораживают, но ненадолго — для агностика они слишком темпераментны и недостаточно основательны. Сухой остаток скуден:

«Мысль о самоубийстве — сильное утешительное средство: с ней благополучно переживаютя иные мрачные ночи».

В постницшеанский период пафос апологетов самоубийства поблек, лишенный оттенка новизны и революционности: во-первых, все основное уже было сказано, а во-вторых, тема утратила публицистичность — исчезла потребность доказывать, что суицид «не до такой степени грех, чтобы относиться к нему именно так, а не иначе». Поэтому попробую суммировать те доводы в пользу самоубийства, которые кажутся мне наиболее основательными. Еще раз оговорюсь, что вся эта аргументация имеет смысл лишь при допущении существования Бога — в традиционно христианском смысле.

Ключевое слово здесь «достоинство», без которого, надо полагать, большинству из нас жизнь была бы не мила. Привлекательность права на свободную смерть прежде

всего заключается в том, что она позволяет человеку, достойно прожившему жизнь, так же достойно из нее уйти. Разве не заманчиво — уходить осмысленно и добровольно, на своих условиях, выбрав смерть «свободную и сознательную, без случая и неожиданности» (Ницше)? Такое самоубийство — попытка вести с Создателем разговор на равных: мол, Ты дал мне жизнь, над этим решением я был не властен, но позволь уж мне хотя бы решить, как и когда я уйду. Ты пригласил меня в Свой мир. Спасибо. Но я не хочу уподобляться гостю, которому указывают на дверь, потому что он засиделся или скверно себя вел. Я уйду сам. Спасибо за все хорошее и плохое, до свидания.

Что кощунственного в такой позиции? Чем оскорбительна она для Творца? Разве не Он Сам наделил человека спасительным чувством собственного достоинства, без которого жизнь людских особей была бы сплошным свинством (она и есть свинство там, где ЧСД не в чести)? Так зачем же гневаться на то, что человек доводит ЧСД, главный итог многотысячелетней эволюции, до своего логического завершения? Не жалок ли человек, которого удерживает в жизни одно лишь суеверие? «...Хотя только смерть в силах навсегда положить конец его злополучию, он [суеверный человек] не решается прибегнуть к данному пристанищу, но продолжает свое жалкое существование из-за пустого страха перед тем, как бы не оскорбить своего творца, воспользовавшись властью, которую это благодетельное существо даровало ему» (Д.Юм).

А ведь в этой жизни человеку очень нелегко сохранить уважение к себе и жить достойно. Мир изобилует испытаниями, которые без конца тычут тебя носом в на-

возную кучу, напоминая гордецу: ты — ничтожество, ты — жалкий аппарат из органики, ты беспомощен, ты достоин презрения, смотри как ты боишься боли и унижения, боишься лишиться тех, кого любишь, смотри, как легко тебя сломать, смотри, как ты незащищен от малейшей прихоти судьбы.

Есть эпохи и страны, в которых сохранить ЧСД — настоящий подвиг. Но если человеку это все-таки удалось, почему нужно лишать его права достойно завершить свой трудный путь, не превратившись напоследок в некое непохожее на себя существо, оскотинившееся от невыносимой боли или впавшее в старческое слабоумие?

Это вовсе не бунтарство против Бога. Это попытка превратить монолог своего сознания в диалог с Ним — ни в коем случае не в перебранку, в беседу.

«Возблагодарим же Бога за то, что никого нельзя заставить жить». (Сенека)

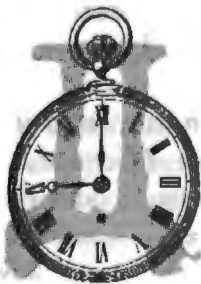
Итак, все доводы рассудка вроде бы на стороне свободного выбора между жизнью и смертью — даже для человека верующего, но верующего не слепо, а разумом.

Или не все?

CONTRA

Известно ли вам, что вечная слава ожидает тех, кто, получив от Бога в долг свою жизнь, отдал ее обратно в соответствии с законами природы и тем самым сделал Богу приятное?.. Душам же тех, чьи руки безумно учинили над собой насилие, уготованы самые темные закоулки Аида.

Иосиф Флавий



оводы, доказывающие недопустимость добровольного ухода из жизни, делятся на две категории: чисто или по преимуществу рациональные (то есть адресованные логике) и чисто или по преимуществу религиозные (то есть адресованные чувству). Первые соперничают с апологией самоубийства на равных, оперируя тем же инструментарием и, в общем, придерживаясь тех же методов дискуссии. Вторые склонны игнорировать возражения противной стороны и запутывать полемику недозванными приемами, в том числе запугиванием и бездоказательными утверждениями. Не скрою, что первая из этих методик мне симпатичнее.

Во времена античности она была единственно возможной или, во всяком случае, задавала тон. Позднейшие оппоненты суицида, в том числе и отцы церкви, строили свою систему доказательств, используя наследие Платона и Аристотеля. Платон поставил перед собой очень слож-

ную задачу: не отрекаясь от любви и почтения к своему учителю Сократу, показать, что самоубийство, совершенное этим идеальным человеком, — не выход и не способ. Для этого автору «Федона» пришлось вложить в уста своего героя слова, из которых следует, что поступок Сократа — не правило, а редкое исключение, которое может быть санкционировано лишь высшей силой (та самая аргументация, которую впоследствии повторит блаженный Августин). Обращаясь к своему ученику фиванцу Кебету, Сократ говорит:

«Сокровенное учение¹ гласит, что мы, люди, находимся как бы под стражей и что не следует ни избавляться от нее своими силами, ни бежать, — величественное, на мой взгляд, учение и очень глубокое. И вот еще что, Кебет, хорошо сказано, по-моему: о нас пекутся и заботятся боги, и потому мы, люди, — часть божественного достояния. Согласен ты с этим или нет?

— Согласен, — отвечал Кебет.

— Но если кто-нибудь из тебе принадлежащих убил себя, не спросившись предварительно, угодна ли его смерть тебе, ты бы, верно, разгневался и наказал бы его, будь это в твоей власти?

— Непременно! — воскликнул Кебет.

— А тогда, пожалуй, совсем не бессмысленно, чтобы человек не лишал себя жизни, пока бог каким-нибудь образом его к этому не принудит [курсив мой. — Г.Ч.], вроде как, например, сегодня — меня».

В «Законах» Платон излагает уже собственное суждение по этому вопросу — куда более категоричное:

¹ Сокровенное учение — «эзотерическая» часть учения пифагорейцев, доступная лишь достигшим высшей степени посвящения.

«А как покарать того, кто убивает, как говорится, лучшего друга из всех людей, — то есть самого себя? Я имею в виду самоубийцу, насильственно лишаящего себя назначенной ему доли жизни, да не по повелению закона и не под принуждением какого-либо злого и неизбежного несчастья, обрушившегося на него, не из-за невыносимого бремени стыда, а накладывающего на себя несправедливую кару исключительно от малодушия или праздности...?»

Чуть ниже следует и приговор:

«Те, кто встретил смерть подобным манером, да будут похоронены в одиночестве и пусть никого не будет рядом с ними; пусть хоронят их бесславно на пересечении двенадцати наделов земли, в месте безымянном и невозделанном, и пусть их могилу не отметит ни колонна, ни какая-либо надпись».

Отметим немаловажное обстоятельство: Платон осуждает не самоубийство вообще, а лишь тех, кто убил себя «от малодушия и праздности». [Что ж, с этим, наверное, можно согласиться. Хотя имеют ли право оставшиеся в живых решать, достойными или недостойными были мотивы самоубийцы? Да и насчет бесславных похорон как-то не очень.]

Если рациональность Платона все же апеллирует к религиозному сознанию и основана на аксиоме, утверждающей, что человек — раб божий и потому не имеет права произвольно уходить из жизни, то Аристотель больше подчеркивает антиобщественность этого деяния. Оно является актом безответственным и преступлением против государства, ибо загрязняет город и ослабляет общество, лишая его полезного гражданина. Самоубийство «заманивает людей двумя приманками — легкостью и честью»,

но на самом деле есть трусость и дезертирство, так как убивающий себя подобен солдату, который бросил свой пост.

[Нет, резоны Аристотеля вряд ли способны нас убедить — конечно, за исключением тех из нас, кому нравится воображать себя солдатом на посту.]

Вклад в дискуссию, внесенный отцами церкви, я намеренно опускаю — во-первых, об этом уже было сказано в разделе «Религия», а во-вторых, аргументы, изложенные с позиций физической силы, обычно мощью мысли не отличаются.

Пропустим два тысячелетия и перейдем сразу к Спинозе — первому мыслителю новой эпохи, который в критике суицида обошелся без огневой поддержки в виде геенны и вечного проклятья. Тезис голландского материалиста прост и мужествен: «Те, кто лишает себя жизни, имеют душу, пораженную бессилием; их натура потерпела полное поражение в борьбе с внешними обстоятельствами». Очевидно, Спиноза, как и Платон, имеет в виду самоубийство вследствие малодушия. [Однако вряд ли справедливо распространять этот приговор на всех самоубийц без исключения, ибо как тогда быть с неистовым библейским Разисом и его многочисленными историческими последователями? Кроме того, не вполне ясно, о какой борьбе толкует философ-пантеист (а пожалуй, что и атеист). О борьбе во имя чего? Во имя того, чтобы, преодолев все «внешние обстоятельства», дожить до 95 лет и умереть от перелома шейки бедра? Увы, без Бога и высшего смысла, кажется, не обойтись.]

Канту, опровергшему три томистских доказательства существования Бога, но провозгласившему «нравственный закон», находить резоны легче. Человеческая жизнь

священна, потому что она — часть природы. Самоубиение безнравственно, ибо самоубийца предает цель своего существования, совершает преступление против категорического императива и высшего долга, коим является всеобщий закон природы.

«... Тот, кто занят мыслью о самоубийстве, спросит себя, исходя из понятия необходимого долга по отношению к самому себе, совместим ли его поступок с идеей человечества как цели самой по себе. Если он, для того чтобы избежать тягостного состояния, разрушает самого себя, то он использует лицо только как средство для сохранения сносного состояния до конца жизни. Но человек не есть какая-нибудь вещь, стало быть, не есть то, что можно употреблять только как средство; он всегда и при всех своих поступках должен рассматриваться как цель сама по себе. Следовательно, я не могу распоряжаться человеком в моем лице, калечить его, губить или убивать».

[Интересно, сумела ли эта во всех отношениях похвальная идея остановить руку хоть одного человека, доведенного до крайней точки и решившегося на самоубийство? Позволю себе в этом усомниться.]

Позиция Шопенгауэра в вопросе о суициде двойственна, о чем уже упоминалось в предыдущей главе. С этической точки зрения самоубийство, по Шопенгауэру, заслуживает всяческого осуждения. Мир есть воля, которая выражается в стремлении к жизни. Человек наделен интеллектом и способен познать эту волю. Жертвующий собой во имя отказа от эгоизма отрицает волю добровольно — это путь аскета, единственный путь к спасению от зла. Но аскет избегает наслаждений жизни, а не страданий, как самоубийца. Самоубийца — человек слабый и безвольный (повторение тезиса Спинозы).

«Человек, прибегающий к самоубийству, доказывает только то, что он не понимает шуток, — что он, как плохой игрок, не умеет спокойно проигрывать и предпочитает, когда к нему придет дурная карта, бросить игру и в досаде встать из-за стола».

(Артур Шопенгауэр)

[Это остроумное замечание, как и всякая метафора, прихрамывает. Слабость шопенгауэровской критики суицида в том, что философ, вслед за Платоном и Спинозой, опять берет лишь «малодушное самоубийство» — делая оговорку исключительно для голодной смерти аскета. На это и мы спросим опять: а как же 2000 камикадзе во главе с капитаном Гастелло? Что это было — малодушие, праздность?]

Зато в защите самоубийства Шопенгауэр опирается на мощный кантовский критерий — нравственное чувство — и поэтому здесь получается более веско:

«На этот счет прежде всего предоставим решить внутреннему нравственному чувству, и впечатление, производимое на нас известием о том, что один из наших знакомых совершил преступление, т.е. убийство, жестокость, обман, кражу, — сравнимо с впечатлением об его добровольной смерти. Между тем как первое вызывает живое негодование и величайшее отвращение и взывает к возмездию и наказанию, последнее возбуждает грусть и сострадание, к которым чаще примешивается удивление его мужеством, чем нравственное порицание, сопровождающее дурной поступок...»

[Возникло сомнение: не зря ли Шопенгауэра причисляют к числу идейных противников суицида, и не ошибся ли я, поместив его суждения в главу «Contra»?]

В нашем столетии, разумеется, тоже были принципиальные противники самоубийства. Страстно и не слишком вразумительно обрушился на суицид в очерке «Люди и положения» Борис Пастернак, потрясенный и измученный настоящей эпидемией самоубийств, выкосившей современную ему литературу — от Есенина до Фадеева: «Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась».

Самый основательный из рациональных обвинителей суицида — Альбер Камю, который в «Мифе о Сизифе» пытается ответить на вопрос принца Датского. В изложении нобелевского лауреата этот вопрос звучит так:

«Добровольно умереть или же, несмотря ни на что, надеяться?»

[В формулировке дилеммы, правда, есть некое подталкивание к нужному ответу. «Надежда» — сильное слово. Оно воздействует на нас совершенно мистическим образом. Равно как и романтический оборот «несмотря ни на что». Да, мы всегда предпочтем «несмотря ни на что надеяться» — так уж мы устроены. Если бы Камю спросил о том же самом иными словами, например: «Охатъ и потеть под нудной жизнью или, ополчась на море смут, сразить их противоборством?» — мы, конечно же, предпочли бы не потеть, а сразить. Нас ведь, собственно, занимает не вопрос о надежде (всякий знает, что надеяться разумно и приятно) — нам нужно выяснить, *имеем ли мы право перестать*

быть, если этого захотим. Увы, на этот этический вопрос книга Камю ответа не дает.] Блестяще разбирая образ Кириллова, блестяще доказывая абсурдность бытия, автор «Мифа о Сизифе» вовсе не ставит себе задачи отговаривать читателя от самоубийства — просто объясняет, почему оно неприемлемо для Альбера Камю. Эссе запрограммировано на оптимистический финал в духе «В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней» — и на восхваление бессмысленного сизифова труда, каковым может казаться существование, лишенное Бога. Пусть жизнь абсурдна, утверждает философ, но надо прожить ее сполна, и тогда человек одержит победу над абсурдом. «Итак, я вывожу из абсурда три следствия, каковыми являются мой бунт, моя свобода и моя страсть. Одной лишь игрой сознания я превращаю в правило жизни то, что было приглашением к смерти, и отвергаю самоубийство».

[Что ж, можно только позавидовать тем, кто может отвергать суицид «одной лишь игрой сознания», вовсе не рассматривая нравственный аспект этого акта.] Вот высказывание еще одного счастливого человека:

«До сих пор у меня было двойственное отношение к самоубийству. В ранней юности я ни разу не испытал прямого соблазна покончить с собой, но когда на меня сваливались личные неудачи, когда я сталкивался с ситуациями, из которых почти невозможно было найти выход, вариант с самоубийством неизменно казался очень и очень подходящим — великолепный способ разом решить неразрешимую проблему. Я не испытывал абсолютно никакого страха перед таким шагом. Напротив, он рисовался мне чем-то вполне естественным. Наверное, в

молодости во мне было гораздо меньше жизнелюбия, чем теперь. Но где-то к середине пути мое отношение к самоубийству резко переменялось. Пожалуй, я стал жить полнее и лучше, и хоть проблем меньше не сделалось — нет, они умножились, — я научился так или иначе с ними справляться, во всяком случае мириться. А сейчас? Не скажу, чтобы мысль о самоубийстве была мне невыносимой, она просто ко мне не приходит. Оно не видится мне больше резервным вариантом, последним оружием...»

(Хулио Кортасар. Из интервью)

Но все же существует ли непреодолимая преграда на пути к суициду для тех, кто не столь безмятежен и пусть изредка, в мрачном или мemento mori настроении, но примеряет возможность добровольного ухода к себе?

Безусловно есть. Но, кажется, только одна: Вера. Та ее модификация, которая, видимо, единственно возможная для современного мыслящего человека — разумная вера. И здесь у защитников свободной смерти есть два сильных оппонента — Владимир Соловьев и Николай Бердяев.

Барбе Д'Оревильи писал Гюйсмансу, что у человека в принципе есть только один окончательный выбор — «пистолет или распятие», то есть нигилизм или христианство, самоубийство или самопожертвование. Чистое, незамутненное позднейшими принудительными мерами христианство по сути дела противопоставляло два типа добровольного ухода: смерть-победу (альтруистическую смерть Христа) и смерть-поражение (эгоистическую смерть Иуды).

На первой же странице обширного и программного труда «Оправдание добра. Нравственная философия» (1894—1897) Владимир Соловьев заявляет свою глав-

ную задачу («Назначение этой книги — показать добро как правду, то есть как единственно правый, верный себе путь жизни во всем и до конца — для всех, кто решится предпочесть его») и, предвосхищая Альбера Камю, немедленно переходит к главному пункту вопроса о смысле жизни — проблеме самоубийства: «Они [самоубийцы] предполагали, что жизнь имеет такой смысл, ради которого стоит жить, но убедившись в несостоятельности того, что они принимали за смысл жизни, и вместе с тем не соглашаясь (подобно пессимистам теоретикам) невольно и бессознательно подчиняться другому, неведомому им жизненному смыслу, — они лишают себя жизни». По Соловьеву, сущность всякого самоубийства сводится к убежденности, будто «в жизни совершается не то, что *по-моему* должно бы в ней совершаться, следовательно, жизнь не имеет смысла и жить не стоит». Есть два класса самоубийц:

«Тут мы имеем два типа страстных людей: у одних страсть чисто личная, эгоистическая (Ромео, Вертер), другие связывают свою личную страсть с тем или другим историческим интересом, который они однако отделяют от всемирного смысла, — об этом смысле всеобщей жизни, от которого зависит и смысл их собственного существования, они, так же как и те, не хотят ничего знать (Клеопатра, Катон Утический)».

Что такое «всемирный смысл» было объяснено в самом начале — стремиться к достижению абсолютного добра, которое и есть Бог. Фактически Соловьев согласен с Кирилловым: жизнь без Бога не имеет смысла.

[Но так ли это? Разве те, кто не верят в Бога, поголовно уверены, что «все позволено»? Как быть с тем, что Андрей Сахаров, один из самых нравственных людей XX

века, не был религиозен? Разве нельзя делать добро без веры в Страшный суд и Воскресение? Получается, что можно. Хотя это, конечно, много трудней — кроме как на самого себя опереться не на кого.]

«... Когда жизнь человека не согрета верой, когда он не чувствует близости и помощи Бога и зависимости своей жизни от благой силы, трудность становится непрерывной». (Вл. Соловьев)

Обвинения в адрес самоубийства, выдвинутые Соловьевым, получили дальнейшее развитие в «психологическом этюде» Н. Бердяева «О самоубийстве» (1931) — название (разумеется, не случайно) повторяет название апологетического эссе Д. Юма. Обратиться к теме суицида автора побудила волна самоубийств, прокатившаяся по русской эмиграции — и пошатнувшаяся вера тех, кто прибег или готов был прибегнуть к этому решению своих земных проблем. «Борьба против упадочности и склонности к самоубийству есть прежде всего борьба против психологии безнадежности и отчаяния, борьба за духовный смысл жизни, который не может зависеть от преходящих внешних явлений», — пишет Бердяев, и здесь он абсолютно прав. Но эмоциональный толчок, побудивший философа обратиться к теме суицида, приводит к излишней резкости, а иногда и явной необщительности высказываемых им суждений.

Подобно Аквинату он вменяет самоубийству в вину три главных преступления, но определяет их иначе: «Самоубийство по природе своей есть отрицание трех высших добродетелей — веры, надежды и любви». «Суицид — это акт насилия и над жизнью, и над смертью». Самоубийца считает себя единственным хозяином своей жиз-

ни и своей смерти, он не хочет знать Того, Кто создал жизнь и от Кого зависит смерть, — пишет Бердяев. — Вольное принятие смерти есть вместе с тем принятие креста жизни. Смерть и есть последний крест жизни». И еще смерть — это великая, глубокая тайна — не меньшая, чем рождение, а самоубийство оскверняет эту тайну. [Так оно, безусловно, и есть — мы все чувствуем высокую значительность смерти. Но при чем здесь осквернение? И надо ли всем живущим принимать на себя крест? Во что превратится человечество, сплошь состоящее из матерей Терез и Мохандасов Ганди? Село и в самом деле не стоит без праведника, но выстоит ли оно, если в нем будут жить только праведники? И в чем без нас, неправедных, будет состоять их праведность?]

«Убивая себя, человек наносит рану миру как целому, мешает осуществлению царства Божьего». (Н.Бердяев)

[Это действительно страшный аргумент, но почему мы должны в него верить? А съедая ту самую устрицу, о которой писал Юм, мы не наносим рану миру?]

Позыв к самоубийству, по Бердяеву, — проявление злой сатанинской силы, подчиняющей себе личность. «Самоубийца закупорен в своем «я», в одной темной точке своего «я», и вместе с тем он творит не свою волю, он не понимает сатанинской метафизики самоубийства». И совсем бескомпромиссно: «...Самоубийство не есть проявление силы человеческой личности, оно совершается нечеловеческой силой, которая за человека совершает это страшное и трудное дело. Самоубийца все-таки есть человек одержимый. Он одержим объявшей его тьмой и утерял свободу». [Или, наоборот, устал от несвободы, хочет избавиться от пут?]

«Преодолеть волю к самоубийству значит забыть о себе, преодолеть эгоцентризм, замкнутость в себе, подумать о других и другом, взглянуть на Божий мир, на звездное небо, на страдания других людей и на их радости. Победить волю к самоубийству значит перестать думать главным образом о себе и о своем». (Н.Бердяев)

[Хороший рецепт, но многие ли из нас способны его исполнить? И еще раз скажу: действительно ли идеален мир, в котором никто не думает о себе, а все только и делают, что думают о других и другом? Этот рай что-то уж больно отдает энтропией.]

Как уже было сказано выше, есть в «психологическом этюде» утверждения и вовсе несправедливые. Например, древнее обвинение в непременном эгоизме и трусости: «Самоубийца есть менее всего человек, способный к жертве своей жизнью, он слишком привязан к ней и погружен в ее мрак». Или угрожающее: «...Самоубийство есть отказ от бессмертия». [Это звучит странно после того, как автор сулил самоубийцам суд вечности и грядущую ответственность.] И уж совсем дико для большей половины человечества выглядит безапелляционное заявление: «Только христианское сознание раскрывает правду о самоубийстве и устанавливает правильное к нему отношение». [Вот чем смущает меня вера — даже милейшего русского интеллигента Бердяева она заставляет признавать лишь свое кредо, а все прочие безоговорочно отвергать.]

Но среди всех обличений против самоубийства и самоубийц есть у Бердяева одна фраза, которая, на мой взгляд, стоит всех божественных призывов — потому что

она произнесена не от имени Абсолюта, а от имени человека: «Покончил с собой человек, которого я очень уважал и любил и считал одним из лучших людей. Причиной его самоубийства была безнадежная болезнь. Я не сужу его. *Когда человек убивает себя, потому что его ждет пытка и он боится совершить предательство, то это в сущности не есть даже самоубийство* (курсив мой. — Г.Ч.)». [Ах вот как, Николай Александрович? Но ведь это решительно все меняет. Пытка и предательство — понятия субъективные. Для Цветаевой пыткой была жизнь в эвакуации, где оказались миллионы ее соотечественников, а для Галактиона Табидзе предательством — подпись под письмом в осуждение Пастернака, хотя для многих собратьев по цеху это была пустая формальность.]

И вот итог нашего раздела, посвященного философскому взгляду на самоубийство: ничего нового, никаких неожиданностей. Голос рассудка и голос чувства друг друга не слышат. Несмотря на все красноречие выдающихся и благородных приверженцев «разумной веры», их доводы способны воздействовать лишь на тех, кто ни в каких доказательствах не нуждается, ибо и так уже верует.

Этический запрет на суицид убедителен и действенен только в той системе координат, которая существует в мире религиозного (и притом главным образом христианского) сознания.

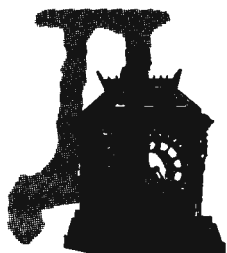
Грустно.

Приложение

Сомнения Достоевского
Необходимое объяснение

*...Не как мальчик же я верую во Христа и
Его исповедую, а через большое горнило сомне-
ний моя осанна прошла...*

Ф.М.Достоевский. «Дневник писателя»



Достоевский первым из русских мыслителей стал рассматривать самоубийство как одну из главных нравственных проблем человечества. Духовное, а еще более эмоциональное влияние этого писателя на все последующее развитие этической и религиозной философии огромно, и отношение Достоевского к столь важному вопросу не могло не повлиять на позицию тех, кто в дальнейшем высказывался на эту тему. Созданный писателем архетипический самоубийца Кириллов обрел всемирный статус «суицидента № 1», перемещаясь из одного философского сочинения в другое и превратившись в символ человека новой, рационалистической эпохи.

Но еще существеннее, на мой взгляд, другое. Отношение Достоевского к самоубийству и самоубийцам, пожалуй, точнее всего соответствует тому смешанному, трудно выразимому словами чувству, которое это трагическое, противоречащее христианскому мировоззрению явление вызывает у верующего (но не слепо, а зряче верующего) человека.

Самоубийство занимает писателя еще больше, чем первый смертный грех, убийство, и самоубийц на страницах произведений Дос-

товского больше, чем убийц. Во всех главных романах непременно кто-то себя убивает или пытается убить. На протяжении последних пятнадцати лет жизни, главного периода своего творчества, Достоевский вновь и вновь проигрывает однотипные суицидные ситуации, словно пытается и не может найти ответ на мучающий его вопрос.

Интерес Достоевского к случаям самоубийства, к предсмертным запискам суицидентов и общественной реакции на них хорошо известен. Л.Х.Симонова-Хохрякова вспоминает:

«Федор Михайлович был единственный человек, обративший внимание на факты самоубийства; он сгруппировал их и подвел итог, по обыкновению глубоко и серьезно взглянув на предмет, о котором говорил. Перед тем, как сказать об этом в «Дневнике», он следил долго за газетными известиями о подобных фактах, — а их, как нарочно, в 1876 г. явилось много, — и при каждом новом факте говаривал: «Опять новая жертва и опять судебная медицина решила, что это сумасшедший! Никак ведь они (т.е. медики) не могут догадаться, что человек способен решиться на самоубийство и в здравом рассудке от каких-нибудь неудач, просто с отчаяния, а в наше время и с прямолинейности взгляда на жизнь. Тут реализм причиной, а не сумасшествие».

Многие, кто намеревался покончить с собой или же просто интересовался темой самоубийства, писали Достоевскому, спрашивали его совета и мнения. Писатель неоднократно и весьма многословно высказывался по этому вопросу — напрямую, не прибегая к художественному вымыслу. На первый взгляд, если руководствоваться только публицистическими текстами, позиция Достоевского в отношении самоубийства выглядит очевидной и недвусмысленно осуждающей, вполне в духе ортодоксальных церковных воззрений. «Потеря высшего смысла жизни...несомненно ведет за собою самоубийство», — такова наиболее лаконичная формулировка этого взгляда, взятая из декабрьской книжки «Дневника писателя» за 1876 год.

Вот перечень статей «Дневника», которые затрагивают тему суицида.

В мае 1876 года появляется статья «Одна несоответственная идея», где затронута острая общественная проблема — эпидемия добровольных смертей, охватившая русское общество, прежде всего молодежь. Описывая самоубийство 25-летней акушерки Писаревой, произошедшее «от усталости и скуки», Достоевский скорбит по «милым, добрым, честным» молодым людям, которые утратили Бога и оттого убивают себя.

В октябре того же года в статье «Два самоубийства» писатель сравнивает два поразивших его трагических случая. Первым было самоубийство «дочери одного слишком известного русского эмигранта», покончившей с собой от нигилистической блазированности и оставившей циничное письмо, безмерно возмущившее Достоевского:

«Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое Воскресение из мертвых с бокалами Клико. А если удастся, то я прошу только, чтобы схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землей. Очень даже не шикарно выйдет!»¹

Этой смерти, внушившей писателю такое отвращение, противопоставлялось «кроткое» самоубийство молодой петербургской швеи [Марьи Борисовой], которая, не выдержав невыносимых условий жизни, выбросилась из окна с образом Богоматери в руках. Эта деталь поразила Достоевского более всего — пойти на худшее из христианских преступлений с иконой!

Развивая тему «нигилистического» самоубийства, Достоевский публикует здесь же письмо господина NN, «одного самоубийцы от

¹ На самом деле Лиза Герцен покончила с собой вовсе не из-за нигилизма и безбожного воспитания, как пишет неправильно информированный Достоевский, а по более «извинительному» поводу — из-за несчастной любви. Да и текст записки писателю передали неверно, про «шик» там ни слова. Однако это для нас несущественно — писатель мог бы взять из жизни другой сходный случай, благо «нигилистических» самоубийств в 70-е годы хватало.

скуки, разумеется матерьялиста», — длинное и малоинтересное хотя бы вследствие своей явной придуманности.

Самоубийству посвящена и почти вся декабрьская книжка «Дневника», в которой наряду с пространной и в общем-то излишней полемикой с неумным «г-ном Энпе» (который в московском журнале «Развлечения» неодобрительно отозвался о публикации «письма матерьялиста») содержится окончательное суждение публициста Достоевского по поводу суицида, как бы подводящее итог, выносящее приговор и ставящее точку в дискуссии:

«Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна и именно — идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают... В результате ясно, что самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенною и неизбежно даже необходимою для всякого человека, чуть-чуть повыше поднявшегося в своем развитии над скотами. Напротив, бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землею. Тут, казалось бы, даже противоречие: если жизни так много, то есть кроме земной и бессмертная, то для чего бы так дорожить земною-то жизнью? А выходит именно напротив, ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землею порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски) несомненно ведет за собою самоубийство. Отсюда обратно и нравоучение моей октябрьской статьи: «Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и само бессмертие души человеческой существует несомненно». Словом, идея о бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества».

Разумеется, сегодня, более века спустя, на это найдется что возразить. Многие безусловно хорошие люди прожили свою жизнь в тяжком и безбожном XX веке без «убеждения в бессмертии», прожили достойно и при этом не повесились. Стало быть, это убеждение для человеческого бытия не столь уж и необходимо? В «Сне смешного человека» Достоевский показывает, как будущий *самоубийца от безверия* спотыкается на противоречии между тем, что все дозволено, и ощущением собственной подлости, когда отказывается помочь маленькой девочке, попавшей в беду. Это вот ощущение сделанной подлости, по Достоевскому, и есть доказательство того, что не все позволено, что Бог есть, а значит, убивать себя нельзя. Но сколько хороших людей помогают бедным маленьким девочкам, вовсе не веря в бессмертие души, да и вообще ведут себя ничуть не хуже тех, кто верует?

Из публицистических выступлений Достоевского известно, что причины суицидного поветрия он усматривал в атеизме, нигилизме и моральном индифферентизме, распространившихся в пореформенной России одновременно с либерализацией всего уклада русской жизни. Однако Достоевский-писатель несравненно глубже, сильнее и убедительнее Достоевского-публициста. Безошибочный художественный инстинкт не дает ему ошибиться и взять неверную ноту. И в художественных текстах отношение Достоевского к самоубийству выглядит вовсе не так прямолинейно, как в полемических статьях «Дневника». Да и в самом «Дневнике» кроме публицистики есть художественные тексты (два «фантастических рассказа» — «Кроткая» и уже поминавшийся «Сон смешного человека»), поразительным образом опровергающие или, во всяком случае, ставящие под вопрос безапелляционность программных суждений автора о непозволительности самоубийства.

Трактовка самоубийства в художественных произведениях писателя выглядит довольно еретической, свидетельствуя о серьезных сомнениях Достоевского в верности некоторых основополагающих цер-

ковных догматов и даже о явном несогласии с ними. Не будет преувеличением сказать, что писатель создал собственное учение о самоубийстве, существенно отличающееся от традиционно-христианского. Основные тезисы этого учения видятся мне так:

Во-первых, по Достоевскому, самоубийства бывают простительными и непростительными.

Во-вторых, попытка самоубийства, а то и само самоубийство может быть путем к спасению.

В-третьих, даже «непростительные» самоубийцы заслуживают молитвы, а стало быть, для их душ остается надежда.

Многочисленные случаи самоубийства, встречающиеся в произведениях Достоевского, делятся на три категории, к каждой из которых писатель относится по-разному. Назову их условно «кротким самоубийством», «катарсическим самоубийством» и «логическим самоубийством».

Первое вызывает у Достоевского целую гамму чувств: скорбь, сочувствие, гнев против мучителей жертвы — но только не осуждение самоубийцы. Писатель всячески подчеркивает, что эти несчастные ни в чем не виноваты. По юридической терминологии речь здесь идет о доведении до самоубийства, так что преступление и грех лежат на палачах: Свидригайлове, вынудившем удавиться глухонемую девочку и «домашнего философа» лакея Филиппа; Ставрогине, толкнувшем в петлю 14-летнюю Матрешу; купце Скотобойникове, затравившем 8-летнего мальчика; мизантропе-ростовщике, измучившем Кроткую. Не случайно в романах вновь и вновь цитируются слова из Евангелия от Матфея: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской».

Достоевский подчеркивает, что самоубийство «смиранных» — это не бунт против Бога. Кроткая, как и ее прототип Марья Борисова, бросается из окна с образом в руках. Восьмилетний самоубийца из «Подростка», прежде чем утопиться, «посмотрел в небеса». Эти агн-

цы слишком беззащитны, чтобы противостоять своим мучителям. Весь их протест — это погрозы кулачком, как Матреша Ставрогину, или прижать кулачки к груди, как малолетний утопленник. Если они берутся за револьвер, как Кроткая, то нипочем не выстрелят, а лишь будут потом горше казнить себя.

Нет, «смирненные» самоубийцы ни в чем не упрекают Бога, но это делает за них автор, в высказываниях которого прорывается горестное недоумение, обращенное вовсе не к злым людям, а к Всевышнему. «И что может сия малая душка на том свете Господу Богу сказать!» — непонимающе вздыхает святой человек Макар Долгорукий, рассказывая о самоубийстве мальчика. Сам же Достоевский в «Дневнике» комментирует смерть Марьи Борисовой коротко и емко: стало нельзя жить, «Бог не захотел».

Итак, в самоубийствах первой категории виноваты другие люди, а возможно даже и Бог, Которому зачем-то понадобилась «кроткая душа», но только не сами жертвы — они чисты и безгреховны.

Самоубийцы второй категории отнюдь не чисты, а уж греховны так, что дальше некуда, но худшее их преступление против Бога, самоумерщвление, получается не окончательным шагом в бездну, а, напротив, восхождением к Господу и, стало быть, к спасению.

Достоевский твердо верит, что смерти нет и что жизнь вечная, поэтому для него гибель, даже от собственной руки, не точка в развитии души. Н.Бердяев писал о «положительном смысле прохождения через зло» у Достоевского, о том, что зло — это тоже путь, через который человеку может открыться путь к спасению. Вот этим-то самым мучительным (для себя и окружающих) путем идут многие из героев писателя.

С христианской точки зрения крайне сомнительна концепция просветления, нисходящего на грешника в результате суицидной попытки. А у Достоевского именно покушение на самоубийство приводит к катарсису и Смешного Человека, и Версилова. Последний, прострелив себе плечо, разом избавляется от всех терзавших его бесов и становится просто шелковым: и получил «дар слезный», и стал «про-

стодушен и искренен, как дитя», и вообще «всё, что было в нем идеального, еще сильнее выступило вперед». Эти двое через испытание самоубийством спаслись и преобразились здесь, в земной жизни. А уберег их Господь (и автор) потому, что их душу еще можно было спасти, не разлучив ее с плотью — список прегрешений Смешного Человека и Версилова был сравнительно невелик.

Но тем преступникам, кому на земле нет и не может быть прощения, потому что слишком уж много зла они сотворили, путь самоубийства приходится пройти до конца. Однако добровольная казнь становится для них не эпилогом, а прологом — искуплением, примирением с Богом и, возможно, вторым рождением.

Получается, что, всемерно и страстно осуждая самоубийство, Достоевский не считал его смертным грехом. «Три С» (та же буква, что «самоубийство») — Свидригайлов, Ставрогин и Смердяков — конечно, злодеи, но злодеи *не совсем пропащие*, и понимаем мы это лишь тогда, когда они накладывают на себя руки. Эти преступники, даже омерзительный Смердяков, числятся у Достоевского разрядом по выше, чем пошлые и подлые Лужины, Ламберты и Федоры Карамазовы, которым, разумеется, и в голову не придет вершить над собой суд и казнь. Разница даже не в масштабе личности (какой уж масштаб у Смердякова?), а в том, что «Три С» мучились и страдали, страдание же — путь к очищению.

Хронологически первый из самоубийц этого типа — Свидригайлов. Достоевский не жалеет для него черной краски: он и шулер, и шантажист, и женоубийца, и растлитель малолетних. Но преодолев пик мерзости — отпустив беззащитную, всецело находившуюся в его власти Авдотью Романовну, — Свидригайлов чудесным образом преобразается. Он уже решил «уехать в Америку» и тем самым поднимается на более высокую нравственную ступень, он произведен из мерзавцев в самоубийцы. И все его поступки после восхождения на эту ступень чудо как хороши: объяснение с Соней, расставание с невестой, да и само самоубийство — мужественное, словно бы *естествен-*

ное (не то что натужное, некрасивое кирилловское, вершащее насилие над собой и природой). Достоевский явно любит Свидригайловым, собирающимся совершить худший из христианских грехов.

Про таких, как Свидригайлов, десять лет спустя писатель скажет в «Дневнике»:

«...Но есть, и даже слишком уж многие и, что всего любопытнее, с виду, может быть, и чрезвычайно грубые и порочные натуры, а между тем природа их, может быть, им самим неведомо, давно уже тоскует по высшим целям и значению жизни. Эти уж не успокоятся на любви к еде, на любви к кулебякам, к красивым рысакам, к разврату, к чинам, к чиновной власти, к поклонению подчиненных, к швейцарам у дверей домов их. Этакий застрелится именно с виду не из чего, а между тем непременно от тоски, хотя и бессознательной, по высшему смыслу жизни, не найденному им нигде».

Ставрогина «грубой натурой» никак не назовешь. Он — падший ангел, Сокол, Иван Царевич, которым любят и персонажи «Бесов», и сам Достоевский. Поскольку Ставрогин поставлен автором выше всех людей, достойный оппонент для него может быть только один — Бог. И весь путь Ставрогина можно представить как поиск визави, собеседника в диалоге. На самом деле Николай Всеволодович хочет только одного — чтобы Бог ему ответил, дал хоть какое-то доказательство Своего существования. То-то Ставрогин покаялся бы, то-то пустился бы в схиму, то-то явился бы миру во всем ангельском великолепии, куда там Зосиме и Тихону. Все гнусности, совершенные прекрасным молодым человеком, для того и делались, чтобы терпение Всевышнего наконец истощилось и Он открыл грешнику Свой лик — неважно, грозный или милосердный. На счету Ставрогина гнусностей много: довел до смерти «одну старую женщину», убил на дуэли двоих невинных, кого-то отравил и т.д. Самоубийство Ставрогин явно приберегал напоследок, как самый главный вызов Богу. Рассказывая историю о гибели Матрешки, он пишет: «Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия; впрочем, не знаю от чего». Видимо, надругательство

над одной из «малых сих» показалось ему идеей более продуктивной. Матреша интуитивно почувствовала главное намерение Ставрогина, отсюда и ее загадочные слова о том, что она «Бога убила» — то есть стала невольной соучастницей покушения на богоубийство. Но «убить Бога» может захотеть только тот, кто верит, что Бог жив. В том-то и состоит коренное отличие Ставрогина от Кириллова, что для первого Бог существует, а для второго — нет.

Женитьба Ставрогина на «хромой идиотке» — это кощунство над таинством брака, еще один вызов Богу. «Безобразнее нельзя было вообразить ничего», — говорит он, добавляя, что это было получше, чем застрелиться. Когда же богатое воображение Ставрогина иссякло, а силы истощились, он прибег-таки к последнему, самому сильному средству и убил себя, причем из всех видов самоубийства избрал самое некрасивое, иудино. И перед этим, в предсмертном письме, еще и намеренно принизил свой поступок («смести себя с земли как подлое насекомое», «последний обман в бесконечном ряду обманов»), чтобы уж совсем в неприглядном свете выставиться. Мол, и этот мой самосуд прошу искуплением не считать. А на самом деле во всем этом самоуничтожении ощутима все та же апелляция к безмолвному Собеседнику: смотри, как я к себе безжалостен, и оцени это.

Смердяков — это сниженный, окарикатуренный Ставрогин (что подтверждается и почти дословным совпадением их предсмертных записок). Путь лакея к самоубийству не столь импозантен, как путь аристократа, но оттого не менее драматичен. Мне даже кажется, что «третий С» — один из самых загадочных персонажей Достоевского. О мотивах самоубийства, главного решения его жизни, решения парадоксального, противоречащего всем предыдущим поступкам и самому складу характера Смердякова, автор сообщает лишь намеками и недомолвками. Сам механизм принятия решения остается для читателя тайной.

Усвоив от Ивана идею, что раз Бога нет, то все позволено, практичный Смердяков немедленно находит этому открытию полезное применение. Он очень ловко, можно сказать, талантливо обстряпывает убий-

ство старого Карамазова; нацеливает следствие на Дмитрия, да так искусно, что тому никак не отпереться; устраивает себе алиби; получает прямую выгоду (3000 рублей); обеспечивает свое будущее — станет шантажировать Ивана; готовится к отъезду в «счастливые места Европы», для чего учит французские слова. Это ловкий и расчетливый интриган без малейших признаков живой души, вроде Ламберта из «Подраста». Все получилось, как планировал преступник — осталось только пожинать плоды. Но во время последней встречи Смердякова с Иваном в комнате откуда-то появляется «третий». Этот «третий», по словам разительно переменившегося лакея, — «Бог-с, самое это провидение-с». И что самое важное, гнусному Смердякову «третий» виден, а многоумному Ивану Его увидеть не дано (у Ивана, как мы знаем, скоро появится свой собственный собеседник, совсем иного порядка).

Стало быть, Смердяков, персонаж, хуже которого, казалось бы, и выдумать невозможно, Бога находит легче, чем рефлексирующий Иван, и именно поэтому относится к Ивану, «прежнему смелому человеку», с не лишенным величия презрением. А причина у величия одна: Смердяков откуда-то понял, что не все дозволено и потому уже приговорил себя к самоубийству. В последней сцене Смердяков интересен и даже по-своему привлекателен, да иначе и быть не может, потому что «смердящему» от автора вышло повышение — он уже не подлая тварь, а раскаявшийся, или по крайней мере уstraшившийся грешник. И для души Смердякова надежда остается. Как, вероятно, оставил бы ее Достоевский и для удавившегося Иуды.

У всех «Троих С» самоубийство, по сути дела, — лучший поступок в греховной и преступной жизни, главное доказательство искренности. Суицид предстает здесь как обращенная к Христу просьба о прощении, а разве может Он отказать просящему, да еще просящему столь убедительно?

Для Достоевского добрый, порядочный Кириллов страшнее отвратительного Смердякова, потому что инженер — совсем пропащий, его самоубийство имеет принципиально иной, окончатель-

ный характер: Смердяков — самоубийца от *веры*, а Кириллов — самоубийца от *безверия*. К осуждению, жалости и некоторой гадливости, которые автор испытывает к страстотерпцам атеизма и мученикам логики, примешивается даже и насмешка. Черт рассказывает Ивану Карамазову историю про некоего философа, отвергавшего будущую жизнь:

«Помер, думал, что прямо в мрак и смерть, а перед ним — будущая жизнь. Изумился и вознегодовал: «Это, говорит, противоречит моим убеждениям». Вот за это его и присудили... чтобы прошел во мраке квадриллион километров (у нас ведь теперь на километры), и когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и все простят».

В этой притче для нас самое примечательное не то, что безбожник в конце концов пропел «осанну», а то, что его «простят», несмотря на все его неверие.

Главное чувство, которое нигилистические самоубийцы вызывают у писателя, все-таки не гнев, а безмерная жалость. Особенно жалко девушек, отчаянному поступку которых Достоевский пытается найти какое-то другое, «неатеистическое» объяснение. Лизу Герцен, поначалу до чрезвычайности раздражившую автора «Дневника» своей эпатажной запиской, Достоевский впоследствии оправдывает «извращенной теорией воспитания в родительском доме»: девушка не виновата, она — одна из совращенных «малых сих».

Акушерка Писарева наложила на себя руки не только от «полной потери высшего идеала существования», но еще и просто от *усталости*. «Я не вою над тобой, бедная, — горестно пишет Достоевский, — но дай хоть пожалеть о тебе, позволь это; дай пожелать твоей душе Воскресения в такую жизнь, где бы ты уже не соскучилась».

Девушку Олю из романа «Подросток», повесившуюся от болезненной гордости и оставившую записку совершенно в духе Лизы Герцен («Маменька, милая, простите меня за то, что я прекратила мой жизненный дебют. Огорчавшая вас Оля»), оправдывает то, что она

потеряла рассудок от череды невыносимых оскорблений — ее довели до самоубийства, она не преступница, а жертва.

Но для гордых самоубийц мужского пола у Достоевского оправданий не находится. В этих безумцах писатель видит главную опасность для изверившегося человечества. Несколько пародизированный образчик аргументации собирательного «логического самоубийцы NN» писатель приводит в статье «Приговор»:

«Так как [я]... нахожу эту комедию со стороны природы совершенно глупую, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унизительным,

— То, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, — вместе со мною к уничтожению... А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого».

Кириллов, спикер всего сонма логических самоубийц, излагает свою позицию сбивчиво и косноязычно, но куда более талантливо, чем NN:

«Я хочу лишиться себя жизни потому, что такая у меня мысль, потому что я не хочу страха смерти...» «Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя; в этом вся всемирная история до сих пор». «Если нет Бога, то я бог». «Два предрассудка удерживают, две вещи; только две; одна очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая» («маленькая вещь» — боль, но ее можно перетерпеть; «большая вещь» — страх перед Богом, но Его на самом деле нет).

Родоначальие богоборца Кириллова восходит к древности — к мифическому Прометею и историческому философу-кинику Протею¹.

¹ А. Камю пишет, что прототипом Кириллова был именно Протей, сжегший себя на Олимпийских играх 165 года н.э., дабы уподобиться Гераклу.

Особенно богат на атеистов был Век Разума, сформировавший взгляды и убеждения Кириллова, которого, по словам Петруши Верховенского, «съела идея». Достоевский рассказал историю духовного бунта гордого инженера так, что о предшественниках Кириллова просто забыли, а сам он превратился из персонажа романа в обозначение экзистенциальной проблемы, и в этом качестве вот уже более ста лет не сходит со страниц философских трактатов.

Бердяев, назвавший Кириллова «самым благородным и возвышенным из самоубийц», писал, что этот образ противоположен Христу, как Богочеловеку противоположен Человекобог. Самоубийство Кириллова, пишет Бердяев, это бессильный метафизический жест, не способный «смертию смерть поправить». Последнее утверждение бесспорно, но насчет бессилия Бердяев вряд ли прав — жест-то как раз мощен и впечатляющ.

Смерть Кириллова — мятёж человеческой мысли и чувства собственного достоинства против унижительной зависимости от внешних сил: мол, не я дал себе жизнь, так по крайней мере я решу, когда ее прекратить. Уже само то, что эта зависимость в XIX столетии стала казаться кому-то унижительной, свидетельствует о многом. Человек подрос, ему хочется самостоятельности, *он уже не будет таким как прежде*.

И все же духовная смута, затеянная Кирилловым, по своей сути является диалогом с Богом, только не с христианским, а с молчаливым, непонятным и ничего не объясняющим, равнодушным Богом. Самоубийство — это вызов Богу, это следствие обиды на собственное бессилие и несправие, это гордое нежелание быть статистом в постановке с неведомым сюжетом. Философский самоубийца словно говорит: «Если я не могу быть главным персонажем, то вообще не желаю участвовать в вашей пьесе». И еще поступок Кириллова — это попытка разбудить спящего Бога, услышать от него: «Не стреляйтесь, Алексей Нилыч, Я есмь, все в порядке».

Вызов, брошенный Богу Кирилловым, во многом напоминает провоцирующее поведение Ставрогина, но в то же время коренным образом от него отличается: Ставрогин, убивая себя, находит Бога, а Кириллов, наоборот, окончательно порывает с Ним.

Через три года после Кириллова и «Бесов», где все главное о «философском самоубийстве», казалось бы, уже сказано, Достоевский возвращается к этой теме и создает в романе «Подросток» еще одного самоубийцу «с рассудка» — Крафта. Этот персонаж менее ярок и убедителен, однако же, в отличие от Кириллова, взят прямо из жизни и имеет реального прототипа.

Вновь обратиться к теме «логического самоубийства» писателя заставила настоящая самоистребительная эпидемия, обрушившаяся на Россию в 70-е годы и до такой степени встревожившая Достоевского, что через год после написания «Подростка» он делает суицид одной из главных тем своего «Дневника».

А.Ф.Кони показал писателю предсмертные записи своего соученика, мирового судьи Крамера, покончившего с собой по чисто умозрительной и довольно экзотичной причине — из-за комплекса национальной неполноценности¹. Сомнения в состоятельности русской культуры и духовности были достаточно распространены в тогдашнем обществе; некоторые из западников были согласны с Чаадаевым, писавшим:

«Ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь».

У Достоевского Крафт приходит к выводу, что русским «предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества»,

¹ Причина хоть и экзотичная, но не уникальная. В «Энциклопедии литературицида» есть два случая сходных самоубийств среди литераторов: Отто Вейнингера, постеснявшийся быть евреем, и Китаamura Тококу, постеснявшийся быть японцем.

что «русские — порода людей второстепенная, на основании френологии, краниологии и даже математики, и что, стало быть, в качестве русского совсем не стоит жить». Вероятно, национально-уничтожительная окрашенность этого самоубийства должна была подчеркнуть «нерусскость» нигилистической идеи, навязывающей России заимствованные и оттого губительные для ее самобытности убеждения, однако главной составляющей коллизии Крафта все же является не патриотическая, а философская линия. Как сказал один из персонажей романа: «...Можно сделать логический вывод какой угодно, но взять и застрелиться вследствие вывода — это, конечно, не всегда бывает».

Увы, бывает, и не так уж редко. Этот феномен, первые симптомы которого так обеспокоили Достоевского, по мере размывания христианской морали утвердился в суицидной практике и ныне обозначается специальным суицидологическим термином — «сбалансированное самоубийство»: человек, рационально взвесив все за и против, приходит к выводу, что лучше не жить, а умереть.

У психоаналитиков и психотерапевтов XX века таких пациентов появилось множество — они обращаются за помощью в надежде, что специалист найдет некую спасительную логическую формулу, которая обоснует необходимость дальнейшей жизни. Американский суицидолог и психоаналитик Йост Меерло рассказывает:

«Самый трудный в моей практике случай борьбы с депрессией и суицидальной тенденцией был с пациентом — преподавателем философии. У него были заготовлены ответы на любой вопрос, но он совершенно не умел установить контакт с людьми. Он не мог провести черту между логикой ради мудрости и логикой ради маски. Я сам не раз запутывался в его рациональных доводах и неопровержимых доказательствах... Теоретические проблемы мешали ему жить».

К сожалению, во времена Кириллова и Крафта психоанализа еще не было, да и не всякого «философического» суицидента переубедишь (Меерло, например, своего пациента так и не спас). Синдром

Кириллова—Крафта — это болезнь интеллектуального и духовного роста. Человек такого склада впадает в роковое заблуждение, воображая себя существом исключительно рациональным, что на самом деле, конечно, не так. Происходит конфликт между созданием абсолютно зависимым (биологическим человеком) — и индивидуумом, обладающим значительной свободой (человеком духовным). В гармоничной личности две эти ипостаси сбалансированы. Если канат перетянут в сторону биологии, человек оскотинивается. Когда же происходит обратное и человек начинает слишком много о себе понимать, чересчур *гордится*, он иногда решает вовсе распрощаться с биологией, что и проделали Кириллов с Крафтом.

Все это рассуждения безрелигиозные, и Достоевский, конечно, рассматривал проблему «философского самоубийства» по-иному, однако и он видел главную причину этого духовного недуга (да и вообще суицидного греха) в гордости. Болезненная, воспаленная гордость — определяющая характеристика большинства типических героев Достоевского. Перипетии сюжета в основном построены на мучительном ущемлении этой гордости, на обыгрывании унижительных, постыдных или смешных ситуаций, на переходах от безмерного самомнения к столь же безудержному самоуничтожению и обратно. В этом безусловно есть преувеличение, но без гордости персонажи у писателя получаются не вполне живыми. Истинно положительные, невозможно-прекрасные, почти ангельские герои — Мышкин, Алеша Карамазов — начисто лишены гордости и оттого ногами почти не касаются земли, словно бы парят над ней. Зато все самоубийцы греховного разряда, «некроткие», что кончают с собой без образа в руках и взора, обращенного к небесам, очень уж горды.

Нигилизм, в котором Достоевский видел страшную опасность для души и рассудка, является чистейшим продуктом человеческой гордости. Нигилист смотрит сверху вниз и на установленный общественный порядок, и на Бога. Таковы и главные самоубийцы Достоевского:

Ставрогин — гордец, считающий себя выше всех людей, а Кириллов — гордец еще более надменный, не желающий склонять голову даже перед Господом. В чрезмерной гордости человеческого разума Достоевский (и сам слишком хорошо знакомый с бесом гордости) видел покушение на веру и проистекающее отсюда неминуемое самоистребление.

По Достоевскому, спасение от демона самоубийства может быть только одно — в преодолении гордости. В рассказе «Сон смешного человека» об этом говорится напрямую. Протагонист, болезненно гордый человек, вначале говорит: «...Если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера», а в финале приходит к избавлению от самоубийства и духовному очищению, не побоявшись стать предметом насмешек. «Люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных», — вот чем он спасается, становясь из *гордого человека*, то есть грешника, *смешным человеком*, то есть праведником.

Есть тут, правда, одна оговорка, мешающая отнести к этому рецепту спасения с полным доверием. Дело в том, что самозабвенное смирение, к которому слишком уж легко переходят гордецы Достоевского, выглядит как-то не очень по-христиански, потому что к искреннему желанию добра тут примешивается мазохистское сладострастие. Достоевский-художник скрупулезно честен, он не манипулирует своим даром, не приукрашивает, не старается подровнять повествование под заранее намеченную идею. Он правдиво записывает то, что нашептывает ему гений, и оттого часто проговаривается. Например, устами Ставрогина: «Всякое чрезвычайно позорное, без меры унижительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение».

Но другой дороги к спасению гордых писатель не знает и отправляет по ней тех, кого еще можно уберечь от самоубийства — Смешного Человека, Версилова, Раскольникова¹, Ипполита.

На Ипполите стоит остановиться подробнее. Как мы помним, чухоточный юнец вознамерился умертвить себя единственно из нежелания повиноваться воле Провидения, обошедшегося с ним так жестоко. «Природа до такой степени ограничила мою деятельность своими тремя неделями приговора, что, может быть, самоубийство есть единственное дело, которое я еще могу успеть начать и окончить по собственной воле моей», — пишет он в своем предсмертном письме, названием которого я определил жанр этой новеллы. Но из высшего акта гордости, по всегдашней логике Достоевского, выходит сплошной конфуз (Ипполит забыл вставить в револьвер капсули), и молодой человек становится всеобщим посмешищем. То есть происходит то самое *очищение посрамлением*, которое позднее будет рецептурно закреплено в «Сне смешного человека».

Ипполит от греха спасен и благополучно умирает своей смертью, но автор после катарсической сцены несостоявшегося самоубийства всякий интерес к этому герою утрачивает, хотя прежде отводил ему в романе довольно много места. О смерти юноши писатель сообщает очень уж небрежно, как-то между делом: «Ипполит скончался в ужасном волнении и несколько раньше, чем ожидал». Мы даже не знаем, чем было вызвано это ужасное волнение. Нераскаявшиеся грешники Достоевскому (как и всем вообще писателям) куда интереснее рассказавшихся.

Обаяние Достоевского-моралиста проявляется в его готовности молиться даже за нераскаявшихся, за тех, кому по христианскому закону нет и не может быть прощения. Для вящей убедительности

¹ Имеется в виду несостоявшееся самоубийство Раскольникова. Увидев безобразную сцену: пьяная баба пытается утопиться в грязной канаве, он отказывается от мысли убить себя. Ему предстоит раскаяние, унижение, отказ от гордости и лишь после этого воскресение.

писатель вкладывает обращенные к ним слова надежды в уста самых авторитетных своих персонажей, святых старцев.

«Но горе самим истребившим себя на земле, горе самоубийцам! — говорит Зосима. — Мыслию, что уже несчастнее сих и не может быть никого. Грех, рекут нам, о сих Бога молить, и церковь наружно их как бы и отвергает, но мыслию в тайне души моей, что можно бы и за них помолиться. За любовь не осердится ведь Христос. О таких я внутренне всю жизнь молился, исповедуюсь вам в том, отцы и учителя, да и ныне на всяк день молюсь».

Это, конечно же, голос самого автора.

Он же под видом художника возникает в истории, рассказанной Макаром Долгоруким, еще одним божьим человеком. После того как маленький воспитанник купца Скотобойникова утопился в реке, мучителя охватило раскаяние. Он заказал художнику картину, на которой повелел изобразить сцену самоубийства, а в небе — «с той стороны, над церковью, небо, и чтобы все ангелы во свете небесном летели встречать его». Художник отказался, говоря: «...Грех сей, самоубийство, есть самый великий из всех грехов. То как же ангелы его будут встречать после такого греха?» И предложил компромисс: «Небо открывать не станем и ангелов писать нечего; а спущу я с неба, как бы в встречу ему, луч; такой один светлый луч: все равно как бы нечто и выйдет».

Луч надежды — вот всё, что может предложить Достоевский самоубийцам. Разве мало?

Раздел IV

Теории

Наше отношение к самоубийству странным образом сочетает в себе отвращение и жгучий интерес.

Морис Фарбер



оступок самоубийцы почти всегда повергает остающихся в шок — невообразимым для многих попранием жизненного инстинкта, бесстрашием перед лицом укорененного в нашем сознании и подсознании табу, разрывом всех и всяческих связей с миром людей, с нашим миром. Для большинства во все времена мотивы этого пугающего акта казались непостижимыми и даже мистическими. Но человек не любит необъяснимого и если не знает удовлетворительного ответа на вопрос, то придумает неудовлетворительный, лишь бы не оставаться вовсе без ответа.

До поры до времени европейцев устраивало объяснение суицида, предложенное церковью: самоубийство происходит в результате безумия, то есть из-за того, что в душу проникает бес и пожирает ее изнутри. Однако в

XVIII столетии для подросшего сознания такого истолкования стало недостаточно — тем более что явно не все случаи самоубийства можно было объяснить безумием. Тогда-то и возникли первые попытки сделать некие обобщения — то есть вывести теорию самоубийства.

В последние двести лет представление о человеке и механизме его поступков постоянно усложнялось. В конце XX века человек кажется самому себе гораздо более сложным существом, чем он представлялся мыслителям и ученым Века Просвещения. То была эпоха простых ответов на сложные вопросы. Из-за чего люди убивают себя? Монтескье и Карамзин с уверенностью винили в этом климат и рацион питания. Чуть позже вина с не меньшей убежденностью была возложена на нигилизм, материализм и прочие разрушительные идеи. А сегодня получается, что мы все-таки до конца не понимаем, почему миллионы людей ежегодно стремятся расстаться с жизнью — то есть с тем, что кажется нам главным сокровищем. Само обилие существующих ныне суицидологических теорий свидетельствует о нашей растерянности перед феноменом самоубийства.

Основателем суицидологии был Эмиль Дюркгейм, создавший стройную, но, как мы увидим, отнюдь не исчерпывающую, а кое в чем и явно неубедительную теорию суицидальной мотивации. Тем не менее его работа «Самоубийство» (1897) дала толчок новым изысканиям, и уже в начале XX века появилось целых три школы суицидологии: социологическая (то есть собственно дюркгеймовская), антропологическая (выводящая суицидальность из аномалий в строении и развитии организма) и психиатрическая.

Затем школ стало больше — прибавились психоаналитическая, биохимическая (сделавшая главными

виновниками гены и гормоны), макроприродная (которая искала причину в расположении планет, воздействии окружающей среды, географических условиях и т.д.).

Со временем стало очевидно, что ни одно из направлений неспособно объяснить феномен суицида во всей его полноте. Это выяснилось в ходе обширных статистических исследований, которые помогли ученым выявить общие закономерности, но так и не решили тайну каждого отдельного самоубийства. Исследование мотивов суицида, проведенное в 30-е годы в Англии, дало такую картину: 37% всех случаев объяснялись психическими патологиями, 35% — социальными причинами, 17% — личностными аномалиями, 14% — личными невзгодами (несчастливая любовь, болезнь, утрата и т.д.). В ряде случаев мотивация была комбинированной — этим объясняется зашкаливание за стопроцентную сумму. Примерно в те же годы этнографы провели исследование суицидологической картины у народов Центральной и Восточной Африки. Там наиболее часто встречающиеся мотивации были такими (в порядке убывания): болезнь, любовная драма, импотенция или бесплодие, психическое заболевание, стыд.

Из этого маленького примера ясно, что в зависимости от общественных условий и культурных особенностей соотношение основных суицидальных мотиваций может сильно отличаться. Однако всегда будет достаточно высокой пропорция суицидальных случаев, которые не укладываются в рамки основных категорий (те же «личностные аномалии» или так называемые «немотивированные самоубийства»). Это, разумеется, не означает, что суицидология сто лет трудилась впустую — она сумела выявить

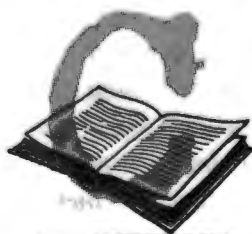
некоторые общие законы, краткому описанию которых и посвящен настоящий раздел.

По моей собственной не слишком корректной классификации, все существующие суицидологические теории могут быть разделены на три потока: социологический (ищущий главную причину в воздействии общества), психический (объясняющий самоубийство устройством человеческой психики) и альтернативный (все прочие теории, не относящиеся к двум основным традиционным направлениям).

Общество

Каждое общество в известный исторический момент имеет определенную склонность к самоубийству.

Э.Дюркгейм



точки зрения социологии самоубийство — одна из моделей так называемого девиантного поведения, область социальной патологии — наряду с наркоманией, проституцией, преступностью и алкоголизмом. Убивая себя, человек отказывается признавать, что он общественное животное, и тем самым привлекает к своей персоне, пусть посмертно, пристальное внимание того самого социума, которым столь решительно пренебрег.

Эмиль Дюркгейм сводит всю совокупность мотиваций суицида к пагубному воздействию социальной среды и происходящих внутри нее процессов. Индивид не убива-

ет себя — происходит убийство, совершаемое обществом. Основатель суицидологии выделяет всего три типа самоубийства: эгоистическое, альтруистическое и аномичное.

Эгоистическое самоубийство происходит тогда, когда узы, соединяющие человека с жизнью, разрываются, когда ослабевает его связь с обществом, результатом чего становится крайний индивидуализм. Писатель-самоубийца, центральный персонаж нашего исследования (и шире — вообще творческий человек), по понятной причине относится именно к этой дюркгеймовской категории. Высокий уровень образования в смысле суицидорасположенности — вещь опасная. Интеллектуалы убивают себя раз в десять чаще, чем люди малообразованные — именно потому, что образованность и связанная с нею материальная обеспеченность (во всяком случае, во времена Дюркгейма они были связаны) способствуют обострению индивидуализма. Парадоксально, но факт: чем легче и приятней жизнь человека, тем чаще он задумывается о самоубийстве. Что, собственно, и демонстрирует наша благоустроенная эпоха.

Альтруистическое самоубийство, наоборот, является следствием недостаточно развитой индивидуальности. К этой категории, например, относится самоустранение стариков в примитивном обществе. По Дюркгейму, альтруистический суицид является приметой «обществ низшего порядка». Человек кончает с собой из «общественных» соображений, когда социум оказывает на личность сильное психическое давление, побуждая ее к самоуничтожению. Пример — массовые самоубийства в фанатичных и тесно сплоченных религиозных общинах. Общественный интерес подавляет личный там, где «я» не принадлежит человеку. «Во всех этих случаях мы видим, как субъект стремится освободиться от своей личности для того, чтобы

погрузиться во что-то другое, что он считает своей настоящей сущностью». И очень важное замечание: «В той среде, где властвует альтруистическое самоубийство, человек всегда готов пожертвовать своей жизнью, но зато он так же мало дорожит и жизнью других людей». Тоталитарные государства XX века, отстаивавшие примат социальных ценностей над индивидуальными, легко жертвовали гражданами, мешавшими развитию общества, а полезных граждан постоянно призывали к самопожертвованию, в том числе и прямому — через альтруистическое самоубийство (прославление подвига Матросова, «последнюю пулю себе», эскадрильи камикадзе и прочее).

Аномичное самоубийство (аномия — общее состояние дезорганизации) становится массовым явлением в период любых значительных социальных потрясений — причем не только отрицательных, но и положительных. «Каждый раз, когда социальное тело терпит крупные изменения, вызванные внешним скачком роста или неожиданной катастрофой, люди начинают убивать себя с большей легкостью». В качестве примеров позитивных, но оттого не менее суицидопобуждающих общественных перемен Дюркгейм приводит данные 1870-х годов: рост самоубийств в победоносной Германии, а также в объединившейся, бурно развивавшейся Италии. При подобных перепадах происходит массовое изменение установившейся социальной иерархии. Резкое изменение общественного и имущественного статуса влечет за собой волну самоубийств среди тех, кто не смог приспособиться к новым условиям. [Нам, жителям России 90-х годов XX века, не нужно объяснять, что такое аномичное самоубийство — благодаря этому явлению суицидальная статистика в нашей стране подскочила вдвое.]

Законы Дюркгейма гласят, что уровень самоубийств в популяции напрямую связан с ее степенью сплоченности: суицидальная статистика изменяется обратно пропорционально степени семейной, религиозной и политической интеграции.

Совершенно очевидно, что теория Дюркгейма, при очевидной бесспорности своих ключевых положений, объясняет лишь один, пусть даже очень широкий, аспект суицидальных побуждений. Вместе с тем французский социолог открыл и попытался объяснить ряд важных закономерностей, изучение которых было продолжено его многочисленными последователями.

Значительное преобладание мужских самоубийств над женскими Дюркгейм объяснял тем, что у женщины менее развита чувствительность, женщина недостаточно проникнута общественной жизнью и «очень несложных социальных форм достаточно для удовлетворения всех ее требований». Это утверждение, разумеется, звучит до комичного шовинистично, однако дальнейшее развитие суицидологии подтвердило, что женщины действительно совершают самоубийства в среднем в 3-4 раза реже. Современная психология объясняет это тем, что женщины отличаются большей ментальной пластичностью и обладают лучшей социальной адаптируемостью. Правда, они совершают в пять раз больше суицидальных попыток, чем мужчины, но в большинстве случаев эти покушения носят демонстративный характер и направлены не на прекращение собственной жизни, а на улучшение ее качества (привлечь внимание к своему несчастью, получить помощь, вызвать сострадание и прочее). Характерно, что в скандинавских странах, где эмансипация началась раньше и получила большее развитие, социальные роли полов почти полностью сnivelированы, и,

как результат, количество самоубийств среди женщин и мужчин почти сравнялось. Редким исключением в этом отношении является Япония — там женщины убивают себя чаще, чем мужчины, что особенно проявляется в старших возрастных группах. Суицидальная картина в Японии вообще уникальна, о чем мы поговорим в соответствующей главе, что же касается высокой суицидной смертности среди женщин, то она, видимо, объясняется особенностями национальной культуры — прежде всего воспитания: в традиционной японской семье девочек приучают считать высшими добродетелями самопожертвование, терпение и подчинение, что при отсутствии укорененного нравственного табу на самоубийство подталкивает к суицидальному выходу из сложной или мучительной ситуации.

Последователи Дюркгейма усовершенствовали социологическую суицидологию, открыли множество новых закономерностей, связывающих уровень самоубийств с общественными процессами, вывели сложные формулы, позволяющие прогнозировать, а стало быть, и смягчать суицидные всплески. Сегодня мы знаем и можем объяснить, почему горожане убивают себя чаще, чем сельские жители¹; почему снижение рождаемости пагубно отражается на уровне самоубийств²; почему число самоубийц резко падает во время войны³ и так далее, и так далее.

Социология способна объяснить причины большинства самоубийств в социально неблагополучных странах

¹ Причин много: в аграрных сообществах крепче институт семьи; дезорганизованные городские зоны — рассадник самоубийств и т. п.

² Установлено, что уровень самоубийств находится в обратной зависимости с долей детей в популяции: дети цементируют семью, крепкая семья — хороший барьер против суицида.

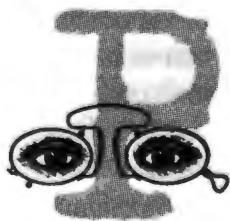
³ В годы военных испытаний общество консолидируется, что понижает степень социальной изоляции.

(например, в сегодняшней России), но даже там многие случаи выходят за рамки ее компетенции. И тем более заметна недостаточность этой теории, когда речь заходит о суицидной картине в тех обществах, где жизнь человека в меньшей степени зависит от социального давления. Неудивительно, что именно в этих странах социологическая школа довольно скоро уступила первенство тому направлению суицидологии, которое объясняет самоубийство устройством человеческой психики и происходящими в ней процессами.

Психика

У всякого человека существует всякая причина для самоубийства.

Чезаре Павезе



азумеется, человеческая психика — сфера куда более загадочная и гораздо меньше поддающаяся изучению, чем законы развития общества. Самая главная тайна для человека — он сам, механизм его поступков и истинные мотивы его поведения. Здесь нет ничего, известного наверняка, в лучшем случае существуют некоторые правдоподобные предположения, любые же категоричные суждения вызывают сомнение.

Примерно до середины XIX века медикам казалось, что наше психическое устройство ненамного сложнее паровой машины или ткацкого станка. Душевная анома-

лия, толкающая человека на самоубийство, рассматривалась как незначительный механический дефект, легко поддающийся коррекции. Меры предлагались простые и решительные: «Перепробовав различные способы без видимого эффекта, прописал пациенту холодный душ каждое утро, — бодро докладывает о своей методике некий английский психиатр в 1840 году. — Через десять дней страсть к самоистреблению совершенно исчезла и более не возвращалась. Известно также, что вовремя сделанный клистир отлично рассеивает желание самоубийства».

Хорошим способом лечения суицидальной склонности считалось поставить за уши пиявки. Или наложить пластырь на область печени в сочетании с обильным питьем, причем непременно очень холодным. Французские врачи Вуазен и Брие де Буамон утверждали, что навязчивая идея самоубийства исчезнет, если больному погуще помазать ноги противонарывной мазью — «нарыв» в душе лопнет, и все будет хорошо. Отличное средство также — многочасовая ванна. Другой французский психиатр пришел к выводу, что во многих случаях от «черной меланхолии» девушек полностью вылечивает замужество. [Это, кажется, и в самом деле неплохое средство — кроме тех случаев, когда брак заставляет задуматься о самоубийстве тех, кому раньше эта идея в голову не приходила, — вспомним печально знаменитые самосожжения среднеазиатских жен.] Разумный совет меланхоликам давал и Ф.Бэкон: заниматься математикой, ибо она восстанавливает душевную гармонию.

К сожалению, в нашем столетии задача врачебной суицидологии кажется куда более трудной. До сих пор неясно, до какой степени нервно-психические расстрой-

ства связаны с суицидальным поведением (каковое включает в себя не только завершённое самоубийство, но также суицидальные попытки и суицидальные намерения). Разброс статистических данных слишком велик: одни исследователи утверждают, что примерно одна треть самоубийц — люди психически больные; в новейших же исследованиях речь идет о 90, а то и 95 процентах.

Очевидно, все дело в том, какое состояние считать психическим заболеванием. Большинство суицидентов — люди с пограничными нервно-психическими расстройствами. Значительную группу составляют так называемые акцентуированные личности, люди в принципе психически здоровые, но «со странностями», то есть склонные к аффектной неустойчивости и истерондному поведению. Согласно ряду исследований, суицид является главной причиной смерти среди больных шизофренией. Однако преобладает мнение, что основной «убийца» — не маниакальные состояния, часто сопряженные с эйфорией, а депрессия, та самая «черная меланхолия», от которой в свое время лечили пиявками и холодной водой.

Депрессия — это истощение жизненной силы, то есть осознанное или неосознанное желание умереть. Ее симптомы хорошо изучены: чувство вины, ипохондрия, мучительная бессонница и в еще большей степени страх перед бессонницей¹, боязнь потерять контроль над собой, кош-

¹ Сон — это своего рода «маленькая смерть», временное отключение сознания. Интересное исследование связи суицидального поведения с привычками сна провел Эдвин Шнейдман, установивший, что больше склонности к самоубийству проявляют не только те, кто страдает бессонницей, но и люди, просыпающиеся по утрам с трудом и в плохом настроении. Иными словами, среди «сов» самоубийц больше, чем среди «жаворонков».

марные сны о катастрофах, падениях с высоты и прочем. Загляните в «Энциклопедию литературицида», и вы увидите, что магическое слово «депрессия» встречается там почти в каждой биографической справке — обычно в самом ее конце.

При досконально изученной симптоматике этого состояния происхождение его трактуется по-разному. В прежние времена, когда человеческой психикой еще не занималось столько научных дисциплин, говорили о несчастной любви, стыде, угрызениях совести или пресыщенности. Современная социология ищет корни депрессии в социально-психологической дезадаптации личности, которая обычно происходит вследствие утраты человеком привычной ролевой функции — в семье или иных структурах общества. С точки зрения психобиологии, депрессия — это неврофизиологическая дисфункция, определяемая либо наследственностью, либо гормональным дисбалансом, либо иными подобными факторами. Более лестное для нас объяснение дает экзистенциализм: виноваты не гены и не гормоны, а этический нигилизм и утрата смысла жизни. Бихевиоризм выделяет в качестве главного толчка к депрессии ощущение человеком своей беспомощности и «негативное усиление» заниженной самооценки.

Группа суицидального риска в интерпретации «психического» направления суицидологии выглядит иначе, чем у социологов: 1) суициденты с психической патологией; 2) алкоголики и наркоманы; 3) акцентуированные личности (в иной терминологии «абнормальные личности», «индивиды с личностными нарушениями» и проч.); 4) люди практически здоровые, но склонные к острым ситуационным реакциям.

[Не претендуя на роль арбитра в споре между суицидологическими теориями, отмечу лишь, что для темы моего исследования безусловно больше подходит трактовка «психического» направления. Мои герои — писатели, убитые жизненными обстоятельствами или литературой, — никак не желают выстраиваться в многотысячные колонны, обозначенные Дюркгеймом и его последователями. Зато с категориями группы риска, описанной в предыдущем абзаце, никаких проблем не возникает. Просмотрев нашу «Энциклопедию», можем распределить по этим четырем графам всех ее фигурантов без остатка. Психическая патология? Всеволод Гаршин, Жерар де Нерваль, Сильвия Плат. Алкоголизм? Сергей Есенин, Харт Крейн, Николай Успенский. Наркомания? Марек Хласко, Борис Поплавский, Георг Тракль. Акцентуированные личности? Да почти все. Склонность к острым ситуационным реакциям? Большая часть. Впрочем, я уже говорил о том, что в группу суицидального риска входят все литераторы — люди опасной профессии.]

Среди «психических» теорий больше всего внимания приковало к себе одно из любимейших чад XX века — учение психоанализа, попытавшееся создать генеральный метод препарирования нашего душевного устройства и пусть не осуществившее это вряд ли выполнимое намерение, но многое нащупавшее и объяснившее.

Если Дюркгейм возложил ответственность за суицид на общество, то Фрейд (а вернее, его последователи), в свою очередь переложил вину на подсознание. Я говорю о последователях, а не о самом Фрейде, потому что мэтр так и не создал теорию, которая объясняла бы механику суицида. При этом нельзя сказать, чтобы вели-

кий венец не интересовался феноменом самоубийства — совсем напротив. В последние 16 лет жизни, болея раком, Фрейд постоянно думал о подобном исходе для себя. Однако и раньше, еще за четверть века до начала болезни, он писал своему другу и ученику Оскару Пфистеру, что часто размышляет, как ему поступить, если когда-нибудь «откажут мысль и слово». Решение созрело уже тогда: «...С подобающим честному человеку смирением перед судьбой я молю только об одном: не стать калекой, не допустить, чтобы телесные страдания парализовали волю. Как сказал Макбет, давайте же умрем во всеоружьи».

Как известно, основатель психоанализа так и поступил — когда не смог больше работать, а физические страдания стали невыносимыми, его ученик и друг доктор Макс Шур, следуя предварительному уговору, сделал умирающему профессору летальную инъекцию морфия.

Почти за три десятилетия до этого финала, в апреле 1910 года, Венское психологическое общество провело специальный симпозиум по проблеме самоубийства. Фрейд слушал выступления участников, но сам отмалчивался — он был не готов к ответу на вопрос, откуда берется суицидальная идея, если основными инстинктами в человеке, как доказывал он сам, являются либидо и самосохранение. Где же тут взяться инстинкту саморазрушения?

В 1917 году в эссе «Скорбь и меланхолия» Фрейд впервые попытался подступиться к этой теме, высказав предположение, что суицидальность — это переадресация агрессии с внешнего мира на себя. На раннем этапе психоаналитическая теория пробовала найти причины

самоагрессии в извращении полового инстинкта или реакции психики на фрустрацию. Но три года спустя, издав работу «За принципом наслаждения», Фрейд ввел в свою теорию новую основополагающую категорию врожденного «инстинкта смерти»: не все модели поведения могут быть объяснены инстинктом самосохранения; у инстинкта смерти, разрушения, бывает два проявления — активное и пассивное; многие аспекты человеческого поведения станут понятнее, если учесть взаимодействие двух этих инстинктов — жизни (эроса) и смерти (танатоса), иначе называемых любовью и ненавистью. В таком случае, самоуничтожение — это подавление одного естественного инстинкта другим, не менее естественным.

Этой гипотезой вклад Фрейда в суицидологию, собственно, и исчерпывается. Сам он называл свою концепцию «биологической спекуляцией» и говорил, что она нуждается в доработке.

В доработчиках недостатка не было. Американский психиатр Карл Меннингер довел идею учителя до логического завершения: любое поведение, вредное для здоровья или опасное для жизни, есть проявление инстинкта смерти, а наивысшее из этих проявлений — акт самоубийства. По Меннингеру, психологические компоненты суицидального поведения — месть (агрессия, направленная вовне), вина (агрессия, направленная внутрь) и депрессия (желание умереть). В основе же суицидальной мотивации часто заложено подсознательное стремление вернуться к блаженной безмятежности утробного существования.

Некоторые из сторонников психоанализа в своей категоричности и механистическом стремлении разложить

человеческую психику по складам фрейдистской азбуки доходили до смешного. В одном психоаналитическом исследовании, пытающемся объяснить работу подсознания суицидента при выборе способа самоубийства, предложено следующее толкование: когда человек вешается, это симптом сексуальной фрустрации; когда человек выбрасывается из окна, это свидетельствует об инфантилизме и подсознательном желании вырасти, стать взрослым (типичная сцена: будущий самоубийца стоит на парапете, все его уговаривают, утешают, успокаивают, все от него «зависят», всем он нужен); если женщина бросается под поезд (синдром Анны Карениной) — это верный признак стремления отдаться во власть фаллического монстра и т.д.

Увы, и психоанализ не всеохватен — слишком уж часты случаи, когда терапия оказывается бессильна: пациент обращается к аналитику в надежде избавиться от навязчивых мыслей о самоубийстве, но сеансы терапии не помогают, и человек погибает.

Так, может быть, истинная причина суицидального поведения таится не в психике и не в губительном влиянии общества, а в чем-то ином?

Альтернативные теории

Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движениям! Поступками как близок к ангелам! Почти равен Богу — разумением! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция праха?»¹

Вильям Шекспир. «Гамлет»



Начать отсчет теорий этой группы, видимо, следовало бы с уже знакомой нам средневековой гипотезы о вселившемся в душу дьяволе (*diabolico persecutus furore*), но поскольку эта теория не получила научного подтверждения, есть смысл сразу перейти к XIX веку, когда появились первые исследования, основывавшиеся на статистике. Большая распространенность самоубийств в странах северной Европы породила «климатическую» теорию, высказывавшую предположение, что умеренно холодный климат почему-то особенно губителен для жизненного инстинкта. Однако более продолжительные по времени наблюдения опровергли это предположение — выяснилось, что индекс самоубийств непостоянен и может подниматься и опускаться вне зависимости от того, севернее или южнее расположены те или иные регионы. В одной и той же Германии, например, про-

¹ Пер. Б. Пастернака.

тестантская Саксония давала в 1860—70-е годы втрое больше самоубийств, чем католическая Бавария (что объясняется суицидосдерживающим воздействием католицизма).

Более убедительной казалась «теория племенной наследственности», искавшая объяснение предрасположенности к самоубийству в культуре и национальном характере. Изучив данные по Европе, ученые пришли к выводу, что финно-угорские и германские племена обнаруживают гораздо больше склонности к суициду, чем, скажем, славяне. Однако при том, что национальные особенности безусловно до какой-то степени влияют на суицидальную картину в этносе, признать это влияние определяющим нельзя: у родственных датчан и норвежцев, например, уровень самоубийств различался почти вчетверо, а среди славянских народов и вовсе наблюдался одиннадцатикратный перепад (чехи и далматинцы).

Попытка создать «сезонную» теорию тоже ни к чему не привела. Да, и в прошлом, и в нынешнем столетии пик самоубийств в Северном полушарии приходился на май-июнь (а вовсе не на пасмурный ноябрь, как можно было бы предположить), но это, очевидно, связано с тем, что при максимальной продолжительности светового дня люди меньше спят и оттого имеют больше активного времени, чтобы распорядиться им по своему усмотрению. Есть, видимо, и чисто психологическая причина: в начале лета усугубляется диссонанс между внутренней депрессией и бурным расцветом природы; суицидент чувствует себя еще более одиноким — даже природе нет дела до его переживаний.

По дням недели всплеск самоубийств наблюдался (и продолжает наблюдаться) в понедельник: нежела-

ние идти на работу и похмельный синдром (алкоголики занимают в статистике самоубийств одно из самых заметных мест; было установлено, что члены этой группы риска чаще всего убивают себя именно на фоне похмельных страданий). Но это вроде бы очевидно и без теоретизирования?

В XX веке попытки создать всеобъемлющую суицидологическую теорию продолжались. Наиболее серьезные из этих разработок относятся к комбинаторному типу — они попробовали соединить достижения социологической и «психической» школ. Внимания прежде всего заслуживают психосоциологическая теория Шорта и Генри, а также психокультурная теория Фарбера.

Американские социологи Эндрю Генри и Джеймс Шорт заимствовали у психоанализа концепцию агрессии и выдвинули в 50-е годы гипотезу о связи уровня убийств с уровнем самоубийств: когда в обществе уменьшается количество убийств, кривая суицида ползет вверх. Объясняется эта тенденция тем, что в организованном, стабильном социуме агрессия, направленная вовне, не находит выхода и переадресуется внутрь. Именно поэтому в социально «благополучных» странах самоубийств совершается в несколько раз больше, чем в «неблагополучных». Неоднородность и дезорганизованность общественной среды «помогают» человеку крепче держаться за свою жизнь.

Увы, статистика опровергает это предположение. В Японии за последние сорок лет заметно понизились цифры и по убийствам, и по самоубийствам. А в России, наоборот, по сравнению с периодом десятилетней давности убийств стало втрое больше, но и индекс самоубийств вырос вдвое.

Гипотеза Мориса Фарбера, исследовавшего в 60-е годы суицидальную статистику скандинавских стран, строже и корректнее, поэтому изложим ее чуть более подробно.

Закон Фарбера звучит так:

Частота самоубийств в популяции прямо пропорциональна количеству индивидов, отличающихся повышенной ранимостью, и масштабу лишений, характерных для этой популяции.

Вот эта закономерность в виде общей формулы:

$$S = f(V, D)$$

Где

S — вероятность самоубийства;

f — функция;

V — повышенная ранимость (vulnerability);

D — масштаб общественных лишений (deprivation.)¹

Таким образом, если Дюркгейм брал в расчет только D, а теория психоанализа — только V, то у Фарбера учтены и «общественный», и «личный» факторы суицидальности.

Наиболее вероятен суицидальный исход, когда легко ранимый человек оказывается в экстремальном положении ($V = \text{maximim}$, $D = \text{maximim}$) [Случай Марины Цветаевой].

¹ Формула может показаться тривиальной, однако обозначает принципиальный подход, облегчающий более детальное изучение. К тому же в окончательном виде психосоциологическая формула Фарбера включает в себя гораздо большее количество компонентов, среди которых есть такие, как самоощущение индивидом своей компетентности, способность к общению, толерантность данного общества к самоубийству, наличие или отсутствие внешней помощи, степень оптимизма в обществе и т.д.

Часты случаи суицида и тогда, когда человек с достаточно устойчивой психикой оказывается в невыносимо тяжелой общественной ситуации ($V = 0$, $D = \text{maximum}$) [Случай немецкого писателя Йохана Клеппера, который совершил самоубийство вместе с женой-еврейкой и падчерицей, так как тех ожидала депортация]. Сам Фарбер приводит другой пример скачкообразного возрастания D : после того, как Берлин в одну ночь был поделен стеной надвое (13 августа 1961 г.), уровень самоубийств в восточном секторе увеличился в 25 раз, хотя величина V , разумеется, осталась неизменной.

Если же величина V очень велика, то для побуждения к самоубийству объективных лишений может и не понадобиться ($V = \text{maximum}$, $D = 0$) [Случай Всеволода Гаршина]. Эта ситуация вообще в высшей степени характерна для героев моей книги. Их V до чрезвычайности повышена, что и объясняет обширность «Энциклопедии литературыцида»: даже относительно малые или вовсе воображаемые D способны привести литератора к S .

Генеральная теория, созданная Фарбером, хороша во многих отношениях, но и она не учитывает ряда факторов, которые современная наука игнорировать не может. Например, влияние наследственности. Механизм ее воздействия на суицидальность не вполне ясен, однако исследования американцев Фарбероу и Саймона установили, что у 6% суицидентов один из родителей был самоубийцей, а это в 88 раз превосходит среднестатистическую норму. Но неясно, какая именно цепь здесь срабатывает — генетическая (некая генная запрограммированность на самоуничтожение) или психологическая (непосредственная близость прецедента)?

Несколько лет назад Центр исследования самоубийств Южнокалифорнийского университета издал сборник, в

котором изложены химические симптомы суицидной предрасположенности. Исследователи утверждают, что склонность к самоубийству определяется не столько социальными или психическими факторами, сколько химической структурой наших тканей. Из 17 выводов, к которым пришли авторы сборника, лишь два можно счесть традиционными: к самоубийству склонны индивиды, испытывающие трудности в сфере сексуальных отношений, здоровья и социальной адаптации (пункт №15); от 15 до 20% алкоголиков погибают от самоубийства (пункт №16). В остальном же самоубийца рассматривается как некое органическое соединение с аномальной формулой. Пункт №13, в котором утверждается, что депрессивные пациенты, прошедшие курс электроконвульсивной терапии, проявляют меньшую склонность к самоубийству, напоминает оптимистичные рецепты полуторавековой давности — про то, что «вовремя сделанный клистир отлично рассеивает желание самоубийства».

Особенное распространение получила так называемая серотониновая теория, которая связывает суицидальное поведение с пониженной концентрацией 5-гидроксииндолацетиновой кислоты в спинномозговой жидкости; с увеличенной секрецией кортизола; с ослабленной подавляемостью кортизола и некоторыми другими биохимическими аномалиями. По данным Дж.Манна, профессора психиатрии из Колумбийского университета, более чем в 95% случаев в мозговом веществе самоубийц наблюдается пониженное содержание серотонина (гормона, выполняющего функцию медиатора нервной системы). Более того, у суицидентов, которые предприняли «несерьезную» попытку самоубийства, дефицит серотонина выражен втрое слабее, чем у «серьезных» самоубийц. Отсюда делается вывод:

будет легко усовершенствовать профилактику самоубийств, отслеживая уровень серотонина при помощи позитронно-эмиссионной томографии. Суицидогенный дефицит серотонина может быть вызван либо наследственностью, либо привнесенными факторами — неправильной диетой, наркотиками, алкоголем, старостью. [Стоп! — воскликнем тут мы с облегчением. Честно говоря, знакомиться с изысканиями сторонников биохимического направления суицидологии мне было тревожно и неприятно. Когда из мыслящей и чувствующей субстанции превращаешься в биоробота, реакции которого целиком и полностью определены взаимодействием гормонов и кислот, уже одно это способно понизить содержание серотонина до угрожающей отметки. А вот если речь идет о наследственности, холестероле, пьянстве и старости, да еще прибавить сюда боль презренной любви, судей неправду, заносчивость властей и оскорбленья, чинимые безропотной заслуге, то и без позитронно-эмиссионной томографии ясно, когда, по выражению Маяковского, «сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою». Очень возможно, что при этом и уровень серотонина понижается. Но не наоборот, не наоборот.]

Повторю еще раз: «психические» теории несомненно подходят для темы нашего исследования больше, чем какие-либо другие. Возможно, писатель-самоубийца и безумец, но не «общественное животное» и тем более не раб серотонина.]

Приложение

Эдипов комплекс в истории суицидентов Х. и Г. *Опыт патологоанатомического психоанализа*

Мой психоаналитик — сигара «Корона №3».
Эрнест Хемингуэй

Все предельно ясно: я одержим комплексом кастрации, фекальным комплексом, склонностями к некрофилии и не знаю какими еще извращениями за исключением почему-то Эдипова комплекса.

Ромен Гари. «Обещание на рассвете»

Правомочность типизации



бъективности ради следует отметить, что в описываемых случаях не может идти речи о сходстве корней патогенного бессознательного или о единой парадигме невротической симптоматики. Наши пациенты были совсем разными и в жизни, и в творчестве, совершенно несхожими ни внешне, ни психологически, ни по литературному стилю, ни по манере одеваться, ни по темпераменту. Более того, они терпеть друг друга не могли, а читатели, которые обожают книги одного, обычно равнодушны или даже враждебны по отношению к книгам другого.

И тем не менее, в их судьбе и психическом механизме их жизнеопределяющих поступков имеются несомненные аналогии, позволяющие го-

ворить об однотипности или гомогенности двух этих суицидных случаев.

1. И Х. и Г. были знаменитыми писателями, увенчанными высочайшими литературными наградами: первый стал нобелевским лауреатом, второй — единственным в истории двукратным обладателем Гонкуровской премии. Оба литератора имели огромное количество страстных поклонников — и при жизни, и после смерти, что объясняется не только литературными достоинствами их произведений, но и тем, что

2. Х. и Г. были личностями ярко выраженного харизматического склада. Они были склонны романтизировать и приукрашивать себя и свою биографию, причем делали это вдохновенно и талантливо, что значительно усложняет задачу беспристрастного и объективного исследования.

3. При всей непохожести оба считались и считаются воплощением истинной мужественности: герои войны, герои-любовники, рыцари без страха и упрека.

4. Обоих отличала странная привязанность к Африке — этому праматерику, праматери человечества. Любовь к Африке, сама форма которой напоминает утробу, несомненно, носила аффективный характер и сублимировала бессознательное стремление к возвращению в материнское лоно. Правда, один (Х.) истреблял африканских слонов, а другой (Г.) их защищал. Но тут уже сказываются различия в восприятии фигуры отца, что, в частности, проявляется и в отношении обоих пациентов к тавромахии. Один был страстным любителем корриды и олицетворял себя с матадором: «Испытываешь странное чувство, когда на тебя несется бык, которому не терпится тебя убить, и смотрит тебе в глаза, и ты видишь нацеленный рог, которым он собирается тебя убить» (Х.). Другой писал: «Неимоверное число людей может присутствовать на корриде и, не дрогнув, смотреть на раненого и окровавленного быка, но только не я. Я — тот самый бык» (Г.). Разницу, разумеется, определяет интенсивность патрицидного компонента Эдипова комплекса, о чем подробнее будет сказано ниже.

5. Оба пациента покончили с собой примерно в одном и том же

возрасте, при не лишенных сходства обстоятельствах и с использованием огнестрельного оружия.

6. Наконец, и тот, и другой на дух не выносили психоанализ и фрейдистов (см. эпитафы).

Случай пациента X.

Здесь наблюдается типичная картина завуалированного Эдипова комплекса. Инцестуозная составляющая отношения пациента к матери была до такой степени вытеснена в подсознание, что найти какие-либо приятные упоминания о ней в высказываниях X. практически невозможно. Пациент называл мать «старой сукой», что, несмотря на явные обценные коннотации, все же свидетельствует об определенной эротической непривлекательности объекта.

Признаться, у X. были довольно веские причины для столь негативного отношения к матери, сыгравшей в формировании его личности определяющую (и при этом достаточно зловещую) роль. Грейс X. всю жизнь вымещала на близких неудовлетворенные артистические амбиции. Она не могла простить мужу и детям, что ради семьи была вынуждена пожертвовать карьерой оперной певицы. Это была сильная, властная женщина, вышедшая замуж за заурядного, слабохарактерного мужчину, из-за чего традиционные роли в семействе были перепутаны. Отцу X., Кларенсу, в семье отводилась подчиненная, «женская» роль — он делал покупки, готовил, никогда не оспаривал мнения супруги. Грейс же вела себя «по-мужски»: зарабатывала деньги уроками музыки и продажей картин (она была еще и талантливой художницей), принимала все важные решения. Ее всячески подчеркиваемая «культурность» определила стойкую неприязнь X. к любым проявлениям артистизма и интеллектуализма. В дальнейшем пациент будет бравировать пренебрежением к искусству и писательству как не вполне мужским занятиям. «Мое писательство — ничто. Вот мой бокс — это всё!» — говорил уже тридцатилетний X., подсознательно оппонирова матери.

Во многих произведениях Х. образ матери олицетворяет некую черствую, безжалостную, доминирующую силу, нацеленную на иррациональное разрушение. Мать мешает вернувшемуся с фронта солдату залечить психическую травму — (рассказ «Дома»); разрушает счастье дочери, не позволив ей соединить жизнь с любимым человеком (рассказ «Канарейку в подарок»); если подопечный пытается вырваться из-под контроля, мать способна и на убийство (рассказ «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», где в роли властной «матери» инфантильного Макомбера выступает его монструозная жена).

Симптоматичнее же всего с точки зрения психоанализа автобиографическая история о том, как миссис Адамс уничтожает коллекцию индейских артефактов, которой так дорожит отец Ника (рассказ «На сон грядущий»). Мать выступает не только как символическая победительница отца, но и как разрушительница всех «мальчишеских игрушек», всего того, чем мужчины дорожат и что они оберегают от женщин. Всю жизнь Х. будет с маниакальным упорством играть в эти самые игрушки, ни за что не подпуская к своим играм «девчонок». Совершенно очевидно, что коллекция отца символизирует мужские гениталии, а мать Ника Адамса предстает в виде мистической демаскулинизирующей силы, покушающейся на самое мужское естество.

Глубоко укорененный комплекс кастрации — одна из доминант жизни и творчества Х. Истоки этой психической травмы следует искать в раннем детстве, когда матери из бессознательно-мужененавистнических мотивов взбрело в голову одевать маленького Х. как девочку. До шестилетнего возраста, то есть в тот самый период, когда у детей формируются сексуальные ролевые функции, ребенок испытывал несомненные затруднения в половой самоидентификации. Это безусловно воспринималось мальчиком как покушение на его принадлежность к мужскому полу. Детский травматический невроз был окончательно зафиксирован в психике Х. вследствие тяжелого ранения, полученного на Итальянском фронте: 227 мелких шрапнельных осколков изрешетили нижнюю часть тела раненого, задев паховую область

и лишь чудом не нарушив репродуктивную систему. В произведениях Х. страх кастрации приобретает черты навязчивой идеи, возникая вновь и вновь — то в явной форме¹, то в замаскированной². Одно из наиболее часто употребляемых слов в текстах Х. — испанское *cojones* (букв. — мужские тестикулы); от того, есть или нет у того или иного героя *cojones*, зависит отношение к нему автора и прочих персонажей. Мужские гениталии приобретают у писателя явные черты сверхценного объекта.

С этим комплексом неразрывно связано недоверие к женственности и латентный страх перед всем женским. Главные события феминности — беременность и роды — вызывают у автобиографических героев Х. непонимание и ужас, ассоциируются не с появлением новой жизни, а со смертью. В рассказе «Кросс по снегу» Ник Адамс отлично проводит время с другом, катаясь на лыжах, и это «мальчишеское» времяпрепровождение позволяет ему на время отвлечься от неприятных мыслей о грядущем отцовстве. В рассказе «Белые слоны» герой уговаривает свою спутницу сделать аборт. В романе «Прощай, оружие» беременность становится убийцей любви и любимой (в заключительной фразе романа автор бессознательно вводит ритуал омовения, очищения от женской скверны: «Немного погодя [после прощания с телом умершей. — Г.Ч.] я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем»). В раннем рассказе «Индийский поселок» линия неприятия женственности прорисована особенно выпукло. Мальчик Ник присутствует при родах индейки, которые описаны в весьма пугающих красках и приводят мужа роженицы к самоубийству, символизирующему нежелание автора быть мужем и отцом.

¹ Многочисленные истории об ампутированных или гангренозных конечностях, тяжелых ранениях и прочих травмах, символизирующие все тот же страх кастрации.

² Например, в рассказе «Счастливых праздников, джентльмены!», где религиозный подросток отрезает себе детородный орган, чтобы избавиться от греховного наваждения. Или в повести «Фиеста», где тема утраченного физиологического мужества становится центральной.

Лучше всего Х. удавались женские образы либо материнского склада (как Пилар из романа «По ком звонит колокол»), либо непредсказуемые разрушительницы (как Брет Эшли из «Фиесты» или уже упоминавшаяся миссис Макомбер). Романтические героини у писателя выходили бледноватыми и куда менее убедительными.

Та же тенденция прослеживалась и в биографии Х. Он женился четыре раза, что симптоматично для пациентов с подобными неврозами, и всякий раз на сильных, волевых женщинах, ни с одной из которых не смог создать прочной, счастливой семьи. Иначе и быть не могло, потому что каждый из браков знаменовал очередной этап в символической войне с матерью. Это была война, с одной стороны, за независимость, с другой — за любовь и признание. На столь шатком фундаменте счастливые браки не создаются.

Для понимания биографии и финала пациента не менее важна и вторая составляющая Эдипова комплекса: мотив патрицида. В отличие от монотонно враждебной окрашенности чувства к матери, отношение Х. к отцу имеет все черты классической амбивалентности, сочетая любовь и ненависть.

Кларенс Х. был слабым мужем, но властным отцом. С одной стороны, он привил сыну страсть к охоте и рыболовству, ставшим для Х. главным жизненным интересом после литературы. С другой стороны, малодушие и ненадежность, свойственные отцу, его неспособность отстаивать свое достоинство в конфликтах с женой и окружающими породили в юном Х. мучительную неуверенность в собственной возможности противостоять внешней среде. Временами протест против нелегитимной авторитарности отца принимал форму прямого патрицидного импульса, что, в частности, описано в одном из эпизодов автобиографического сборника «Отцы и сыновья»: отец наказал Ника Адамса, и тот, сжимая в руках заряженное ружье, думает с ненавистью: «Я могу его изрешетить к чертовой матери. Я могу его убить».

Пристрастие Х. к корриде и охоте на крупного зверя, разумеется, являлось сублимацией отцеубийства. В поединке отцеобразного быка

и сынообразного тореадора все симпатии автора на стороне «сына». Слон, лев, буйвол, рыба-меч и прочая крупная добыча, на которую так любил охотиться писатель, безусловно, также символизируют отцовское начало. В этой связи примечательно высказывание писателя, написавшего о себе в третьем лице: «С детства он очень любил охоту и рыбалку. Если бы он уделял этим занятиям меньше времени, то, наверное, написал бы гораздо больше. Или, возможно, застрелился бы».

Неслучайно и прозвище «Папа», которое так нравилось Х. в зрелые годы. Тем самым он хотел подчеркнуть, что подлинный, архетипический отец — он сам, а вовсе не Кларенс, жалкий неудачник и самозванец.

Итак, ключ к пониманию личности Х. имеет две бороздки: отдаление от слабого, «немужского» отца и отторжение властной, «кастрирующей» матери. Требовалось во что бы то ни стало доказать — прежде всего самому себе, — что ты не ребенок, а мужчина, отстоять свою компетентность, право распоряжаться собственной судьбой, дееспособность, *потентность*.

Отсюда, от навязчивого невроза, агрессивность в самоутверждении, которая подчас так шокировала современников. Х. постоянно нуждался во внешних подтверждениях своей состоятельности, и ему все казалось мало — нужно было непременно по-самцовски «пометить территорию». Типичное высказывание: «Я начал потихоньку и нокаутировал мистера Тургенева. Потом как следует потренировался и одолел мистера Мопассана. С мистером Стендалем я провел два боя вничью, но во втором, кажется, преимущество было на моей стороне».

Этим же объясняется и патологическая склонность к мифотворчеству — во что бы то ни стало выглядеть еще мужественней, еще героичней, еще сильнее, чем ты есть на самом деле. Чувство меры для пациентов этого склада несвойственно, и у Х. в ход шли все средства, он стремился блеснуть во всех традиционно machistских амп-

луа: и воин, и спортсмен, и охотник, и бабник, и выпивоха, и бонвиван, и храбрец. В этой гаргантюанской карикатуре было слишком много всего, тут явно наличествовал перебор. Речь несомненно идет о так называемой «наркотизации» аффектного переживания, то есть заглушении страха при помощи сверхагрессивной внешней деятельности. Временами пристрастие Х. к фаллической атрибутике доходило до гротеска — во время Второй мировой войны он, фронтовой репортер, чуть не угодил под трибунал за то, что не расставался с пистолетом (по Женевской конвенции корреспондентам носить оружие строжайше запрещалось).

Постепенно навязчивое состояние пациента все больше приобретало хрестоматийные черты суицидального комплекса. Obsessia смертию, изначально свойственная Х. и побуждавшая его без конца устремляться туда, «где можно увидеть жизнь и смерть» («Смерть после полудня»), вынуждала его постоянно подвергать свою жизнь опасности. На этом человеке буквально не было живого места. Подроском он сбежал от властной матери и ее девчоночьего платья на войну (результат — 227 осколков). Затем были тяжелые инфекционные болезни, три автомобильных аварии, две авиакатастрофы. Х. перенес шесть травм одной только головы. Войны, опасные охоты и снежные альпийские лавины пощадили искателя приключений — а вернее, проявили жестокость: танатос, к которому писатель бессознательно стремился всю свою жизнь, не взял на себя главную работу. Х. был вынужден исполнить ее сам.

Произошло это тогда, когда прежний образ жизни для больного, преждевременно состарившегося Х. стал уже невозможен. Прежние раны и многолетнее пренебрежение здоровьем дали себя знать к шестидесяти. Большая печень и диабет поставили крест на выпивке. Надорванное сердце исключило секс. Ослабшее зрение и дрожащие руки заставили распрощаться с охотой. А тут еще критики, которым надreло десятилетиями расхваливать «Папу», стали покусывать и свергать с пьедестала.

Подступала депрессия, он называл ее «Черная ж...». Параноидальный страх перед бедностью (это у него-то, нобелевского лауреата и любимца издателей!), перед налоговой инспекцией, перед ФБР сводил с ума. Дошло до того, что в последний год Х. согласился пройти курс электрошоковой терапии. Не помогло.

Хуже всего было то, что он больше не мог писать книг. Жаловался, что иногда за целый день не может выдавить из себя ни одного предложения.

Жизнь, ориентированная на борьбу с матерью и отцом, после многочисленных побед заканчивалась сокрушительным поражением. По ночам Х. подолгу сидел в кресле, смотрел в пространство и молчал, а прежде очень любил вспоминать вслух о былых свершениях. Старость, великий кастратор, довершила дело, начатое Грейс. Х. перестал быть великим любовником, великим охотником, великим путешественником, великим спортсменом, великим писателем. Единственным «мужским» деянием, оставшимся доступным для Х., было заглянуть в сдвоенную черную дыру охотничьего ружья.

В свое время пациенту, должно быть, казалось, что победить слабого отца ему будет совсем нетрудно. Самоубийство Кларенса, случившееся в 1928 году (диабет, грудная жаба, финансовый крах), по времени символично совпало с главным триумфом сына, заканчивавшего самый успешный из своих романов, «Прощай, оружие», и готовившегося пожинать плоды всемирной славы.

Но слабак-отец в конечном итоге все-таки взял реванш: и диабетом, и грудной жабой, и самоубийством.

Случай пациента Г.

В этой истории мы имеем дело с совсем иной ипостасью отношений «мать-сын» и «отец-сын», но детерминирующую нагрузку вновь несет первый компонент Эдипова комплекса. Любовь к матери, на сей раз не вытесняемая, а, наоборот, выпячиваемая и фетишизируе-

мая, стала главным вектором развития личности и творчества писателя. Материнская любовь приобрела сверхценное значение как символ утраченного рая, куда нет и не может быть возврата. Любовь же к несуществующему отцу обрела черты фантазирования и навязчивого поиска, мешавшего пациенту наладить прочные связи с реальностью и делавшего Г. эмоционально уязвимым.

История взаимоотношений Г. с матерью известна во всех подробностях благодаря роману «Обещание на рассвете» и ряду других автобиографических произведений. Примечательно, что, как это обычно бывает в подобных случаях, пациент начисто отделяет свои либидные желания от матери, наивно заявляя: «Мне действительно ни разу не пришло в голову физически пожелать мою мать, но причина этому не кровные узы, а скорее то, что она была уже пожилой женщиной, у меня же сексуальный акт всегда ассоциировался с молодостью и свежестью». Столь прямолинейное непризнание эротической привязанности, конечно же, может лишь вызвать улыбку — оно красноречиво свидетельствует о защитной реакции вытеснения инцестуального комплекса в область бессознательного.

Факты же таковы. Мать Г., неудавшаяся актриса, и, как выразились бы теперь, мать-одиночка, весь пыл нерастраченной любви и весь жар неудовлетворенных амбиций обратила на единственного сына, позднего ребенка, который стал для нее объектом фетишизации. Снова, как в случае с Грейс Х., неудовлетворенность сублимировалась в неадекватное родительское поведение, только здесь оно приобрело не центробежную, а центростремительную направленность. Один из лейтмотивов творчества Г. — повторяющийся образ не до конца разорванной пуповины, по которой сыну от матери якобы передавались ее сила, мужество и жизненная воля. Нина хотела, чтобы сын прожил жизнь за двоих — за себя и за нее, осуществив все то, чего она не смогла добиться. Ради этой цели она целиком приносила себя в жертву, то есть символически отдавала сыну свою жизнь, но взамен и он должен был отдать свою жизнь ей.

А запросы у Нины были нешуточные. Она требовала от мальчика, чтобы он, сын нищей иммигрантки, стал великим писателем, послом Франции, блестящим офицером и еще непременно романтическим любовником – то есть воплотил ее абсурдные представления об идеале мужчины. Выполнить *все эти задачи* и стало для Г. делом жизни.

Можно было бы отнести к этой истории как к достаточно тривиальному примеру обсессивной любви еврейской мамочки к единственному чаду, если бы не одно удивительное обстоятельство: Г. совершил невозможное и выполнил все обещания, данные матери, – стал героем войны, знаменитым писателем, видным дипломатом и прославленным жуиром. Неудивительно, что эта сверхзадача целиком подчинила себе его жизненную деятельность и отняла все его силы.

Остановимся чуть подробнее на том, как Нина воспитывала своего мальчика.

Во-первых, она никогда не сомневалась в его несравненных достоинствах. Во-вторых, она его всемерно баловала, он ни в чем не знал отказа. В-третьих, она подвергала его ежедневному промыванию мозгов, фиксируя его жизненную установку. В-четвертых, она подвергала его мужество постоянным испытаниям, которые не сломили Г., а закалили и приготовили к грядущим испытаниям. «Маменькиным сыном» мальчик не был. «Слушай меня внимательно, – сказала Нина 12-летнему сыну, который не сумел заступиться за ее честь. – В следующий раз, когда это случится, когда при тебе будут оскорблять твою мать, в следующий раз я хочу, чтобы тебя принесли домой на носилках». И юный Г. извлек урок: отныне он раздавал пощечины направо и налево – мяснику, с которым Нина поругалась; соседу, который сказал ей что-то не так; кредитору, слишком настойчиво требовавшему от нее уплаты долга. Мать получала удовольствие от подобных конфликтов, а сын, страдая от постыдности этих нелепых скандалов, все же послушно исполнял роль защитника.

Он был не меньшим храбрецом, чем Х., но его мужественность носила совсем другой оттенок: без агрессивного мачизма, без латентного женоненавистничества, без приверженности к «мужским» забавам. У Г. были другие аффектации. Он слишком заботился о своей внешности, его красота была чрезмерной, до слащавости: томный взор, как у артиста немого кино (к этому мы еще вернемся), ухоженные усики или, позднее, длинные волосы и борода а-ля Джизус Крайст Суперстар. Характерно, что, по признанию самого Г., вся эта декорация ему глубоко претила, однако он знал, что мать — к тому времени давно умершая — хотела бы его видеть именно таким. В детстве Нина наряжала его в бархатную блузу и жабо, говорила: «Ты будешь одеваться в Лондоне». И Г. всю жизнь послушно ездил в Англию шить костюмы, хотя терпеть их не мог. С раннего детства он был приучен выполнять обещания, данные матери.

Ключ к пониманию природы травматического невроза, в конечном итоге приведшего Г. к самоубийству, следует искать в известной истории с материнскими письмами.

Из романа «Обещание на рассвете» мы знаем, что все время, пока Г. воевал в военно-воздушных силах «Свободной Франции», ему кружным путем, через Швейцарию, поступали письма от Нины, оставшейся на оккупированной территории. Эти послания придавали ему мужества и веры в то, что материнская любовь уберет его от любой опасности.

Домой, в Ниццу, Г. возвращался триумфатором: с головы до ног увешанный орденами красавец-офицер, обласканный критиками писатель, будущий дипломат. Все то, о чем мечтала мать, чудодейственным образом сбылось, и оставалось только сложить трофеи к ее ногам. В Ницце выяснилось, что Нина умерла еще в начале войны, а письма написала заранее — чтобы поддержать сына и уберечь от отчаяния.

Очень красивая история и почти достоверная (на самом деле до Г. дошло только одно из материнских писем, остальные он прочел уже по возвращении, но разве это что-то меняет?). Возможно, об-

ман, затеянный Ниной, и помог сыну легче перенести тяготы войны, однако тем сильнее была психическая травма, полученная им, когда мистификация раскрылась. Если до сего момента погоня за успехом имела пусть аффектную, но все же реальную цель — доставить радость любимой матери, то отныне цель стала химерической, а жизнь превратилась в бег в колесе, преодоление все новых и новых барьеров в заранее проигранном кроссе.

С одной стороны, смерть матери, очевидно, стала для пациента временным спасением, избавив его от жесткого, неотступного контроля и сделав его хозяином собственной жизни. Но интоксикация чрезмерной любви, полученная в раннюю пору жизни, оказалась неизлечимой. Отныне Г. находился под надзором призрака.

Естественно, ни одна женщина не смогла любить его так же самолюбвенно и беззаветно, и Г., по его собственному выражению, был вынужден «умирать от жажды возле каждого фонтана». Он писал: «Через материнскую любовь на заре вашей юности вам дается обещание, которое жизнь никогда не выполняет. Поэтому до конца своих дней вы вынуждены питаться всухомятку. Всякий раз, когда женщина сжимает вас в объятьях, вы понимаете, что это не то. Вы постоянно будете возвращаться на могилу своей матери, воя как покинутый пес».

Инстинкт самосохранения заставил писателя сразу же найти суррогат утраченной матери. Он женился на женщине, которая была намного старше и окружила его материнской заботой. Произошло это почти сразу же после того, как Г. узнал о смерти Нины. Жена-мать Лесли позволила ему отчасти восстановить утраченный баланс безопасности. Кроме того, она помогла ему выпестовать литературное дарование, стала чем-то вроде мадам Форестье.

При этом Лесли и сама обладала недюжинным писательским даром. Когда, после десяти лет супружеской жизни, она наконец решилась выпустить собственную книгу, та сразу стала международным бестселлером и затмила тогдашнюю литературную славу Г. Американские журналисты спрашивали уязвленного прозаика, каково это —

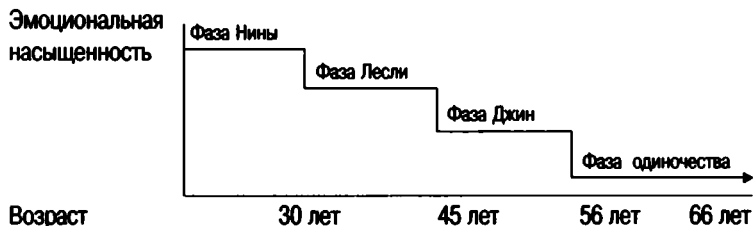
быть мужем столь знаменитой писательницы. Как и подобает матери, Лесли не стала развивать свой успех и тактично отошла в тень. Нина несомненно поступила бы так же.

Однако обратная сторона Эдипова комплекса, жажда мщения за сыновнюю привязанность и стремление оборвать пуповину, сковывающую свободу действий, привели к тому, что Г. в конце концов разорвал «безопасный» брак с Лесли. В данном случае жена приняла на себя удар, который был адресован матери, удушавшей сына своей непомерной опекой. Типично, что «Обещание на рассвете» написано именно в тот период, когда Г. задумал кардинальным образом изменить свою жизненную ситуацию и уйти от «жены-матери» к «жене-дочери», юной кинозвезде Джин. В написании романа, воспевающего материнскую и сыновнюю любовь, со всей очевидностью проявилось отторжение части либидо для сублимационных целей. Переведа инцестуальный комплекс в литературное русло, пациент уменьшил чувство вины и подсознательно подготовил смену психозротической установки.

Эксперимент оказался не просто неудачным, а убийственным, причем не только для Г., но и для его «дочери». Мудрая Лесли сказала: «Пусть эта американочка будет твоей любовницей, но не женись на ней, это равносильно самоубийству». Как известно, так оно и вышло.

Для роли «отца» Г. был подготовлен гораздо хуже, чем для роли «сына». После целой череды травматических событий (супружеские измены, политика, ФБР, «черные пантеры», смерть новорожденного ребенка) брак распался с губительными последствиями для обоих супругов. У Джин развился депрессивный синдром, семь раз толкавший ее на попытку самоубийства (восьмая оказалась роковой). Что же касается Г., то последнее десятилетие своей жизни он провел во все более усугубляющемся одиночестве. Эмоциональная биография пациента в графическом виде представляет собой ступенеобразную линию, которая на начальном отрезке находится наверху, а затем все резче и резче спускается: от полной насыщенно-

сти первого периода жизни (фаза Нины) через суррогатную насыщенность второго периода (фаза Лесли) и трагический спад третьего периода (фаза Джин) к полному затуханию четвертого периода (одиночество).



Для того, чтобы стало ясно, до какой степени одиноким чувствовал себя Г. в последнее десятилетие, нужно рассмотреть и специфическую функцию отношений «сын-отец», в данном случае полностью мифологизированных и безусловно патологических.

Официальным, по метрике, отцом Г. был некий Леонид Касев (Касев, Кацев?), участия в воспитании сына не принимавший и, весьма вероятно, числившийся родителем мальчика лишь номинально. В детстве Г. несколько раз его видел, но интереса ни с той, ни с другой стороны не возникло. У Касева была другая семья, а мальчик нашел себе отца поавантажней. Первым мифическим отцом Г. стал прославленный актер немого кино Иван Мозжухин. Вполне возможно, что он и в самом деле был биологическим отцом Г. — их внешнее сходство бросается в глаза, а с Ниной Мозжухина связывали какие-то не очень понятные, но явно неслучайные отношения. В периоды особенно острого безденежья Нина писала куда-то (Г. дает понять, что именно Мозжухину) письма, в ответ приходили денежные переводы, а одним из главных событий детства Г. стал подаренный актером велосипед. В самом мужском идеале, на который Нина настраивала своего сына, без труда распознается набор ролей, сыгранных Мозжухиным в кино: Ставрогин, Германн, Каза-

нова, гвардейский офицер, гениальный скрипач и прочее. Совершенно очевидно, что, стремясь к реализации фантастических жизненных планов, юный Г. вдохновлялся не только материнскими грезами, но и экранными образами своего воображаемого и недоступного отца.

Подлинный отец, Леонид Касев, по сравнению с волшебным, сказочно прекрасным Мозжухиным был скучен, неинтересен и — интересное признание пациента — *куда менее реален*. Г. пишет, что стал воспринимать Касева как реального человека лишь через много лет после его смерти, когда случайно узнал подробности гибели этого тихого, ничем не примечательного человека. Депортированный вместе с другими евреями, Касев умер перед входом в газовую камеру — от ужаса. Эта жуткая подробность воссоединила сына с отцом, но только для того, чтобы усилить у Г. ощущение депривации, увеличить его список утрат, к тому времени и без того достаточно длинный.

Через год после того, как Мозжухин умер, одинокий и всеми забытый, у Г. появился новый отец, еще более величественный и блестящий. Им стал Шарль де Голль, ставший для Г. символом красоты, мужественности и истинно французского духа. Писатель навсегда остался твердым, нерассуждающим голлистом — не из политических соображений, а из сыновней привязанности.

Первая их встреча произошла в Африке, в 1941 году. Г. в женском платье скакал на сцене, изображая канкан; генерал сидел в первом ряду и сурово взирает на концерт доморощенной солдатской самодеятельности. Потом генерал вручал своему «сыну» ордена, принимал его на Елисейских полях, читал его книги. Они никогда не были близки, но Г. всегда посылал де Голлю первый экземпляр своих произведений. Иногда генерал отвечал коротким одобрительным письмом. Повторялась ситуация с первым «идеальным отцом»: далекий, благосклонный, время от времени присылающий подарки, но в целом довольно равнодушный.

1970 год, с которого началось последнее десятилетие жизни Г., ознаменовался для него двойной потерей: разводом с Джин и смертью де Голля. На похороны писатель пришел в старой военной форме и при всех своих многочисленных орденах. В сочетании с длинными волосами и бородой это смотрелось нелепо, но Г. никогда не боялся показаться смешным. Для него этот ритуал знаменовал прощание с молодостью, счастьем, *настоящей жизнью*.

Как и Х., Г. не умел стареть. В романе «Страхи царя Соломона» он попытался примириться со старостью, изобразить хеппи-энд человеческого существования, но получилось не очень убедительно. Концовка жизни у Г. вышла печальной: трагическая смерть бедной, полубезумной Джин, нелепый финал так весело начинавшейся мистификации с псевдонимом Эмиль Ажар, упадок сил, одиночество. Странный штрих: в последние дни Г., как и Х., очень нервничал из-за налоговых санкций (сложности возникли из-за путаницы с гонорарами Ажара) — по свидетельству близких, писатель все время только об этом и говорил. Для обоих наших пациентов деньги значили немало. Они были символом жизненного успеха, силы, *потентности*.

В отличие от Х., который снес себе выстрелом полголовы, учтив момент, когда жена на минуту вышла из комнаты, Г. проявил характерную для него деликатность. Чтобы никого не шокировать неприятным зрелищем, он дождался, когда останется в квартире один, лег на кровать, надел красную купальную шапочку и выстрелил себе в рот из револьвера умеренного 38-го калибра.

Баловню судьбы повезло и тут: пуля попала ровно туда, куда нужно — не было ни предсмертных страданий, ни разбрызганных мозгов. Из свидетельства судмедэксперта, описывавшего труп: «Черты умиротворенные, голубые глаза широко раскрыты, выражение лица спокойное».

«*Ночь будет спокойной*» — это название и последняя фраза поздней автобиографической книги Г. Писатель вообще был мастером последней фразы. Концовки всех его книг очень красивы, безупречны по части вкуса. Собранные вместе, они напоминают свод заклинаний.

Последняя фраза последнего романа «Воздушные змеи»: *«Потому что лучше не скажешь»*.

Последняя фраза лучшей книги «Обещание на рассвете»: *«Жизнь прожита не зря»*.

Последняя фраза главного романа, написанного под псевдонимом Эмиль Ахар: *«Надо любить»*.

И последняя фраза «Жизни и смерти Эмиля Ахара», книги, опубликованной уже посмертно: *«Я хорошо повеселился. Прощайте и спасибо»*.

Комментарий

Так или примерно так выглядит критико-психоаналитический разбор жизни и творчества Эрнеста Хемингуэя и Ромена Гари. Я лишь собрал воедино открытия и прозрения литературных фрейдистов и почти ничего не выдумал, разве что кое-где увлекся. Скажу честно: результат компиляции вызывает у меня глубокое отвращение. Я ни в коем случае не являюсь противником психоанализа и доктора Фрейда (который, в конце концов, тоже является одним из героев этой книги), но, насколько мне известно, никого нельзя подвергать психоанализу насильно, против собственного желания, а Хемингуэй и Гари недвусмысленно давали понять, что в услугах фрейдистских толкователей не нуждаются.

Увы, писатель себе не принадлежит, особенно после смерти. Обоим героям-любовникам пришлось расплачиваться за пылкую любовь читателей и тех же критиков. Романтический ореол — опасная штука, всем так и хочется потрогать руками, вывернуть наизнанку, убедиться, что это не золото, а мишура.

«Папа» знал, чем все кончится, и описал заранее в повести «Старик и море». Вот будет он мертвой рыбиной болтаться у лодки Харона, а литературоведы от психоанализа вцепятся в него острыми зубами — да не куда-нибудь, а в то самое, принципиально важное место, чтобы выхолостить, лишить легендарного сексапила. И не успокоятся, пока не останется один обглоданный скелет. Это про

них, трупоедов, сказано в повести: «Он видел их приплюснутые, широконосые головы и большие, отороченные белым грудные плавники. Это были самые гнусные из всех акул — вонючие убийцы, пожирающие и падаль: когда их мучит голод, они готовы укусить и весло, и руль лодки».

А Гари писал так: «Я с удовольствием оставляю шарлатанам и полоумным, управляющим нами в стольких областях, труд объяснять мои чувства к матери какой-либо патологической опухолью. Учитывая, чем стали свобода, братство и благороднейшие чаяния людей в их руках, я не вижу, почему простой сыновней любви не превратиться в их больном воображении в некую крайность».

Мне тоже кажется, что Эдипов комплекс в двух данных случаях не при чем, а если и при чем, то, право, Бог с ним. Один из наших «пациентов» написал несколько гениальных рассказов о детстве и поре мужания, несколько ярких романов о вкусной и здоровой жизни, о противлении злу насилием. Второй создал лучшую в мире книгу о материнской любви. И все, прощайте и спасибо.

А стареть ни Хемингуэй, ни Гари не научились, это правда.

Раздел V География

*И кто, в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений,
Самоубийство и любовь!*

Ф.И.Тютчев



сплеск самоубийств подобен эпидемии, перемещающейся во времени и пространстве — вспыхнет в одном месте, оставив свежие могилы и травмированные души, потом вдруг переметнется в иную часть света, произведет опустошение и там, на какое-то время утихнет, чтобы годы спустя внезапно разразиться в совершенно неподготовленных к этой напасти краях. Общество всякий раз приходило в ужас, застигнутое этим непостижимым душевным недугом, который к тому же обычно поражал самый драгоценный слой населения — склонную к максимализму и идеализму молодежь. В античности государство в таких случаях проявляло решительность и суровость, как при пресечении холеры. Летописец Кассий Гермин рассказы-

вает, что Тарквиний Гордый для борьбы с эпидемией самоубийств велел распинать трупы убивших себя, дабы видом гниющих тел отвратить впечатлительных молодых людей от безумия. Кажется, мера подействовала.

В более просвещенные времена такая кардинальная психотерапия стала невозможной. Суицидное поветрие нынешней формации зародилось в Европе более 200 лет назад и с тех пор неуклонно и повсеместно набирает силу. Возникнув в Англии, цунами самоубийств перекачилось в Германию, оттуда во Францию, надолго задержалось в скандинавских странах, зацепило запад России, а в XX столетии достигло Нового Света и с тех пор превратилось в одно из главных бедствий современной цивилизации.

Антисуицидный иммунитет общества ослабевает по разным причинам. Социальные истоки открыты и описаны Дюркгеймом: разрушение религиозной, семейной и общественной интегрированности, экономические потрясения, политические катаклизмы. В 1929 году происходит крах Нью-Йоркской биржи, и в первые же три дня кризиса выпрыгивают из окон, стреляются и травятся 210 разорившихся бизнесменов. Или вдруг в 90-е годы XX века начинается стремительное расслоение некогда монолитного советского общества — и уровень самоубийств в постсоциалистической России тут же поднимается вдвое. Я уже писал о том, как повлиял на суицидную статистику раскол западного христианства — более либеральный и индивидуалистичный протестантизм менее суицидоустойчив, чем ортодоксальный католицизм: это стало очевидно еще в дюркгеймовские времена, ибо в протестантских областях Германии люди убивали себя втрое чаще, чем в католических.

Помимо социально мотивированных миграций суицид еще и оказался подвержен влиянию моды. В абсолютных

цифрах это пагубное увлечение, возможно, давало не так уж много жертв, но всякий раз производило на общество куда более сильное впечатление, чем «скучные» самоубийства по причине бедности или социальной безысходности. В некоторых ситуациях суицид может выглядеть романтично и импозантно, а это воздействует на неокрепшие души самым роковым образом.

Впервые Европа убедилась в этом после выхода в свет «Страданий молодого Вертера» (1774). Поводом к написанию знаменитого эпистолярного романа стали два частных обстоятельства: во-первых, неудачная любовь доктора Иоганна-Вольфганга Гёте к дочери вейцларского коммерсанта Шарлотте Буфф, которая предпочла более благоразумного молодого человека по имени Иоганн-Кристиан Кестнер; а во-вторых, произошедшее там же и в ту же пору самоубийство студента Ерузалема. «Это создание, — говорил старый Гёте о романе много лет спустя, — я, как пеликан, вскормил кровью собственного сердца и столько в него вложил из того, что таилось в моей душе, столько чувств и мыслей, что, право, их хватило бы на десяток таких томиков. Впрочем, как я уже говорил вам [Эккерману. — Г.Ч.], я всего один раз прочитал эту книжку после того, как она вышла в свет, и поостерегся делать это вторично. Она начинена взрывчаткой! Мне от нее становится жутко, и я боюсь снова впасть в то патологическое состояние, из которого она возникла».

Итак, сам писатель спасся от суицидальных мыслей, выплеснув их на бумагу, однако эта разумная профилактическая мера, уберегшая молодого литератора от преждевременной могилы, стоила жизни многим рефлексирующим юношам. Разумеется, одного чувствительного романа было бы недостаточно, чтобы целую генерацию европейцев подвести к идее

самоубийства — ядоносные литературные семена упали на подготовленную почву. Семидесятые годы XVIII столетия были эпохой духовного кризиса, «безымянного беспокойства и томительного недовольства, волновавших каждое сердце» (Т.Карлейль). Эхо реального выстрела, который сразил влюбленного студента в 1773 году, многократно усиленное гением Гёте, перекачивалось по закоулкам Европы несколько десятилетий. Четверть века спустя Бонапарт не на шутку переполошился, узнав, что его офицеры зачитываются «Вертером», и предусмотрительно запретил в армии чтение вообще всех романов. Многие из современников считали, что Гёте совершил тяжкое преступление, навеки поселив в умы *furore Wertherinus* («вертеровское безумие») — мысль о самоубийстве как достойном выходе из недостойной ситуации. Тайного советника фон Гёте подобные инсинуации злили и пугали, он отрекался от разноплеменных вертеров, говоря: «И вот вы хотите привлечь к ответственности писателя и предать проклятию сочинение, которое, ложно понятое ограниченными умами, могло бы в худшем случае освободить мир от дюжины глупцов и бездельников, не могущих сделать ничего лучшего, как совсем загасить и без того уже слабо тлеющий в них огонек». Ложно понятое? А как же насчет взрывчатки? Писатель подчас оказывается в роли гамельнского крысолова, похищающего у общества детей своей волшебной музыкой, помимо собственной воли, но Гёте, кажется, отлично понимал, какую бомбу подбрасывает пробуждающемуся сознанию новой Европы. Впрочем, бомбу эту изготовил не он — Гёте всего лишь дал ей название и описал ее устройство.

За три года до «Вертера» покончил с собой восемнадцатилетний Чаттертон. Талантливый английский мальчик, сведенный в могилу нуждой и неудовлетворенным често-

любим, на вертеровской волне был героизирован и поэтизирован, превратившись из нищего неудачника в символ романтического бунтаря, сраженного равнодушным и безжалостным обществом. Этот красивый образ погубил немало увлекающихся юношей со склонностью к стихотворчеству. На Францию «чаттертономания» обрушилась в 1835 году, когда Альфред де Виньи издал пьесу «Чаттертон». Молодым французам, которым претил господствовавший в эпоху июльской монархии дух пошлости и филистерства, был близок и понятен мифологизированный пафос британского самоубийцы. Модным считалось застрелиться, положив руку на томик Виньи, а один молодой человек покончил с собой прямо в театре, во время спектакля.

Подобные микро- и макровзрывы не раз происходили и в дальнейшем, обусловленные течением социальных, политических и культурных обстоятельств. Однако совершенно очевидно, что существуют и некие константы, придающие географии суицида черты определенного постоянства. Если нарисовать мировую карту самоубийств, подобную, скажем, карте плотности населения, то в одних частях планеты цвет будет значительно гуще, чем в других — в том числе и в исторической перспективе.

Этим географическим сгусткам и посвящен данный раздел книги. Я выбрал для более внимательного рассмотрения четыре культурных региона, представляющих особенный интерес для данного исследования: русский, германский, британский и японский. При этом я взял в расчет не общую суицидную статистику, а всего один частный фактор — количество писательских самоубийств. Именно четыре вышеупомянутые литературы лидируют по этому трагическому показателю в «Энциклопедии литературного суицида».

Резонно предположить, что обильную жатву литературы собрал там, где совпали два условия, напрямую между собой не связанные: относительно высокий уровень общей суицидальности и наличие большой литературы. Из выбранных нами регионов три (британский, германский и особенно японский), действительно, издавна имели репутацию «повышенно суицидных». Что же касается России, то вплоть до последних десятилетий она держалась по статистике на среднем мировом уровне, а наша нынешняя эпидемия самоубийств, вероятно, носит временный характер. Присутствие России в этом разделе книги объясняется той гипертрофированной ролью, которую в последние 200 лет играла у нас литература. По количеству писательских самоубийств история нашей словесности уступает только немецкоязычной, да и то лишь если объединять германскую, австрийскую и немецко-швейцарскую литературы в единый лингвокультурный регион.

Так уж повелось со времен Сумарокова и Новикова, что писатель в России считался отнюдь не обитателем пресловутой красивой башни, а учителем жизни, проповедником и даже пророком — в общем, фигурой общественной. Однако в стране, которую постоянно бросает то в жар, то в холод, роль жизнеучителя опасна — могут убить, казнить, довести до самоубийства. Главный вклад России в мировую культуру — великая литература. Расплата за этот вклад — длиннейший писательский мартиролог.

Есть, впрочем, историческая характеристика, единая для всех четырех литературицидных регионов — это всё бывшие империи: Рах Britannica, Священная Римская империя, Австро-Венгрия, гогенцоллерновский и гитлеровский рейхи, романовское самодержавие, советская Евразия, японские «восемь углов мира под одной крышей». Что и

неудивительно, ибо имперская конструкция, с одной стороны, способствует расцвету культуры, а с другой, подвергает своих подданных чрезмерным стрессам, чреватым, в частности, суицидальным поведением.

Если бы при составлении географического раздела книги я руководствовался только общими суицидологическими показателями, не учитывая случаи литературицида, главы получились бы другими. Япония, вероятно, осталась бы, но первые места достались бы скандинавскому и угро-финскому этносам.

Обилие самоубийств в скандинавских странах — прежде всего в Дании и Швеции — обращало на себя внимание еще в прошлом веке. Эта тенденция сохранялась более ста лет и перестала проявляться лишь в последние годы, когда суицидальная статистика по всем североевропейским странам более или менее выровнялась. Причины «скандинавского синдрома», уже ставшего достоянием истории, очевидно, имели вполне дюркгеймовскую природу. Основоположник суицидологии доказал, что «те классы общества легче расстанутся с жизнью, которым свободнее и легче жнвется». Сто лет назад самый высокий уровень самоубийств (72 на 100 000 населения) наблюдался среди рантье, предшественников нынешнего среднего класса. Скандинавские страны были первыми, где вступили в силу общественно-энтропические процессы, где средний класс раньше всего превратился в основную составляющую населения. А мы ведь уже выяснили, что общественное благополучие в сочетании с протестантской (или шире: индивидуалистически ориентированной) этикой являются мощным стимулятором суицидных процессов.

Гораздо труднее объяснить самоубийственные наклонности угро-финских народов. Венгры, эстонцы, финны, удмур-

ты, коми уже давно (а в некоторых случаях очень давно) живут в совершенно разных культурных, политических, экономических и религиозных координатах. Некоторые из этих народов и внешне-то совсем не похожи друг на друга. Но при этом, словно сговорившись, все они поддерживают уровень самоубийств примерно на одном уровне. Первое и второе места среди суицидных метрополий поочередно занимают то Венгрия, то Финляндия, а в прежнем СССР по этому мрачному показателю первенствовали Эстония, Коми АССР и Удмуртия, обгоняя монолитно-благополучную Армению в целых пятнадцать раз (столицей самоубийств в нашей тогда еще большой стране считался удмуртский город Устинов). Может быть, в генетической теории, которую я так решительно отверг в IV разделе, все-таки есть свой резон? Что кроме отдаленного родства и общего языкового корня связывает угро-финские народы? Что за мистическая нить самоуничтожения протянулась от Будапешта через Таллинн и Хельсинки к Воркуте и Ижевску?

У нас нет ответа на этот вопрос. Вот одно из истолкований, которое ничуть не хуже любого другого:

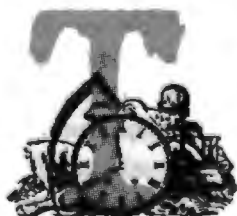
«Характерные черты венгерского народного мироощущения обычно видят в индивидуалистическом складе характера, в спокойной манере созерцания и выражения, в предметном воображении. Но ведь очевидны и такие черты, как безрассудное молодечество, как неистребимость народной мистики, как склонность к анархическим, разрушительным порывам; эти явления заставляют думать об огромных запасах неизрасходованной энергии, таящейся под спокойной поверхностью и ждущей подходящего исторического момента, чтобы со стихийной мощью вырваться на поверхность» (венгерский писатель Дёрдь Керестури).

Как мы увидим чуть позже, внешняя сдержанность, скрывающая подспудный заряд разрушительной энергии, — черта национального характера, присущая не только венграм, но и германцам и, в еще большей степени, японцам. Нагнетать давление в котле, не давая выхода пару, опасно — может произойти взрыв. Однако русские, кажется, чрезмерной сдержанностью не грешат? Что же с ними-то (то есть с нами-то) не так?

Самоубийство по-русски

*Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:
Ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.
Ни самого нагана. Видит Бог,
Чтоб застрелиться тут, не надо ничего.*

Леонид Аронзон



раектория русского суицида поражает своей причудливостью и непредсказуемостью. На протяжении истории кривая самоубийств то стелилась к самой абсциссе, то круто взмывала вверх, обгоняя самые «неблагополучные» страны. Изучение исторических событий и литературных произведений повергает в еще большее недоумение. Непонятно, как могли быть современниками «русский вертер» М.Сушков и самосжигавшиеся раскольники, как могли быть соотечественниками «дочь одного слишком известного русского эмигранта» и «кроткая, смиренная» швея из «Двух самоубийств» Достоевского. В этом паззле,

состоящем из чересчур уж *разнокультурных* фрагментов, общего контура никак не складывается. Точнее говоря, изображение словно двоится.

Так, может быть, все дело в том, что пазл таит не одну фигуру, а две?

Все фрагменты встанут на свои места, если вооружиться ленинской теорией о наличии во всяком этносе двух наций и двух культур. Насчет «всякого» Ленин, наверное, не прав, но в том, что касается России, он не ошибался. В этой стране действительно давно уже сосуществуют две нации — и не то чтобы бесконфликтно. Правда, население делится вовсе не по ленинскому принципу на богатых и бедных или эксплуататоров и эксплуатируемых. Незримая, но вполне реальная граница проходит через духовно-культурный комплекс, складывающийся из образования, воспитания, мировоззрения. Условное название двух российских наций: «народ» и «не-народ». Где-то на исходе XVIII столетия национальное тело России пережило нечто вроде клеточного деления — и с тех пор две несоразмерные части общества (их массы обратно пропорциональны вкладу в общенациональную культуру) стали существовать каждая по своим законам. О том, что именно приключилось с русской жизнью 200 лет назад, мы поговорим позднее, пока же попробуем дать определение двум составляющим нашей культуры.

С «народом» вроде бы ясно: «необразованные массы» (Добролюбов), «нижний слой государства» (Белинский), «чернь, простолюдые, низшие сословия» (Даль), «электорат» (эвфемизм новейшего времени). Но как определить «не-народ»? Видимо — никуда не денешься — придется использовать затасканный и мутный термин «интеллиген-

ция». Если принять дефиницию, предложенную Боборыкиным (*«Интеллигенция — разумная, образованная, умственно развитая часть жителей»*), становится ясно, что общего у просвещенного александровского аристократа, приват-доцента из поповичей и младшего научного сотрудника брежневской эпохи.

«Интеллигенция» и «народ» (оставим кавычки, чтобы обозначить авторское недовольство этими некорректными определениями) традиционно находились в ситуации неразделенной любви первой ко второму, что, в общем, естественно: душа может любить тело, к которому приписана, но телу на душу наплевать. С радищевских времен, то есть от самых своих истоков, «интеллигенция» была одержима бесом *народопоклонства* (Бердяев), хотела служить «народу», жертвовать ради него собой, возвышать его до своего уровня. «Народ» же жил своей жизнью. Очкастые слуги с их непрошеными жертвами ему были не нужны, а те из простолюдинов, кто попадал в тенета образования, со временем (уже во втором поколении) сами превращались в «интеллигентов» и перемещались из одной нации в другую. Слияния так и не произошло, невзирая на все социальные перевороты и совместно пройденные невзгоды. Сегодняшнее деление российского населения на две нации утратило всякие резоны и оттого обрело явственно мистическую подсветку. Но отнюдь не исчезло. Достаточно двум нашим соотечественникам взглянуть друг на друга и перекинуться парой фраз, чтобы стало ясно, кто из них «народ», а кто «не-народ», и при этом первый скорее всего проникнется ко второму спонтанной неприязнью, а второй ощутит некий трудновыразимый дискомфорт, знакомый всякому, кто мучился, пытаясь найти общий язык с сантехником. Этот дискомфорт, убедительнее всего демонстри-

рующей инакость двух культур, является несомненным атавизмом. Можно понять, почему совестился смотреть мужику в глаза прогрессивный помещик: он, тогдашний «интеллигент», был сыт, чисто одет и привилегирован, а мужик голоден, грязен и бесправен. Сословные комплексы современного кандидата наук (сына преподавателя истории КПСС и внука рабфаковки) могут быть объяснены лишь принадлежностью к иной культуре. В чем опять-таки главным образом виновато внеклассное чтение русской литературы.

Если рассмотреть обе российские нации в их историческом развитии с точки зрения суицидологии, то обнаружится, что «интеллигенция» с самого своего зарождения проявляла гораздо больше склонности к самоубийству, чем «народ». Это вполне соответствует суицидологическим законам: материальная устроенность (пусть даже в виде опрятной бедности), сочетаясь с вольномыслием, стимулирует рост самоубийств.

Однако нельзя сказать, чтобы и нашему «народу» суицидальное поведение было изначально чуждо. Существует несколько моделей типично «народного» самоубийства, а значит, должны быть и некие общие причины, которые следует искать в бесформенном и отчасти шарлатанском понятии, которое зовется «национальным характером». Не ставя себе сомнительную задачу дать исчерпывающую формулировку русского «народного» характера, все же попробуем найти те психокультурные характеристики, которые можно счесть суицидогенными.

Таких опасных качеств можно обнаружить по меньшей мере два, причем каждое из них представляет собой обратную сторону наиболее привлекательных национальных черт. «Решкой» душевной щедрости, размаха и

немелочности, которыми у нас так любят гордиться, является склонность к анархии и ослабленный инстинкт самосохранения.

Оборотная сторона отзывчивости и активной сострадательности — непонимание смысла приватности, а стало быть, неуважение к личности, как чужой, так и своей.

В сочетании (да еще при передозировке) эти национальные черты могут трансформироваться в мощный саморазрушительный импульс, проявляющийся в стихийном «луддизме» и безудержном пьянстве, которое само по себе уже является типом суицидального поведения и действительно во все времена несло ответственность за большинство российских самоубийств.

Прибавим к этому еще и слабое суицидосдерживающее воздействие православия. Эта государственная религия в постпетровские времена превратилась в деталь казенной машины, и влияние ее на жизнь «народа» было скорее формальным. Приверженность простолюдинов чисто внешней обрядности ввела русскую «интеллигенцию» в заблуждение, поспособствовав созданию мифа о «народе-богоносце». Если б это не было фикцией, советской атеистической пропаганде не удалось бы так быстро и эффективно разрушить именно в «народе» христианскую этику и вообще привычку к набожности. «По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! — писал Гоголю сердитый от сознания своей правоты Белинский. — Основы религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе кое-где. Он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать. Приглядитесь попристальней, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много су-

еверия, но нет и следа религиозности». Впрочем, насчет атеизма едва ли — скорее следовало бы говорить о неискорененном язычестве и общем недостатке интереса к тому, что находится за гранью земной жизни.

Единственный пример неистовой религиозности «народа» — история русских старообрядцев, да и она, как нам кажется, свидетельствует не о приверженности христианской догме (которая непримирима к любым формам самоистребления), а о консерватизме и лютой ненависти к казенщине и государственному насилию, то есть опять-таки о стихийном анархизме¹. В остальном же суицидальная статистика дореволюционной России следовала общеевропейским руслом: число самоубийств неуклонно увеличивалось на протяжении всего прошлого века, особенно в западных губерниях (где было много инородцев) и в больших городах. Однако Россия, наряду со столь же архаичной Испанией, числилась среди наиболее благополучных стран, в 10 с лишним раз отставая по уровню самоубийств от «передовой» Саксонии. В том самом 1876 году, когда Достоевский в «Дневнике писателя» забил тревогу по поводу захлестнувшей русские города эпидемии самоубийств среди молодежи, коэффициент самоубийств в Петербурге составлял всего 13,6², а в Париже — 35,9, в Дрездене — 36,5, в Лейпциге — 48,7.

В XX веке суицидная картина в России существенным образом трансформировалась. «Народный» суицид утратил религиозную составляющую и приобрел чисто бытовые черты: пьянство, нужда, неустроенность. Еще одна

¹ Из расчета на 100 000 населения.

² Трагедия раскола имеет самое непосредственное отношение к теме нашего исследования, поэтому я подробно рассматриваю этот сугубо национальный феномен в приложении к данному разделу.

отличительная черта нашего века — осуществление давней мечты русской «интеллигенции» об общей судьбе с «народом». Вчерашние философы и адвокаты трудились на каторге бок о бок со вчерашними «кулаками», а не в специально сооруженных острогах, как некогда декабристы. От телесных наказаний принадлежность к «культурному сословию» более не освобождала, охрана обращением на «вы» не баловала. Всё это до какой-то степени сблизило обе нации, но окончательного слияния так и не произошло.

В послереволюционный период развалилась одна классовая иерархия и на ее обломках возникла другая, бурно развивалась промышленность и росли мегаполисы, распался крестьянский уклад, составлявший основной пласт российской жизни, ослабел семейный институт, почти полностью утратила общественное влияние религия — то есть бурно развивались те самые социально-культурные процессы, которые, согласно Дюркгейму, неминуемо влекут за собой подъем уровня самоубийств. Так и произошло.

Как только закончилась гражданская война, новая Россия принялась стремительно догонять индустриальные страны по суицидным показателям. Самоубийства шли волнами: с введением НЭПа и первых номенклатурных привилегий стали стреляться твердокаменные большевики, убежденные, что революцию продали и предали; с отменой НЭПа начали вешаться «совбуры»; резко возросло количество бытовых самоубийств — убивали себя безработные, травились экзальтированные городские девицы («Маруся отравилась»). К 1934 году уровень самоубийств по сравнению с 1917 годом поднялся ровно вдвое (34 против 17), а в Москве почти втрое. В 1926 году советские самоубийцы чаще всего вешались

(49,7%); на втором месте было огнестрельное оружие — после Гражданской войны его в стране было много (23,9%); на третьем значилось отравление (14,6%); самое последнее место занимало падение с высоты — по причине всеобщей малоэтажности. Женщины предпочитали травиться, однако — следствие эмансипации — довольно часто пользовались пистолетом.

К концу двадцатых статистика самоубийств приобрела столь тревожный вид, что партия перевела ее в разряд секретных, а это означало, что достоверный учет вообще прекратился — местным властям не хотелось выделяться по «негативным» показателям, и в действие вступил стандартный советский механизм приписок и «уписок»: самоубийства регистрировались под видом несчастных случаев или естественных смертей. Обсуждение проблемы суицида в научной и массовой печати исключалось. Как сказано в предисловии к одной из советских брошюр по «девиантному поведению»: «Социализм поднял жизнь и счастье человека на уровень высшей ценности, объявив непримиримую борьбу со всем, что препятствует реализации этого принципа. В таких условиях самоубийство становится вне моральных норм общества».

Лишь в середине 80-х суицидная статистика вновь стала открытой. К тому же периоду относится и быстрый рост числа самоубийств, вызванный общим кризисом советского общества. К началу Перестройки СССР превратился в суицидную «сверхдержаву», достигнув коэффициента в 29,7 (в РСФСР — 38,7), что значительно превышало среднеевропейский и тем более среднемировой уровень. Оптимистичные общественные ожидания горбачевской поры сократили число самоубийств почти в полтора раза, но после того, как первона-

чальная эйфория истощилась, зловещая кривая вновь поползла вверх. Лишения 90-х годов привели к тому, что сегодня в мире больше всего самоубийц, говорящих (вернее, еще недавно говоривших) по-русски¹.

Приведем сведения Управления статистики населения Госкомстата РФ, учитывающие только завершенные и официально зарегистрированные самоубийства²:

	1992	1993	1994	1995	1996
Общее число	46125	56136	61886	60953	57812
на 100 тыс.:	31,0	38,13	42,1	41,4	39,3

Более четверти суицидентов — пожилые люди, главная жертва «шоковой терапии». Другие специфически российские «контингенты» — беженцы, заключенные, военнослужащие. 80% самоубийц — мужчины, что соответствует общемировой ситуации. Из способов по-прежнему в целом по стране лидирует самоповешение, затем идет самоотравление, применение холодного оружия, падение с высоты. По Москве картина выглядит совсем иначе. К примеру, вот опубликованные Московским суицидологическим центром данные за май 1995 года, когда в столице было совершено 372 попытки самоубийства (в большинстве своем, к счастью, неудачных). Зарегистрировано 236 случаев отравления, 92 случая вскрытия вен,

¹ Как всегда, за гигантскими скобками остается КНР. Китайская суицидная статистика противоречива и недостоверна.

² За несколько лет, миновавших после первого издания этой книги, ситуация в России несколько улучшилась вследствие постепенного смягчения анонимических потрясений, однако все еще остается тревожной. В 2003 году зарегистрировано более 51 тыс. случаев суицида.

12 самоповешений, 6 падений с высоты и 2 падения под транспорт. Разительное отличие от общероссийской структуры суицида объясняется не тем, что в столице больше аптек, а высокой концентрацией представителей «интеллигенции», которые предпочитают снотворное плебейской удавке. Отдельную статистику по «народу» и «интеллигенции» вести, разумеется, невозможно. А жаль, ибо разительное несходство наверняка проявилось бы не только по предпочитаемым способам самоубийства, но и по другим ключевым параметрам: мотивации, половой структуре, результативности, зависимости от социальных процессов, да и самому коэффициенту.

«Интеллигентская» линия в российском суициде обозначилась с конца восемнадцатого века, когда в России появилось это качественно новое сословие, столь упорно не поддающееся дефиниции. Попробуем все же определить его основной видоопределяющий компонент. Дело явно не в «европейскости» — русские дворяне начали европеизироваться еще за сто лет до этого. Пожалуй, и не в какой-то особенной образованности, хотя она несомненно укрепляет и развивает «интеллигентность». Даже — возразим Бобрыкину — не в разумности и умственной развитости (Фаддей Булгарин, например, был очень даже неглуп, а IQ Сталина, надо полагать, и вовсе был феноменален). Так в чем же дело? Что это за таинственный небιологический ген, некогда разделивший русское общество надвое?

Пожалуй, я согласен с теми, кто утверждает, что «интеллигенция» — это не столько сословие, сколько духовное состояние. И суть этого состояния очень проста, определяется понятием «уважение к личности». Прежде всего, разумеется, к своей собственной — то есть, в чув-

стве собственного достоинства. Но сохранять собственное достоинство можно только тогда, когда не покушаешься на достоинство других людей. И уважать свою личность можно, только если с уважением относишься к другой личности. Всё это, конечно, прописные истины, но ведь мы искали основу, принципиальную формулу, а она и не бывает чересчур мудреной.

Дворянство было первым русским сословием, которое перестали пороть, и в лучших представителях этого класса немедленно утнездились то самое, неудобное для выживания, но неистребимое качество, которое и составляет сухой остаток «интеллигентности». В ее основе — чувство независимости и внутренней свободы. А за свободу, как известно, нужно платить, в том числе и самой дорогой ценой — жизнью. При Анне или Елисавете русскому дворянину и в голову бы не пришло накладывать на себя руки из-за такой ерунды, как десяток-другой «горячих» — а в XIX столетии для «интеллигента» одной угрозы физического воздействия было достаточно, чтобы предпочесть смерть. Дворяне из варшавского гарнизона, которые в 1816 году устроили весьма своеобразную обструкцию великому князю Константину Павловичу (он оскорбил двоих офицеров, и в знак протеста семеро их однопольчан покончили с собой), еще не знали, что они «интеллигенты», и, вероятно, думали, что отстаивают шляхетскую честь. Но шляхетской чести не бывает, есть просто честь — и бесчестье. Годом ранее все тот же Константин замахнулся на конногвардейского поручика, но тот остановил руку великого князя, дерзко воскликнув: «Охолонитесь, ваше высочество!» Никогда больше член царского дома и вообще начальник не осмеливался поднимать руку — нет, не на офицера или дворянина, — а на

любого человека, который держался с чувством собственного достоинства (номенклатурные работники всех времен таких опознают сразу и, хоть не любят, но уважают). К сожалению, мы плохо помним имена тех наших соотечественников, кто заплатил жизнью сначала за становление, а потом, в постсталинскую эпоху, за реставрацию русской «интеллигенции».

Первым русским писателем новой породы был Александр Радищев. «Уязвленный» в самую душу тем, что никого прежде в России не уязвляло, — попиранием человеческого достоинства, — он упорствовал в своем чувстве и заплатил за него по полной программе: сумой, тюрьмой и самоубийством.

Короткое стихотворение, сочиненное Радищевым по дороге в Сибирь, можно назвать первым «интеллигентским» манифестом:

*Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я то же, что и был, и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах.
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду.*

Помните ли вы, как Радищев умер?

Привлеченный к законодательской деятельности в самый розовый период царствования Александра Благословенного, писатель захотел невозможного — отмены крепостного права, телесных наказаний и привилегий. Председатель комиссии граф Завадовский разгневался и пригрозил мечтателю повторной Сибирью. Мы еще пого-

ворим о так называемом «концлагерном синдроме», который в XX веке довел до самоубийства целую плеяду писателей, прошедших через все крути земного ада и годы спустя погубленных страшными воспоминаниями (Тадеуш Боровский, Примо Леви, Пауль Целан и другие). Для Радищева оказалось достаточно одной угрозы повторного унижения. Он занервничал, стал всем говорить, что «до него добираются», и уже не мог думать ни о чем другом. Наутро, приняв лекарство от нервов, Радищев вдруг «схватывает большой стакан с крепкой водкой, приготовленную для вытравления мишуры поношенных эполет старшего его сына, и выпивает разом» (цитируется по П.Радищеву). Этого ему показалось мало, и он схватил бритву, чтобы зарезаться, но сын успел остановить его руку. «Я буду долго мучиться», — сказал на это писатель. Приехавший лейб-медик Виллье ничего не мог сделать, и после нескольких часов тяжких страданий Радищев скончался, открыв длинный мартиролог русских писателей-самоубийц.

Впрочем, это не совсем верно. Первым был уже упоминавшийся 17-летний помещик М.Сушков (1775—1792), автор повести «Российский Вертер». К началу 90-х годов «вертеровское поветрие» наконец докатилось до России. Молодая генерация дворянского сословия впервые в русской истории обнаружила склонность к рефлексии, свидетельствующую об усложнении общественного духовного организма. Плоды европейского Просвещения, отголоски американской и французской революций заронили в умы образованной молодежи новые чаяния — не о доходном месте и придворном «случае», а об античных образцах гражданской доблести и философском идеале. И образцы, и идеал оказались настолько далеки от россий-

ской действительности, что многие из числа особенно прекраснотушных не вынесли этого контраста и потянулись к кремневому пистолету, романтизированному выстрелом Вертера. Юный Сушков отпустил на волю своих крепостных, написал пространное философское письмо в стиле излияний гётевского героя и застрелился. Ю.Лотман в «Беседах о русской культуре» приводит также выдержки из предсмертного послания другого самоубийцы, ярославского помещика Ивана Опочинина. Как и подобало эпохе эпистолярных романов и витиеватых писем, этот документ весьма многословен и цветист:

«Смерть есть не что иное, как прехождение из бытия в совершенное уничтожение. Мой ум довольно постигает, что человек имеет существование движением натуры, его животворящей; и коль скоро рессоры в нем откажутся от своего действия, то он, верно, обращается в ничто... Несколько частиц пороху через самое малое время истребят сию движущуюся машину, которую самолюбивые и суеверные мои современники называют бессмертною душою!»

Отнестись к этому наивно-рассудительному сочинению всерьез заставляет лишь одно обстоятельство: дописав его, автор отложил гусиное перо и пустил себе пулю в лоб, тем самым доказав, что не кокетствует. Письма Н.Бантыш-Каменского А.Куракину, процитированные там же, дают яркое представление о масштабах эпидемии, охватившей ровесников Андрея Болконского: «Писал ли я к вам, что еще один молодец, сын сенатора Вырубова, приставив себе в рот пистолет, лишил себя жизни? Сие происходило в начале сего месяца, кажется: плоды знакомства с Аглицким народом» (29 сентября 1792 г.); «Какой несчастный отец сенатор Вырубов: вче-

ра другой сын, артиллерии офицер, застрелился. В два месяца два сына толь постыдно кончили жизнь свою. Опасно, чтобы сия Аглинская болезнь не вошла в моду у нас» (27 октября 1792 г.).

Мода на самоубийства наведывалась в русское дореволюционное общество еще по меньшей мере дважды.

Сначала — в семидесятые годы XIX века, когда столицы и большие города империи были потрясены обилием самоубийств среди молодежи. «И, право, самоубийства у нас до того в последнее время усилились, что никто уж и не говорит о них, — пишет в «Дневнике писателя» Достоевский и далее в ужасе взывает: — Милые, добрые, честные (все это есть у вас!), куда же это вы уходите, отчего вам так мила стала эта темная, глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце, распустились деревья, а вы устали не живши».

Современная суицидология пояснила бы Федору Михайловичу, что пик самоубийств приходится как раз на то время года, когда в небе сияет весеннее солнце, с особенной безжалостностью высвечивающее несовершенство и уродства человеческого мира. Роль солнца в весенние 60-е и 70-е годы сыграли либеральные реформы. Как и первая «вертеровская» эпидемия, всплеск самоубийств был нормальной реакцией «интеллигентской» молодежи на приток кислорода, хлынувшего в русское общество после окончания жесткого николаевского царствования. Жизнь страны стремительно менялась, возникали новые общественные институты, новые законы, Россия вступала в недолгий, всего-то полувековой, период своей «европейской» истории. «Интеллигенция» впервые начинает играть важную, чуть ли не ведущую роль в обществе; самоуважение и чувство достоинства из экзотической при-

вилегии горстки дворян превращались в норму жизни — во всяком случае для образованного сословия, которое многократно возросло, вобрав в свои ряды разночинцев и наиболее толковых «кухаркиных детей». «Истребление себя есть вещь серьезная, несмотря на какой бы там ни было шик, а эпидемическое истребление себя, возрастающее в интеллигентных классах, есть слишком серьезная вещь, стоящая неустанного наблюдения и изучения», — писал Достоевский, видевший истинную причину бедствия в «реализме», то есть разрушении религиозного сознания и религиозной этики. Но я уже пытался доказать, что процесс этот не так губителен, как представлялось писателю: одна этическая основа, зиждящаяся на вере, сменяется другой, построенной на разуме. Потери при этом болезненном (но, как мне представляется, необходимом) переходе неизбежны: утрата веры и чрезмерное упование на разум свело в преждевременную могилу многих «интеллигентов», особенно из числа молодых максималистов.

Однако нельзя сводить причины той суицидной эпидемии к одной лишь экзистенциальной переориентации. Сыграл свою роль и классический дюркгеймовский фактор — аномия. В результате отмены крепостничества и последующих реформ устоявшийся уклад жизни традиционных сословий нарушился, значительные группы населения пережили резкое изменение социального и имущественного статуса. Наибольшее число самоубийств было в двух движущихся навстречу потоках — опускающемся и поднимающемся. К первому относились отпрыски разоряющегося дворянства, обитатели будущего «вишневого сада»; их воспитание, привычки, материальные запросы не соответствовали новым условиям существования. Не меньшую суицидальную опасность представляла и

ситуация, в которой оказались дети крестьян и мещан, получившие доступ к образованию (или хотя бы чтению), но по недостатку средств вынужденные вести «неблагодарный» образ жизни. Трагедию несоответствия возросших духовных запросов низкому социальному статусу описал еще Карамзин в «Письмах русского путешественника»: в его бытность в Париже там застрелился начитанный слуга, «жертва мечтательных умствований». «Он ненавидел свое низкое состояние, — пишет Карамзин, — и в самом деле был выше его как разумом, так и нежным чувством».

Русская «интеллигенция», и в особенности образованная молодежь, наиболее восприимчивая к переменам, заряжалась злой, разрушительной энергией. Шестидесятые и семидесятые годы дали толчок подъему политического, идеологического, этического радикализма. Новая «интеллигенция» становилась агрессивной и, как сказали бы сегодня, социально опасной. У более энергичных и витальных молодых людей агрессия адресовалась истеблишменту, приводя их в стан революционеров; у меланхоличных и склонных к интроверсии агрессия обращалась на самих себя, что, как мы знаем из психоанализа, чревато суицидом. Однако и «активная» часть молодежи вносила свою лепту в суицидную статистику. В конце XIX и начале XX века революционная «интеллигенция» взяла на вооружение раскольническую тактику альтруистического самоубийства. По тюрьмам, этапам и каторгам периодически прокатывались волны протестных самоубийств, подчас крайне жестоких и иногда не очень-то мотивированных. Другая, более эффектная разновидность альтруистического самоубийства — теракт, в ходе которого революционер жертвует собственной жизнью,

причем иногда немедленно, не дожидаясь суда и эшафота. Народолюбец Гриневецкий, подорвавший себя вместе с Александром Освободителем; эсер Каляев, бросивший бомбу между собой и великим князем Сергеем Александровичем (правда, бомбист не умер от ран, а был подлечен и уже потом повешен); анархисты, взорвавшие дачу Столыпина на Аптекарском острове, — вот лишь самые громкие из убийств/самоубийств этого типа. Революционная часть «интеллигенции» превратила себя в некое подобие бикфордова шнура, который, фыркая и сыпя искрами, горел долго, целых полвека (если считать от выстрела Каракозова), но сумел-таки воспламенить инертную «народную» массу. Взрыв грянул такой мощи, что «интеллигенцию» смело с русской почвы, а новый культурный слой накопился нескоро и оказался куда более рыхлым.

Строго говоря, суицидный подъем семидесятых годов прошлого века — это не бум и не мода, а начало тенденции, которая уже не пресекалась вплоть до революции. Просто суицид довольно скоро «вошел в норму» и перестал шокировать общественность. Во всяком случае до того момента, пока не обозначился новый всплеск, явно не укладывающийся в рамки «нормы» — до духовного кризиса 1907—1914 годов. И опять, как во времена Достоевского, болезнь прежде всего поразила образованную, эмоционально восприимчивую молодежь.

Этому предшествовала череда потрясений: беспрецедентное унижение национального достоинства в японской войне, крах «интеллигентской» революции, невиданное со времен Николая I «завинчивание гаек» всей расшатавшейся системы самодержавия. Жертвенное служение «народу» было (во всяком случае, временно) дис-

кредитировано, коллективизм себя не оправдал, настала пора последнего, лихорадочного всплеска индивидуализма. То было прощальное цветение старого, умирающего «вишневого сада», одновременно красивое и страшное. Эстетствующим юнцам и декадентствующим девицам цена собственной жизни была в двугривенный. Никогда — ни до, ни после — за такой короткий срок в России не уходили добровольно из жизни столько молодых литераторов: 27-летний Виктор Гофман, 32-летний Иван Игнатьев, 22-летний Всеволод Князев, 33-летний Василий Комаровский, 30-летний Алексей Лозина-Лозинский, 22-летняя Надежда Львова, 31-летний Муни, 28-летняя Анна Мар. Престиж литературы и писательства в России был так велик, что новоявленные вертеры, стрелявшиеся и вешавшиеся в Петербурге, Москве, Варшаве, испытывали потребность в своем Гёте — и подчас сами «назначали» кого-то из маститых на эту почетную, но неуютную должность. Петербургское суицидное поветрие среди студенчества связывали с именем поэта Александра Добролюбова. Во всероссийском же масштабе за духовного «вождя» самоубийц почитался Леонид Андреев, и в самом деле зачарованный темой смерти, однако никоим образом не повинный в суицидном безумии, охватившем «интеллигентскую» молодежь. К. Чуковский пишет: «В страшные послереволюционные годы (1907—1910), когда в России свирепствовала волна самоубийств, Андреев против воли стал вождем и апостолом уходящих из жизни. Они чуяли в нем своего. Помню, он показывал мне целую коллекцию предсмертных записок, адресованных ему самоубийцами. Очевидно, у тех установился обычай: прежде чем покончить с собой, послать письмо Леониду Андрееву». Газеты полны слухами о тайных суи-

цидных клубах, которые называются «Любовники смерти» или «Лига самоубийц». В 1911 году по поручению министерства просвещения профессор Незнамов провел исследование 153 самоубийств гимназистов и студентов и доложил, что «причиной самоубийства, большею частью, были утомление жизнью, неврастения, меланхолия и тоска».

Со временем российская пресса устала ужасаться каждодневным трагедиям и начала пошучивать по поводу охватившей российское общество самоистребительной истерии. В 1913 году газета «Новое время» печатает шутовское интервью с председателем «Лиги самоубийц» — вольность, которая еще несколько лет назад была бы сочтена дурновкусием, если не кощунством. Модный роман Арцыбашева «У последней черты», в котором чуть ли не все персонажи накладывают на себя руки, вызывает у критиков не только сетования, но и насмешки по поводу суицидной истерии, охватившей русское общество. «За гробом корнета Краузе идут всего двое: лошадь покойного и студент Чиж, — пародирует Арцыбашева фельетонист «Русского слова». — Это все, что осталось от населения города. Все покончили самоубийством. Дома саморазвалились. Улицы саморазрушились. Даже винокуренный завод — единственное просветительское учреждение в городе — не выдержал и в одну темную ночь повесился на собственной трубе».

Конец эпидемии положила мировая война, за которой последовала революция, за которой последовала гражданская война, за которой последовал чекистский террор, за которым... Необходимость самостоятельно сводить счеты с жизнью отпала. Об этом написала Ахматова в «Поэме без героя», вспоминая юного корнета Князева, которому в любом случае вряд ли был сужден долгий век:

Сколько гибелей шло к поэту,
Глупый мальчик: он выбрал эту, —
Первых он не стерпел обид,
Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид...

После революции русская «интеллигенция» (вернее, ее не истребленный и не эмигрировавший остаток), уже вне зависимости от желания отдельных представителей, была вовлечена в общенародную жизнь и попала в полную зависимость от политических макропроцессов. Тогда-то и началась подлинная трагедия русского писателя, которому пришлось очень дорого платить за заблуждения и души прекрасные порывы своих предшественников, — да во многих случаях и за свои собственные.

Главным фактором, толкавшим русских литераторов к суициду, была политика — это явствует из самого беглого просмотра биографических статей «Энциклопедии литературного суицида». Там описаны по меньшей мере два десятка самоубийств, так или иначе связанных с размахистой работой государственно-политической мельницы. И это не считая казненных, убитых в лагерях и застенках, до смерти затравленных и сведенных с ума. На общем трагическом фоне российской истории судьба русского литератора трагична в квадрате.

По логике повествования теперь следовало бы в качестве иллюстрации выбрать одну, наиболее символическую писательскую судьбу и остановиться на ней чуть подробнее. Выбор *типических* горестных финалов так велик, что в конце концов я решил пойти иным путем — взять случай *нетипический* и с политикой отнюдь не

связанный, но, как мне почему-то кажется, оттого еще более наглядный.

Лучезарного Афанасия Фета, которого Владислав Ходасевич назвал «образчиком счастливого русского писателя», вы не обнаружите в «Энциклопедии литературицида», однако его смерть трудно назвать безмятежной. Вот как описывает ее Борис Садовский в статье «А.А.Фет».

Заболев и чувствуя приближение конца, 72-летний поэт отослал из дома под надуманным предлогом горячо любившую его жену, а сам продиктовал секретарше записку следующего содержания: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному», после чего схватил острый нож для разрезания бумаг и хотел заколоться. Секретарша вцепилась в руку ослабевшего от болезни Фета и отобрала у него нож. «Тогда больной пустился быстро бежать по комнатам, преследуемый госпожой Ф. [секретаршей. — Г.Ч.]. Последняя изо всех сил звонила, призывая на помощь, но никто не шел. В столовой, подбежав к шифоньерке, где хранились столовые ножи, Фет попытался тщетно открыть дверцу, потом вдруг, часто задышав, упал на стул со словом «черт!». Тут глаза его широко раскрылись, будто увидав что-то страшное; правая рука двинулась приподняться как бы для крестного знамения и тотчас же опустилась. Он умер в полном сознании».

Этот рассказ примечателен во многих отношениях, в том числе и религиозном. Перед самым лицом смерти писатель, гордый человек, хочет избежать унижения предсмертных мук и уйти из жизни сам. Последнее слово, которое он произносит, — призыв Нечистого, который незамедлительно появляется собственной персоной, при виде его грешник ужасается, хочет вернуться к Господу — перекреститься. У него недостает сил осенить себя кре-

ственным знамением, но для Бога довольно и намерения. Всевышний прощает бедного поэта и милосердно избавляет его от преступления, даровав смерть. Поучительная и поистине символическая кончина. (Надеемся только, что госпожа Ф. не приукрасила ее в пересказе.)

Если этак окончил свою жизнь «образчик» русского писательского счастья, то что уж говорить о прочих, не столь обласканных судьбой?

Трудно быть в России «интеллигентом», еще труднее — литератором. Так, во всяком случае, было в течение двух веков. Но в 90-е годы XX века, на исходе тысячелетия, карма русской «интеллигенции», кажется, начинает меняться.

Впервые за всю историю страны писатель перестает быть общественной фигурой, *приватизируется* — в том смысле, что превращается в частное лицо. Литература более не восседает на троне всеобщей любви и не томится в застенке государственной ненависти, она стала сугубо личным делом. Россия уже не «самая читающая в мире страна», где Платонов и Кобо Абэ раскупались сотнями тысяч экземпляров, а высоколобые литературные журналы вели счет подписчиков на миллионы. Сегодня считается грандиозным успехом, если расхваленный критикой и увенчанный премиями интеллектуальный роман разоидется тиражом в двадцать—тридцать тысяч. Писатели с непривычки оскорблены подобным остракизмом, они привыкли к крайностям: или ссылка и самиздат, или уж влияние, слава и деньги.

Видимо, эта дихотомия ушла в прошлое и больше не вернется. Что ж, для писателя так здоровее и безопаснее. Может быть, не за горами и та эпоха, когда обе российские «нации», наконец, сольются в одну.

Да и пора бы уж.

Самоубийство по-немецки

Немцы обожают смерть. Почитайте-ка их литературу, и вы увидите: на самом деле они любят только смерть.

Жорж Клемансо



то германофобское высказывание, к тому же произнесенное политическим лидером в период ожесточенной конфронтации, ценно лишь в одном смысле — призывает к чтению великой литературы. Разумеется, немцы, как и все прочие народы, никакой симпатии к смерти не испытывают. Однако соседям германский гений отчего-то видится сумрачным: насупленные брови Бетховена, тяжелая величественность Гёте и гениальное сумасбродство Ницше заслоняют светлую легкость Моцарта и жизнерадостность Гейне. Прежде чем попробовать выделить типические национальные черты, ответственные за «трагическую» репутацию немецкой культуры, оговоримся: я далек от намерения объединять все германофонные племена в одну нацию. Это не удалось ни кайзерам, ни фюреру, так что не стоит и пытаться. У германского этноса, живущего в трех центральноевропейских странах, нет никаких формальных признаков единства — ни государственного, ни религиозного, ни даже исторического. Только язык, только фольклор, только литература.

«Только»? Этого вполне достаточно для того, чтобы у пруссаков, саксонцев, баварцев, австрийцев, немецкоязычных швейцарцев, швабов сложился единый набор культу-

рообразующих элементов, которыми в конечном итоге и определяются стереотипические особенности этноса.

Теперь, предупредив читателя о том, что под «немцами» я имею в виду не только жителей ФРГ, зададимся вопросом: как вышло, что обитатели германского культурного пространства попали в печальный Пятый раздел нашей книги? Почему в мировом мартирологе литераторов-самоубийц больше всего тех, кто писал по-немецки?

Еще Дюркгейм, весьма отрицательно относившийся к «национальной» теории суицида, был вынужден признать: «У народов немецкой расы предрасположение к самоубийству развито больше, чем у большинства людей, принадлежащих к кельто-романскому, славянскому и даже англосаксонскому и скандинавскому обществам». В XIX веке это пагубное «предрасположение» казалось несомненным: уровень самоубийств в протестантских областях Германии был самым высоким в мире, а суицидной столицей Европы считался Лейпциг.

Явление это, впрочем, оказалось временным и было вызвано аномическими процессами, происходившими в империи после объединения. В наши дни коэффициент самоубийств в Германии, Австрии и Швейцарии (соответственно 21, 24, 25) ненамного превышает среднеевропейский (18).

Но все же превышает. Почему?

Некоторые из этих суицидогенных причин нам уже встречались. Во-первых, немецкой культуре чужд пнети́зм, склонность к мистическому благочестию, без которой не бывает истинной религиозности. Ницше писал: «Мы, жители Севера, несомненно происходим от варварских рас, что видно даже и по нашей способности к религии: мы плохо одарены ею». Не будем забывать, что

именно в Германии зародился протестантизм, положивший конец духовному единству Западного мира.

Вторая причина нам тоже знакома. Пресловутая немецкая дисциплинированность и культ *орднунга*, как любая чрезмерность, чреватые сбоями и срывами в свою противоположность — к хаосу, бунту, разрушительному смерчу. Гитлер, хорошо знавший психологию своих соотечественников и оттого виртуозно умевший ею манипулировать, называл немцев «нацией сомнамбул»: живут, как во сне, но уж если проснутся... Что происходило, когда немцы «просыпались», мы все помним — они не жалели ни других, ни себя.

Немецкой психокультурной модели явно не хватает чувства меры. Как и русской — но на другой лад. Немецкий радикализм более последователен и настойчив, он не только хочет «дойти до самой сути», но не останавливается на достигнутом, идет дальше, куда и не следовало бы. Я уже писал, что дефицит чувства меры напрямую связан с ослабленным инстинктом самосохранения, а при главной немецкой добродетели *Fleiss*¹ это вдвойне опасно. Особенно для мыслителей и художников. «Немецкая страсть в духовных вещах» (выражение Ницше) способна довести до экстремизма, сумасшествия, самоуничтожения.

Одна из героинь вольтеровского «Кандида» рассказывает как о диковине о некоем ученом немце, наложившем на себя руки в 1735 году, когда самоубийства еще считались экзотикой: «...В странах, через кои провела меня судьба, я видела множество людей, ненавидящих свое существование; но лишь дюжину таких, кто добровольно положил конец своим несчастьям: трех негров, четырех

¹ Прилежание, усердие (нем.)

англичан, четырех женевцев и немецкого профессора по имени Робек». Профессор философии Иоганн Робек написал трактат в защиту самоубийства, раздал свое имущество бедным и утопился в реке Везер, ибо по-немецки теория требует немедленного претворения в жизнь (или в данном случае в смерть).

Что такое «чисто русское самоубийство»? Допившись до потери человеческого облика, перепилить себе горло тупым ножиком среди мусорных куч, как это сделал Николай Успенский.

Что такое «чисто немецкое самоубийство»? Это когда серьезный, подающий большие надежды молодой философ по имени Филипп Батц (1841—1876) чрезмерно увлекается Шопенгауэром, издает блестящую книгу «Философия отречения» и немедленно воплощает свои теоретические выкладки на практике — перерезает себе горло идеально острой золингенской бритвой. «...Я вспоминаю о трагическом Филиппе Батце, известном в истории философии под именем Филиппа Майнлендера, — пишет в новелле «Биатанатос» Борхес. — Как и я, он был пылким почитателем Шопенгауэра. Под его влиянием (а также влиянием гностиков) я вообразил, что мы — частицы какого-то Бога, который уничтожил себя в начале времен, ибо жаждал стяжать небытие. Всемирная история — мрачная агония этих частиц». Но аргентинца Борхеса эта трагически-величественная концепция к самоубийству не подтолкнула (хоть и заставила о нем задуматься), а немецкого философа побудила к незамедлительному и бесповоротному действию.

Как тревожился Достоевский, что немецкий философский максимализм перекинется на разудалую русскую рав-

нину и примет характер всеобщего нигилистического безумия! Однако последователи Майнлендера — за исключением одного-двух экзотических случаев — обнаружались лишь в романах самого Достоевского: Крафт, Кириллов, тем же закончил бы, вероятно, и Иван Карамазов, если б не сошел с ума, предвосхитив путь Фридриха Ницше. Не литературным, а реальным русским людям «философские» самоубийства в духе Робека и Кириллова не свойственны. Во всяком случае, среди литераторов (включая сюда и философов) нам подобные случаи неизвестны. Очевидно, русским не хватает *Fleiss*, чтобы логически дойти до самого конца. А возможно и другое — на помощь приходит великий спаситель и модератор, имя которому самоирония.

Русскому человеку и тем более русскому писателю быть очень уж серьезным совестно. У нас отсутствие чувства юмора считается пороком или, во всяком случае, недостатком. Немец же (не отдельный немец, который может быть сколь угодно остроумен, а Немец) серьезен и не мешает в одну кучу дело с потехой: есть время писать философский трактат и есть время от души похохотать. Слово *unserios* обозначает очень несимпатичное качество: не просто «несерьезный», а «ненадежный, несолидный, не заслуживающий доверия». Только тот, кто *unserios*, поняв, что жизнь лишена смысла, может пожалть плечами и жить себе дальше. Солидный человек должен сделать для себя соответствующий вывод. Фридриха Ницше, сбросившего с себя немецкую сдержанность (но оттого не переставшего быть по-немецки, т.е. саморазрушительно, последовательным), крайне раздражала в соотечественниках эта тяжеловесная и небезопасная черта. Правда, Ницше был склонен винить во всем немецкий

национальный напиток: «Сколько угрюмой тяжести, вялости, сырости, халата, сколько *пива* в немецкой интеллигенции!» Но я не готов типологизировать национальные характеры по принципу излюбленного напитка, поэтому ограничусь констатацией общеизвестной аксиомы: без юмора жить на свете (и выжить) тяжелее.

Итак, суицидент немецкого типа у нас получился педантом со сдержанной миной на лице и бушующим вулканом в груди. Поможет ли нам эта карикатура понять, почему в «Энциклопедии литературицида» целых полсотни немецких имен?

Если и поможет, то совсем немного. Исчерпывайся анамнез этого смертельного недуга лишь суицидогенными чертами германского характера, вряд ли число самоубийц в немецкой словесности так заметно превышало бы соответствующий мартиролог какой-нибудь другой великой литературы — скажем, итальянской или американской.

Главную причину, как и в случае с русской литературой, следует искать в истории. Только если в России губительный циклон, располагавший «интеллигента» и прежде всего писателя к мыслям о самоубийстве, являлся более или менее постоянной особенностью общественно-политического климата, то в немецком регионе ураган бушевал всего 12 лет — с 1933 года до 1945-го. Правда, буря была такой силы и интенсивности, что выкосила литературу чуть ли не под самый корень. Писатели погибали не на фронте, с оружием в руках, — они убивали себя сами. Жатва, собранная в те годы на ниве немецкой литературы суицидом, поистине беспрецедентна. Лишь немецкоязычная Швейцария, которую не затронуло безумие тридцатых и сороковых годов, выделяется на общегерманском пространстве оазисом благополучия. Прав был

Карамзин, восклицая: «Щастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое щастие, живучи в объятиях прелестной природы, под благодетельными законами братского союза?»

Зато писатели Германии и Австрии, оказавшиеся современниками пробуждения немецкой сомнамбулы и увидевшие немецкий бунт (в отличие от русского, осмысленный и оттого еще более беспощадный), размещены по страницам «Энциклопедии» очень плотно.

Они подразделяются на две неравные и неравнозначные группы. В одной, немногочисленной, те литераторы, кто выступил на стороне преступного государства, и убил себя, когда система, которой они служили, потерпела крах. Имен первого ряда здесь нет. Среди самых известных — фольклорист и автор патриотических баллад Бёррис фон Мюнхаузен (1874—1945) и обласканный нацистами поэт Йозеф Вайнхебер (1892—1945). Были самоубийцы и среди литераторов-коллаборационистов других европейских стран, однако сегодня из их числа вспоминают разве что Пьера Дрие ла Рошеля. Они ушли из жизни, чтобы избежать унижения, выпавшего на долю Гамсуна и Ээры Паунда.

Это жертвы, придавленные обломками развалившейся тоталитарной машины. Пока же эта машина функционировала и грохотала железом, под ее гусеницами гибли литераторы противоположного лагеря — отторгнутые своим народом и гонимые, чьи книги сгорели в кострах.

Одни убили себя, страшась попасть в руки гестапо, как Эгон Фридель (1878—1938), Эрнст Вайс (1884—1940), Вальтер Беньямин (1892—1940), Карл Эйнштейн (1885—1940), Вальтер Газенклевер (1890—1940), Рудольф Хильфердинг (1877—1941), Йохан Клеппер (1903—1942).

Другие не выдержали изгнания или утратили надежду, что безумие, охватившее их народ, когда-нибудь закончится: Макс Альсберг (1877—1933), Курт Тухольский (1890—1935), Йозеф Рот (1894—1939), Эрнст Толлер (1893—1939), Стефан Цвейг (1881—1942), Эдгар Цильсель (1891—1944).

Третьих война не убила, а смертельно ранила им душу, доведя до самоубийства месяцы, годы, а то и десятилетия спустя: Альфред Вольфенштейн (1888—1945), Бальдер Ольден (1882—1949), Клаус Манн (1906—1949), Пауль Целан (1920—1970), Жан Амери (1912—1978).

Тут почти половина всего нашего немецкого «контингента». Особенности национального характера в их смерти неповинны. Конфессиональные различия тоже значения не имеют — в этом перечне есть и католики, и протестанты, и иудеи, и атеисты.

Просто эти писатели оказались недостаточно живучи, чтобы выжить в мире, где оказался возможен фашизм.

Самоубийство по-английски

*Самоубийство! О недуг постыдный,
На остров сей навлекший
Соседей порицанье.*

Роберт Блэйр. «Могилы» (1743)



ловеще-романтическая слава «острова самоубийств», некогда витавшая над Альбионом, осталась в прошлом. Лишь застарелым национальным комплексом да пресловутым британским консерватизмом можно объяснить то, что Соединенное Королевство самым последним из западных государств отменило уголовное преследование за попытку самоубийства — это произошло только в 1961 году, когда «Закон о суициде» давно уже был вопиющим анахронизмом. По случайному, но эффектному совпадению с того же момента английская статистика самоубийств, и без того не достигавшая среднеевропейского уровня, опустилась еще ниже, и, начиная с 60-х, Великобритания считается одной из самых суицидно благополучных стран Запада. В Европе по коэффициенту самоубийств Британия занимает тихое двадцатое место; лучше дела обстоят только в католических странах да Греции. В шестидесятые спад произошел по очень простой причине: именно в те годы в английских кухнях перешли с коксового газа на природный. Первый богат оксидом углерода, вызывающим отравление и удушье. Излюбленным методом самоубийства в Англии с конца XIX века было сунуть го-

лову в духовку — просто, доступно и освящено традицией. Природным же газом отравиться нельзя — только взорваться, а это противоречит британской традиции *understatement*¹, да к тому же еще посягает на *privacy*² соседей, что вообще недопустимо. Как сказал о своих соотечественниках остроумец Сирил Коннолли: «Многие не кончают с собой, дабы не вызвать неодобрения соседей».

В результате этого коммунального нововведения коэффициент самоубийств в Британии уменьшился на треть — и это на фоне экономической депрессии и общеевропейского суицидного всплеска. Недостаток фантазии, которым, по мнению более темпераментных народов, страдают британцы, на сей раз оказался явным благом.

Итак, знаменитая «англинская болезнь», о которой мы столько читали в русской классической литературе, стала фактом истории. В свое время одним из первых это понятие ввел в европейский обиход Монтескье: «Мы видим, что римляне никогда не убивали себя без причины; англичане же умерщвляют себя необъяснимо, нередко в разгар счастья. У римлян этот акт был следствием образования, связанный с их принципами и обычаями; у англичан же он вызван скверным нравом. Возможно, это осложнение от цинги». Дальнейшее развитие диетическая гипотеза происхождения «англинской болезни» получила у Карамзина, который в 1790 году писал из Лондона: «Англичане не любят никакой зелени, рост-биф, биф-стекс есть их обыкновенная пища. От этого густеет в них кровь; от этого

¹ Сдержанность в высказываниях и выражении чувств

² Приватность, частная жизнь

делаются они флегматиками, меланхоликами, несносными для самих себя, и нередко самоубийцами. К сей физической причине их сплина можно прибавить еще две другие: вечный туман от моря и вечный дым от угольев, который облаками носится здесь над городами и деревнями». В «Письмах русского путешественника» приводится история лорда О., который был «молод, хорош, богат, но с самого младенчества носил на лице своем печать меланхолии». Однажды лорд О. повел свою юную супругу, «знатную и любезную девицу», прогуляться в парк и сказал ей: *«Я мучил тебя; сердце мое, мертвое для всех радостей, не чувствует цены твоей: мне должно умереть — прости!»* В самую сию минуту несчастный лорд прострелил себе голову и упал мертвый к ногам оцепеневшей жены своей».

Этот «типично английский случай», скорее всего выдуманный, понадобился Карамзину, который пробыл в Англии очень недолго, для того, чтобы угостить читателя местным колоритом. В XVIII и XIX веках британская склонность к суициду воспринималась иностранцами как экзотика, и сей «неизъяснимый феномен в нравственном мире» повергал в недоумение лучшие европейские умы.

Поиски корней этого исторического явления в британском национальном характере мало что дадут. Скорее, черты, ассоциирующиеся у нас с понятиями *britishness*¹ и *englishness*², должны предохранять от суицидного поведения — что, собственно, мы сегодня и наблюдаем. Уже поминавшаяся нелюбовь к аффектации, драматизму, лю-

¹ Британскость

² Английскость

бой чрезмерности — неплохой заслон от трагического мировосприятия и экзистенциального радикализма. Почтение к здравому смыслу подразумевает психическую стабильность. Еще одна защитная стена — прекрасно развитое чувство юмора, которого так недостает германскому национальному характеру.

Позволю себе маленькое иллюстративное отступление. Блуждая по дискуссионным страницам, проэвтаназийным и просуицидным ответвлениям Интернета, я наткнулся в этом мрачном (уж во всяком случае, предельно серьезном) лабиринте на апологию самоубийства, которая выглядела так:

Десять главных преимуществ суицида перед сексом

10. Вы можете предварительно упиться до чертиков, совершенно не заботясь о последствиях.

9. Все волнуются из-за «безопасного секса», а из-за «безопасного суицида» можно не волноваться.

8. Никто не растолкает вас среди ночи и не потребует еще.

7. Количество способов и позиций не ограничено.

6. Никаких обещаний и долговременных обязательств.

5. Вы не боитесь подцепить заразу.

4. Партнер не требуется — без него (нее) даже лучше!

3. И вообще это гораздо проще, чем найти сексуального партнера.

2. Никто не будет жаловаться, что вы «все делали не так».

И самое главное:

1. МОЖНО ЗА СОБОЙ НЕ УБИРАТЬ!

Надо ли говорить, что этот пародийно-рекламный текст был обнаружен мной на английском сервере?

В общем, более или менее понятно, почему современные британцы так мало расположены к самоубийству. Но чем же они отличаются от не столь уж далеких предков, на весь мир прославившихся своей духовной «болезнью»?

Если заглянуть в суицидную статистику прошлого столетия (а в Западной Европе она с большей или меньшей степенью аккуратности велась примерно со второй четверти XIX века), обнаружится неожиданное обстоятельство: оказывается, Англия и в 1830 году, на самом пике своей «сплиново-меланхолической» репутации, сильно отставала по уровню самоубийств от других протестантских стран. Выходит, в общей картине мало что изменилось. Но стоит ли этому удивляться? Ведь национальный характер — субстанция на редкость стойкая, трансформирующаяся крайне медленно.

Впрочем, эта книга посвящена не сравнительному анализу психокультурных моделей и не исследованию национальных менталитетов. Мы пытаемся разобраться в том запутанном комплексе общих и частных факторов, которые приводят писателя к самоубийству, а, стало быть, нам необходимо понять, почему в «Энциклопедии литературы» так много британских писателей. Как объяснить эту загадку?

У меня есть своя версия, хоть и небесспорная.

Начать придется издалека, с экскурса в историю двух истинно британских понятий: уже поминавшейся *privasy* и еще одного слова, в переводе не нуждающегося, — *gentleman*.

Чувство собственного достоинства (далее для краткости ЧСД), без которого современный человек немислим, имеет место и дату рождения. Оно появилось на свет в Англии, на зеленом раннимедском лугу 15 июня

1215 года — именно в тот день взбунтовавшиеся бароны заставили короля Джона подписать «Великую хартию». Поначалу, как и все новорожденные, ЧСД было жалким и сморщенным — всего-то несколько строчек в 39-м пункте, затерявшемся среди других более многословных статей, смысл которых сегодня понятен только специалистам по английскому средневековью. Королевская власть давала клятву, что «ни один свободный человек более не будет посажен в тюрьму, лишен имущества, объявлен вне закона или иначе ущемлен... кроме как по законному суждению равных себе либо по закону страны». Разумеется, в категорию «свободных людей» не попадало большинство тогдашних англичан. Разумеется, клятва неоднократно нарушалась. Разумеется, от этой декларации до концепции частной жизни еще очень далеко. Но ведь 1215 год. Русь еще и с монголами-то не познакомилась.

Следующий эпизод, не такой известный, но не менее впечатляющий, вошел в историю как «Процесс пяти рыцарей». В 1627 году Карл I повелел арестовать сэра Томаса Дарнела и еще четверых дворян, отказавшихся давать королевской казне денег на принудительный займ. В Московии сочли бы, что государь поступил с ослушниками куда как милостиво — нет чтоб на кол посадить или собаками затравить, однако в Англии дворяне уже не считали себя «государевыми рабами» и подали на своего монарха в суд. Королевские адвокаты не смогли доказать правомочность решения его величества, и арестованные были выпущены на свободу. Повторю еще раз: это произошло в *тысяча шестьсот двадцать седьмом году*. После Славной Революции 1688 года, право на ЧСД утвердилось в Англии окончательно и уже на впол-

не законном основании. Тогда-то и определилась главная черта национального менталитета — *частная природа английской жизни* (выражение Дж.Оруэлла). Впрочем, с одной существенной оговоркой: еще много лет правом на рѣвасу в полной мере могли пользоваться только *джентльмены*, а плебс жил примерно так же, как в прочих европейских странах, то есть впроголодь, в грязи и мерзости — какое уж тут ЧСД.

Литератор в Британии, конечно же, принадлежал к джентльменскому сословию и жил по его этическим и поведенческим законам. Так было и в восемнадцатом веке, и в девятнадцатом, и в начале двадцатого — то есть в ту самую эпоху, когда британские писатели проявляли настойчивую склонность к суициду. Но после Второй мировой войны английская литература словно обринулась: за полвека ни одного именитого самоубийцы — Малколм Лаури и Артур Кестлер не в счет, потому что первый скорее канадец, чем англичанин, а второй и вовсе австро-венгр.

Что же такое произошло с джентльменом в середине нашего века?

А то, что он прекратил существование. Вернее, британцы перестали делиться на джентльменов и не-джентльменов, чему способствовали эпохальные события, перевернувшие мировоззрение, социальную иерархию, этикет, всю традиционную систему психологических ориентаций и мотиваций. Во-первых, распалась империя, во-вторых, Британия перестала быть великой державой, в-третьих, налоговая революция подорвала имущественную базу дворянства, в-четвертых, культура из элитарной превратилась в массовую, в-пятых, появились «Битлз» — и так далее, и так далее. В Англии произо-

шел социально-культурный переворот, похожий на тот, который мы сегодня переживаем в России. Одним из результатов этой метаморфозы, как я уже писал, видимо, станет слияние «интеллигенции» и «народа» в одну нацию. В Великобритании это произошло на несколько десятилетий раньше.

Ремесло писателя перестало быть привилегией леди и джентльменов. Английская литература стала более демократичной, более полнокровной и более живой. Она избавилась от суицидального комплекса.

Причины ослабленной жизнеспособности британского джентльмена были примерно те же, что у русского «интеллигента». Слишком уж он был *gentle*¹. На самом деле слово *gentleman* произошло от латинского *geneposus*², но с веками этимология подзабылась, и в общественном восприятии джентльмен действительно стал «мягким человеком» — в манерах, мыслях и чувствах. Вот на первый взгляд бессмысленное, но при этом вполне понятное определение: джентльмен — это тот, кто ведет себя по-джентльменски. То есть учтиво, сдержанно и порядочно. Сословное происхождение при этом не столь существенно. Яков II сказал одной просительнице, добивавшейся, чтобы ее сына пожаловали джентльменским званием: «Сударыня, я могу сделать его дворянином, но джентльменом его не сделает и сам Господь Бог».

Понятие «джентльмен» сформировалось в конце XVII века, когда Джон Локк заложил основы английского воспитания, которое должно было прививать молодому че-

¹ Мягкий, нежный

² Щедрый

ловеку четыре достоинства: добродетель, мудрость, хорошие манеры и ученость. Причем ученость следовало «легко носить и отнюдь ею не кичиться». Исчерпывающую дефиницию термина дает «Британская энциклопедия» 1856 года издания: «Из вежливости джентльменом именуют всякого, кто поднялся над низшим сословием, при условии, что этот человек достиг определенного уровня образования и утонченности... Для поведения джентльмена свойственны самоуважение и интеллектуальная рафинированность, проявляющаяся в свободной, но при этом деликатной манере».

С того самого момента, когда идеальными английскими качествами стали считаться самоуважение и рафинированность, Альбион превратился в «остров самоубийств», а леди и джентльмены, занимающиеся литературой, оказались в группе высокого суицидального риска. Столь строгие требования к себе и условиям жизни предполагают готовность прекратить собственное существование, если оно угрожает ЧСД. Самая английская из всех когда-либо произнесенных по-английски фраз принадлежит леди Мэри Уортли Монтегю, которая на смертном одре с глубоким, хоть и сдержанным удовлетворением произнесла: «It has all been very interesting»¹. Вот достойное завершение *правильно прожитой жизни*. Если же жизнь вдруг оказывалась «неправильной», в арсенале печальных, но нужных средств у джентльмена имелось самоубийство.

Смерть юного Чаттертона была в первую очередь вызвана тем, что ему, безродному и нищему плебею, возмечтавшему о джентльменском ремесле литератора, не

¹ Всё это было очень интересно.

удалось проникнуть в эту привилегированную касту. Хуже всего было то, что судьба поначалу обладала талантливого юношу: его произведения стали появляться на страницах лондонских журналов. Чаттертон уже вообразил себя джентльменом, но тут начались цензурные гонения на прессу и печататься стало негде, а зарабатывать физическим трудом поэт теперь почитал ниже своего достоинства. Последние медяки он предпочел потратить не на хлеб, а на мышьяк.

«Неджентльменская» ситуация подтолкнула к добровольной смерти немало британских литераторов. Вот несколько наиболее впечатляющих примеров.

Поэт, драматург и публицист Джон Браун (1715—1766), соавтор великого Гаррика, сочинил для Екатерины Великой проект просвещения России. Императрице план понравился, и она пригласила Брауна в Петербург, выслав англичанину на расходы огромную сумму — тысячу фунтов. Однако Браун расхворался и выехать в Россию не смог. От бесчестия у него приключилось нервное расстройство, и он перерезал себе горло.

Поэт Чарльз Колтон (1780?—1832), автор множества крылатых выражений и афоризмов, застрелился по весьма странной причине: врачи сказали, что он должен подвергнуться хирургической операции. Колтон хорошенько подумал, взвесил все за и против и решил, что спокойнее будет наложить на себя руки. Дело в том, что в те времена операции проводились без наркоза и представляли собой настоящую пытку, которая к тому же частенько заканчивалась летальным исходом. Поэт не захотел визжать от боли под эскулаповым ножом. Своим поступком Колтон опроверг один из собственных афоризмов: «Тысячи людей совершили самоубийство от

душевных мук, но никто еще не убивал себя из-за мук телесных».

Все три случая, описанные выше, невообразимы в современной Британии. Чаттертон, лишившись литературного заработка, подождал бы лучших времен, а пока поработал бы официантом или продавцом. Браун представил бы справку о болезни. Колтон, вероятно, нервничал бы из-за операции, но ему и в голову не пришло бы считать ее чем-то постыдным. В общем, все бы обошлось, все остались бы живы. Английский писатель стал другим.

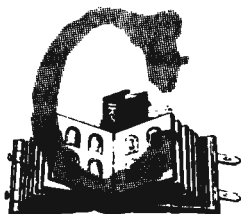
Что же получается? В Британии и Большой Германии литературицидные времена в прошлом. В России, возможно, они тоже близятся к концу — вот только произойдет окончательное отделение литературы от государства, вот только завершатся аномические процессы, вот только станет «народ» чуть-чуть «поинтеллигентней», а «интеллигенция» немного «понародней». Существенно то, что в трех этих литературных регионах высокая частота писательских самоубийств имеет сугубо ситуационный характер и исторической константой считаться не может.

Однако есть великая литературная страна, в которой суицид стал органичной частью национальной психологии и культуры.

Самоубийство по-японски

Меня поражает, что смерть вызывает у европейцев такой ужас. Единственное их желание — жить. Они боятся не только говорить, но даже думать о смерти. От этого вся европейская культура однобока, она перекошена в сторону жизни.

Томомацу Энтай. «Отношение японцев к смерти»



амое убедительное свидетельство того, что суицидальность является постоянным атрибутом японского национального характера, дает статистика. Уникальный в истории человечества случай: сегодня коэффициент самоубийств в Японии в точности такой же, как в 1882 году, когда в Стране Солнечного Корня (а вовсе не Восходящего Солнца, как ее называют, калькируя с английского) впервые проводилось исследование причин смертности. На протяжении минувших ста с лишним лет бывали, конечно, и взлеты, и спады — согласно общему закону Дюркгейма. Во время больших войн, как и полагается, число самоубийств сокращалось, в периоды национальной депрессии и социальной перелицовки возрастало. Например, в 50-е годы, когда после поражения империи оккупированная Япония мучительно строила новый жизненный уклад, новую социальную структуру, новую этику, японцы убивали себя чаще, чем кто бы то ни было. Доля Японии в мировой статистике самоубийств достигала 8% — при населении в 3%. Больше всего суицидной эпидемией была поражена молодежь, а у женщин в возрасте 20—29 лет са-

моубийство стало самой распространенной причиной смерти.

Однако стоило общественным потрясениям немного улечься, и магическая средняя цифра (17—18 самоубийств на 100 000 населения) всякий раз с необъяснимым упорством восстанавливалась. Неизменной остается и характерная «двухпиковая» кривая самоубийств, которую в суицидологии называют «японской моделью»: высокий суицидный уровень для молодежи, спад в средневозрастной группе и новый подъем в старости. Национальная специфика неизбежно сохраняется.

Под спецификой я имею в виду чисто японские мотивации и разновидности суицида. Естественно, что в подавляющем большинстве случаев японцы убивают себя по вполне «тривиальным», так сказать, общечеловеческим причинам, однако довольно часто происходят трагедии с сугубо национальной окраской, что позволяет всерьез говорить о «суициде с японским лицом».

В отличие от русского, немецкого и британского национальных характеров, в которых не так-то просто отыскать корни суицидального поведения, в японской психокультурной модели они разветвлены и находятся прямо на поверхности.

Об опасности чрезмерной самодисциплины я уже говорил в связи с немецкой скрытой пассионарностью. У японцев то же качество выражено еще сильнее. Открытое проявление сильных чувств испокон веков считалось непристойным, сдержанность и умеренность почитались высокими добродетелями. Эта установка позволяет избегать миниконфликтов в повседневной жизни, но не дает выхода отрицательным эмоциям. При большом стрессе, когда сдерживающий поведенческий механизм оказыва-

ется недостаточно действенен, может произойти взрыв агрессии, направленной как вовне, так и внутрь. Последнее происходит чаще, что объясняется особенностями традиционного воспитания.

Типическому японцу свойственна ориентация не на индивидуальные, а на коллективистские ценности. Быть независимым, оригинальным, непохожим на других — дурной тон. Худший из грехов — эгоцентризм. Жестко структурированное общество не одобряет личной инициативы, понуждая человека все время ощущать себя не единоборцем, а «членом команды». Для японца характерно определять свою идентичность через принадлежность к определенной группе. Нет ничего страшнее, чем подвергнуться остракизму. В средневековой японской общине высшей мерой наказания была не смерть, а изгнание с позором. Вообще стыд — главный регулятор в японской этической системе. Если иудеохристианская мораль зиждется на концепции греха (совершать проступки нельзя, потому что за это ответишь перед Богом или, если нерелигиозен, перед собственной совестью), то японец ведет себя нравственно потому, что боится попасть в постыдную ситуацию и превратиться в объект осуждения или насмешек.

Принадлежность к группе является для японца одновременно защитным панцирем и ахиллесовой пятой: оберегает от личных невзгод, ибо общее дело важнее частного, но в то же время удар, обрушивающийся на группу, воспринимается как собственная трагедия. Мы с удивлением смотрим, как перед камерами рыдает президент японской корпорации, потерпевшей банкротство, или как покаянно кланяется крупный чиновник, попавший в некрасивую историю. В подобных случаях нередки и самоубийства. Иностранцам это кажется японской экзотикой. Так называемый

«ролевой нарциссизм» понуждает японского служащего воспринимать и ценить себя прежде всего как исполнителя некоей профессиональной роли, превращает человека в винтик слаженно работающей машины. Это полезно для общества и безопасно для индивидуума — до тех пор, пока машина не пошла вразнос и винтики не начали сыпаться.

Впрочем, слабо развитое эго было характерно для позавчерашней (феодальной) и вчерашней (индустриальной) Японии. Сегодня страна быстро движется к постиндустриальной эпохе, в которую существующая социально-психологическая конструкция неминуемо станет анахронизмом. Молодые японцы очень сильно отличаются от своих родителей: роль винтиков в машине, которой рулит кто-то другой, им не по вкусу. В Японии сегодня очень тревожатся по поводу лени, безответственности и в особенности эгоизма нового поколения. Вероятно, в не столь отдаленном будущем суицид из-за скверной ситуации на работе станет редкостью. Но вряд ли эта метаморфоза заметно скажется на статистике самоубийств. Скорее всего, просто произойдет реструктуризация — станет меньше «общественных» самоубийств и больше «частных».

У толерантного и даже сочувственного отношения японцев к суициду есть глубинная причина. *Японцы спокойнее относятся к смерти.* Это вовсе не означает, что они не боятся умереть — просто они меньше, чем люди западной культуры, страшатся мыслей о смерти. Буддолог и националистический идеолог Томомацу Энтай (1895—1973) писал: «Для тех, кто хочет только жить, кто ставит себя в центре мироздания и стремится взять от жизни как можно больше, смерть всегда будет пиковой дамой, вызывающей ужас. Вся европейская цивилизация подчинена девизу: «Что угодно, только не смерть». Это

пещерная цивилизация, спрятавшаяся в кокон». Христианский призыв *memento mori* заставляет европейца вздрогнуть, сделать постную мину и поскорей начать думать о чем-нибудь приятном. Японцу напоминание о смерти настроения не испортит. Прежде всего потому, что он никогда о ней не забывает. Домашнее, бытовое отношение к собственной кончине берет начало в религии — буддизме и конфуцианстве. Дзэн, буддизм прямого действия, был взят на вооружение и творчески переработан японским рыцарским сословием, идеология и этика которого в значительной степени сформировали японскую национальную ментальность. Если в средневековой Европе дворянство из сословия защитников довольно быстро выродилось в сословие паразитов, то самураи, в строгом соответствии с конфуцианским канонам, считали себя отцами и учителями простолюдинов. Первый теоретик бусидо Ямага Соко (1622—1685) объясняет правомочность самурайских привилегий следующим образом. От самурая не требуется, чтобы он работал — работа для простолюдинов; самурая запрещено сражаться, потому что войны остались в прошлом. Так что же, самурай — паразит? Нет. Его миссия — давать японскому народу пример морального поведения, воспитывать нравственность в себе и низших. А поскольку в течение веков пренебрежение к собственной жизни провозглашалось самым благородным качеством самого благородного из японских сословий, эта идея не могла не вращаться в плоть и кровь всей нации. Известная самурайская максима гласит: «Просыпаясь утром, думай о смерти». Сравним с народной японской поговоркой: «Если смерть нипочем, всего добьешься». Еще иезуиты, первыми из европейцев попавшие в Японию, как главную туземную особенность от-

мечали удивительно легкое отношение к смерти. Японцы — единственная нация, эстетизировавшая и до мельчайших деталей разработавшая ритуальное самоубийство харакири¹.

Далеко не последнюю роль в отношении японцев к суициду играет и давняя, глубоко укорененная в культуре поэтизация добровольного ухода из жизни. Романтический ореол, которым в западной традиции окружены некоторые виды самоубийства, в Японии сияет еще ярче и лучезарнее. Самоубийство благородного героя или героини — это главный фабульный ход японской классической литературы, самый красивый и волнующий из всех возможных финалов. Хеппи-энд вроде «стали жить-поживать и добра наживать» или «они жили долго и счастливо» с японской точки зрения скучен и даже безвкусен. То ли дело «Ромео и Джульетта» (изобретательная вариация на тему *дзюнси*, о котором чуть ниже) или пьеса «Гроза», в которой Катерина, оказавшись в безвыходной ситуации (виновата перед супругом и не может соединиться с возлюбленным), поступает истинно по-японски: утопиться, бросившись с обрыва, — это очень романтично.

В японском языке существует целый суицидный глоссарий, в котором для каждого из видов самоубийства имеется собственный термин.

Самая почетная и завидная из смертей — самопожертвование в бою, которое по-японски самоубийством не считается. Самурай, отправляющийся на войну, должен был мечтать не о возвращении с победой, а о гибели на поле брани. Провожая сына, хрестоматийно-образцовые японские родители говорили не «береги себя», а «умри как герой». От

¹ Этой теме посвящено приложение к VI разделу.

такого спартанства делается не по себе, даже если предположить, что родители говорили вслух одно, а думали другое. Как бы там ни было, сыновья принимали напутствие всерьез, и при первом же боевом столкновении Европы с Японией, в русско-японскую войну, солдаты микадо потрясли воображение «красноволосых» (то есть наших предков) своими суицидальными атаками. Джек Лондон, состоявший корреспондентом при японской армии, с ужасом описывает, как солдаты по открытой местности идут в лобовой штурм русских укреплений и сотнями ложатся под шрапнелью. Американец усмотрел в этой, с его точки зрения, преступной тактике варварское пренебрежение японских военачальников жизнью своих подчиненных. На самом деле суицидная атака наверняка была «инициативой снизу».

Во время второй мировой войны, особенно на завершающем ее этапе, самопожертвование стало одним из тактических приемов императорской армии. Самоубийственный порыв воина, охваченного стремлением во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни, уничтожить врага, — феномен отнюдь не японский и, вероятно, возник одновременно с самой войной. Первым камикадзе войны на Тихом океане был... американец: 5 июня 1942 года во время сражения при Мидуэ лейтенант Флеминг протаранил своим самолетом японский крейсер. Помним мы и про летчиков Красной Армии, повторивших самоубийственное пики капитана Гастелло. Но одно дело — порыв, и совсем другое — взвешенное, неаффектированное решение, которое приняли тысячи молодых японцев, добровольно записавшихся в эскадрильи, батальоны и отряды летчиков-самоубийц, пехотинцев-самоубийц, моряков-самоубийц.

Трагедия прекраснее комедии, похороны величественнее свадьбы, красивая смерть предпочтительнее счастливой жиз-

ни — эта эстетическая линия пронизывает всю японскую культуру и облегчает суицидный выбор. Слова японских военных маршей поражают пессимизмом, в принципе несвойственным этому бодряческому музыкальному жанру. Во всем мире и во все времена марширующие солдаты пели о том, как они зададут врагу, а потом вернутся с победой домой. Но только не японцы. Марш японских летчиков времен последней войны в вольном переводе звучит так:

*Сакуре подобны я и ты.
Расцвели на ветке и опали.
Не живут до осени цветы,
Мы с тобою оба это знали.*

Пожалуй, в любой другой армии от такой строевой песни началось бы дезертирство, у японцев же она повышала боевой дух.

Самоотверженность самураев и камикадзе вызывает уважение, однако эта разновидность японского суицида, будем надеяться, осталась в прошлом. Ушел в историю и другой распространенный тип самоубийства по-японски — официальное *дзюнси*, что буквально означает «смерть вослед». Первоначально этот обычай был проявлением скорби по поводу кончины сюзерена: истинно преданные вассалы совершали *харакири*, будучи не в силах перенести утрату. *Дзюнси* считался высшим проявлением лояльности и способствовал возвышению рода, чей представитель проявил подобную самоотверженность. В средние века, когда у самурайского сословия существовал настоящий культ альтруистического самоубийства, желающих последовать за господином находилось так много, что правительство в конце концов было вынуждено запретить эту традицию. Но

случаи *дзюнси* встречались и после запрета. Один из самых известных — самоубийство графа Марэскэ Ноги и его жены, произошедшее в 1912 году. Прославленный генерал, которого называли живым воплощением самурайского кодекса Бусидо, утратил вкус к жизни еще со времен осады Порт-Артура, у стен которого пали двое его сыновей. Он хотел покончить с собой сразу после войны — во искупление своих тактических ошибок, слишком дорого обошедшихся японской армии, однако император Мэйдзи был против. Тогда генерал дождался смерти государя и совершил *дзюнси*. Его жена сделала то же самое, последовав за своим господином, то есть мужем. Прощальная фотография графа и его верной супруги долгие годы украшала стены многих японских жилищ.

В наши времена служащие фирмы, конечно, не убивают себя в знак траура по поводу смерти генерального директора, однако *дзюнси* по-прежнему достаточно распространено — только не по верноподданническим, а по личным мотивам. В Японии чаще, чем в какой-либо иной стране, вдовец или вдова убивают себя, не в силах вынести боль утраты. Логика стандартного русского утешения («Что поделаешь, жить-то все равно надо») по-японски звучит абсурдно. Надо? Кому надо?

Изменился по форме, но сохранил прежнее содержание и еще один тип традиционного суицида — *инсэки-дзисацу*. Это короткое словосочетание на русский язык переводится длинно и неуклюже (видимо, из-за невообразимости самой идеи): «самоубийство вследствие осознания своей ответственности за случившееся». Для человека, совершившего тяжкую оплошность, есть только один способ избежать позора, который, по японским понятиям, много хуже смерти. Добровольное самонаказание частично или даже

полностью восстанавливает честное имя виновного. Некогда искупительное самоубийство могло быть навязано самураю по приговору суда — обычно не за самое тяжелое преступление. Однако многие японцы, обладавшие обостренным чувством чести, совершали *инсэки-дзисацу* безо всякого понуждения и часто по поводу, который европейцам казался пустячным. Самоубийство Вателя, мажордома принца Конде, было сочтено современниками и потомками эксцентричным чудачеством. Бедняга пронзил себя шпагой, испугавшись, что королю не успеют вовремя подать рыбное блюдо. С точки зрения самурая это был совершенно нормальный поступок, свидетельствующий о том, что принцу служат люди, понимающие смысл слова «ответственность». В августе 1945 года среди офицеров и чиновников прокатилась целая волна самоубийств: лишая себя жизни, патриоты «извинялись» перед императором за то, что не смогли защитить его священную особу от врагов. Не так уж редки *инсэки-дзисацу* и в современной Японии. У обанкротившегося и разорившего клиентов (партнеров, кредиторов) бизнесмена есть три пути: сбежать за границу, идти под суд или покончить с собой. «Новый русский» скорее всего предпочтет первое (если не удастся заручиться депутатской неприкосновенностью), западный предприниматель второе, а японец третье.

Следующая разновидность традиционного самоубийства — *канси* («смерть по убеждению»). Именно так умерли раннехристианские мученики, русские раскольники и буддийские монахи, сжегшие себя живьем в знак протеста против вьетнамской войны. В Японии *канси* использовалось и шире — не только как проявление протеста, но и как аргумент в споре: смотрите, насколько искренен я в своих убеждениях, они для меня дороже жизни. В старой Японии

самурай мог убить себя, просто чтобы *обратить внимание* вышестоящих инстанций на тот или иной факт. Например, в 1891 году молодой офицер сделал публичное харакири, чтобы правительство заняло более жесткую позицию в отношении России. С нашей точки зрения — поступок сумасшедшего, однако, как известно, японское правительство в скором времени действительно взяло антироссийский курс, приведший к войне. Один из сравнительно недавних (1976 г.) примеров *канси* — демонстративное самоубийство киноактера Маэно Мицуюсу, протаранившего собственным самолетом дом политического махинатора Кодамы Ёсио, который ввязал правительство в грязный коррупционный скандал.

Другой, более распространенный вид *канси* — самоубийство на семейно-бытовой почве, к которому прибегают обманутые или брошенные супруги, а иногда даже невестки и свекрови, чтобы «испортить жизнь» своим обидчикам. Такое случается и в других странах, но без пафоса *правомочности* замысленного.

Самое известное из классически японских самоубийств — *синдзю*, суицид по сговору (в буквальном переводе «внутри сердца» или «единство сердец»). В свою очередь, оно подразделяется на *дзёси* (самоубийство влюбленных) и *ояко-синдзю* (самоубийство родителей с детьми). *Дзёси* — тема обширная и к тому же имеющая самое непосредственное отношение к литературе и литераторам, поэтому любовным драмам я посвящу особую главу. Что же касается семейного самоубийства, то я называю его «классически японским» не потому, что это исключительно локальное явление. Родители убивали себя вместе с детьми в разные эпохи, в разных странах и по самым разным мотивациям. Есть подобные примеры и в «Энциклопедии литературыида», причем не

из японской, а из европейской литературы. Немецкий писатель Йохан Клеппер (1903—1942) имел несчастье, во-первых, жениться на еврейке, а во-вторых, обладать негибкими моральными принципами. Когда гестапо постановило депортировать жену и падчерицу писателя, вся семья отравилась газом. Более тривиальна причина, приведшая к самоубийству австро-венгерского писателя графа Яноша Майлота (1786—1855). Разоренный революцией 1848 года и измученный тяжелой болезнью, он совершил самоубийство вместе со своей дочерью, которая преданно любила его и долгие годы исполняла при нем обязанности секретаря. Отец и дочь связались веревкой, надели в одежду камней и утопились в озере, прибегнув к самому что ни на есть хрестоматийному *ояко-синдзю*.

«Японскость» этой разновидности суицида определяется не экзотичностью (как мы видим, это вовсе не так), не особой его распространенностью в Японии и даже не тем, что именно японцы придумали специальный термин. Коренное различие в ином: если в других странах родитель, обрекающий своих детей на смерть, вызывает ужас и осуждение, то в Японии к такому поступку скорее отнесутся с сочувствием и пониманием.

В 1985 году в Калифорнии 32-летняя японская иммигрантка, потрясенная изменой мужа, попыталась утопиться вместе с двумя маленькими детьми. Женщину спасли, детей — нет. Американский суд вынес «чудовищу» приговор за убийство первой степени, что вызвало в Японии настоящий шок и волну протестов. С японской точки зрения американцы проявили варварскую жестокость: мало того, что у бедняжки распалась семья, мало того, что погибли дети, мало того, что ей не дали умереть, так еще опозорили и на много лет заперли в тюрьму. Японская мать, решившаяся умереть

вместе с ребенком, поступает так не из эгоизма, а следуя этической установке, согласно которой вероломство хуже смерти. Оставить свое беззащитное дитя на милость враждебного, безжалостного мира, когда сама предпочитаешь из этого мира уйти, — худшее из предательств. В Японии чаще, чем где бы то ни было, происходили, да и сегодня еще случаются *икка-синдзю* («самоубийство всей семьи») — обычно из-за экономических трудностей. Тут уже предполагается не минутное помутнение рассудка, не истерика, а взвешенное решение с семейным советом и консенсусом.

Если за малышом решают родители, то, когда дети становятся постарше, суицидная инициатива нередко исходит от них. И здесь мы подходим к одной из самых болезненных тем современной японской жизни — подростковым самоубийствам. Общество никак не может справиться с этой напастью — ежедневно в среднем трое несовершеннолетних японцев убивают себя, а количество суицидных попыток в несколько раз больше. Мотивы потрясают. Любой ребенок, оставленный за проказы без мороженого, может мечтать, как он умрет, и вот тогда папа и мама раскаются в содеянном. Но японские дети гораздо легче, чем их зарубежные сверстники, переходят от грез к делу. В предсмертных записках, накорябанных детским почерком, можно прочесть что-нибудь вроде: «боюсь экзамена», «отрутала учительница», «папа не купил лыжи». Бывают причины и посерьезней. Ежегодно примерно полторы сотни школьников кончают с собой, затравленные одноклассниками. Неужто японские дети отличаются какой-то особой жестокостью по отношению к сверстникам? Вовсе нет, дети как дети. Но реакция на остракизм и издевательства у японских малолетних парий гораздо более острая. А главное — иное отношение к смерти.

Нам свойственно «прятать» от детей все, связанное со смертью. «Бабушка уехала», говорим мы, не желая травмировать ребенка. В результате у детей поздно формируется представление о собственной смертности, оно не входит в число базовых сведений о жизни. Японские же дети относятся к смерти спокойно. Они с самого раннего возраста знают, что смертны, этот факт менее страшен, потому что воспринимается как данность.

Мне однажды довелось читать сочинения японских третьеклассников на стандартную тему «Кем я хочу стать». Если не учитывать национальный колорит (один мальчик хотел преуспеть на поприще борьбы сумо, а одна девочка подумывала, не выучиться ли на гейшу), дети мечтали примерно о том же, о чем положено мечтать девятилетним. За одним исключением. Все тридцать сочинений кончались одинаково: описанием собственной смерти. Кто-то хотел романтически умереть молодым, кто-то планировал дожить до ста лет, но ни один из школьников не оставил концовку открытой. Завершение жизненного пути смертью — это естественно. Как же иначе?

Смерть в поле зрения японца с детства; она всегда — альтернатива. Что же странного, если подросток, перепробовав разные игры, пытается сыграть и в эту? Нередки случаи, когда японские дети кончают с собой из любопытства. Так, например, поступил самый юный из героев нашей книги, поэт Ока Синдзи (1962—1975), чьи талантливые стихи вышли в посмертном сборнике «Мне 12 лет». Синдзи спрыгнул с крыши и разбился. Он желал узнать — что там, после смерти. Теперь он это знает.

Всю Японию потрясло самоубийство 16-летнего школьника, который 20 ноября 1996 года «сыграл в Мисиму». На улице, прямо на глазах у прохожих, мальчик пронзил

себе горло фамильным мечом, хранившимся в родительском доме. Выяснилось, что перед этим по телевизору показывали фильм «Меч», снятый по произведению Мисимы.

Однако при всей своеобычности суицидальной картины Япония отнюдь не лидирует в мире по уровню самоубийств. Привычка во всем руководствоваться этикетом и определенными правилами поведения делает жизнь человека в целом более защищенной и уютной, а теневой своей стороной — депрессией и суицидальным порывом — оборачивается лишь в экстремальных случаях, перечень которых, в общем, тоже регламентирован. Вряд ли в Японии отыщется восемьсот мотиваций самоубийства, обнаруженных исследователями Всемирной организации здравоохранения. И уж во всяком случае японцы не используют все восемьдесят три зарегистрированных ВОЗ способа самовольного ухода. Твердые правила жизни подразумевают и соблюдение правил смерти. Недавно один осацкий служащий поднялся на крышу офисного здания и спрыгнул вниз. Полиция заподозрила убийство, хотя по всем приметам смерть выглядела (и оказалась) суицидом. Подозрение было вызвано «неправильным» поведением самоубийцы, человека нового поколения: во-первых, не написал предсмертной записки, а во-вторых, не оставил на краю крыши обувь. В смерть, новое обиталище, надо входить, как в дом, — разувшись.

Если перейти от японцев вообще к японцам, пишущим книги, нельзя не отметить особенность писателей этой страны: в отличие от космополитичных западных литераторов, они, во-первых, дети своей нации, а пишут книги уже во-вторых. Это объясняется автономностью и оригинальностью национальной культуры, а также «остро-

вным», монологическим складом японской ментальности. Японская литература вплоть до самого недавнего времени адресовалась не всему человечеству (как другие великие литературы), а японцам. Считалось, что иностранцы не смогут должным образом переложить ее на свой язык, да и не захотят оценить по достоинству.

Если в «Энциклопедии литературыида» японцев не так уж много, это объясняется тем, что туда включены лишь сведения за последние сто лет, когда в Японии сформировалось сословие литераторов в западном понимании. Иначе пришлось бы вспомнить всех бесчисленных воинов и чиновников феодальной эпохи, слагавших стихи и закончивших жизнь со вспоротым животом. Поскольку стихосложение входило в обязательную программу самурайского воспитания, список получился бы бесконечным. Начинать пришлось бы от одного из родоначальников самурайского сословия, доблестного Минамото Ёримасы (1104—1180), бывшего не только полководцем, но и талантливым поэтом. Его перу (то есть кисточке) принадлежит знаменитое пятистишие, написанное за минуту до харакири:

*О чем печалиться
В конце
Сухому пню,
На коем никогда
Не вырастет цветок?*

Современный японский писатель в отношении к суициду следует общенациональной традиции, да еще с поправкой на свое опасное ремесло, в этих условиях особенно рискованное. В обществе, где все делается сообща, кол-

лективом, заниматься самой индивидуалистической из всех профессий — верная дорога к самоубийству. Писатель — тот самый торчащий гвоздь, который, по японской пословице, первый получает молотком по шляпке. Из пяти всемирно признанных японских классиков двадцатого века четверо (Акутагава Рюноскэ, Дадзай Осаму, Мисима Юкио и Кавабата Ясунари) покончили с собой, и лишь Танидзаки Дзюнъитиро благополучно умер своей смертью.

Основная причина писательского самоубийства в Японии предсказуема: круговой обороне, которую заняли разбившиеся на группы соотечественники, одиночка-литератор может противопоставить только свою творческую энергию. Когда писателю кажется, что он исписался, что магический источник иссяк, начинается депрессия и паника, выход из которой подсказывает логика национального мировоззрения. Впрочем, писательское самоубийство как результат подлинного или воображаемого творческого кризиса — явление интернациональное, а в истории японской литературы есть и трагические развязки с неповторимым «местным колоритом».

Дух коллективизма проявляется не только в обустройстве жизни, но иногда и в обустройстве смерти. Японская история знает множество примеров «коллективного» самоубийства. В эпоху феодальных междоусобиц поражение одного из враждующих кланов влекло за собой массовое харакири побежденных. Классический пример суицидной оргии — гибель рода Ходзё (XIV век). Проиграв войну, сюзерен устроил для вассалов прощальный пир, в ходе которого 870 приглашенных лишили себя жизни. Всего же в тот день самоубийство совершили 6000 самураев обоего пола. В 1944 году так же поступили защитники острова Сайпан. Они сражались с американцами до последней возможности,

а потом покончили с собой (из 23 000 человек уцелели лишь около тысячи гражданских).

Несмотря на давнюю и распространенную традицию коллективного альтруистического самоубийства, японским писателям такой финал несвойственен. Очевидно, сказывается «неколлективистская» профессия. Однако если в литературной истории других стран нам неизвестны случаи, когда писатель убивал бы себя «за компанию», во имя некоей массовой идеи, то в Японии такой пример есть. Талантливый Хасуда Дзэммэй (1904—1945), поэт «японской романтической школы», в гражданской жизни был скромным школьным учителем, но на войне проявил себя большим самураем, чем иные кадровые военные. Когда командир полка зачитал офицерам высочайший рескрипт о капитуляции, поручик Хасуда застрелил «изменника» и застрелился сам, тем самым присоединившись к целой когорте верноподданных патриотов, не пожелавших смириться с поражением. В отличие от европейских писателей-коллаборационистов, убивавших себя, чтобы уйти от неминуемого суда, Хасуда в политическом отношении был фигурой малозаметной и репрессий мог не опасаться. Здесь все произошло по дюркгеймовскому определению альтруистического самоубийства: поэт решил «...освободиться от своей личности для того, чтобы погрузиться во что-то другое, что он считал своей настоящей сущностью».

Не менее японским было и самое громкое из писательских самоубийств всех времен и народов — харакири Мисимы Юкио (1925—1970). Я не буду сейчас подробно останавливаться на этой эффектной истории¹.

¹ См. главу «Жизнь как роман».

Замечу лишь, что при всем патриотически-альтруистическом антураже спектакля, устроенного писателем, истинные мотивы его поступка, очевидно, были вполне частными, а не политическими, как представляется японским националистам.

По-самурайски свел счеты с жизнью и Мураками Итиро (1920—1975), писатель, за пределами Японии почти неизвестный. Этот литератор прожил бурную и непоследовательную жизнь: был сначала морским офицером, потом коммунистом и последователем соцреализма, а закончил ультраправыми убеждениями. Мураками хотел погибнуть вместе с Мисимой, но не сумел прорваться через кордон полиции к своим единомышленникам-путчистам. Пять лет спустя он пронзил себе горло мечом.

Самым же экзотическим был мотив самоубийства поэта-романтика Китамуры Тококу (1868—1894). Страстный поклонник западной литературы, Китамура повесился из-за того, что японской литературе далеко до европейской. «Никогда японцу не создать таких произведений, как «Потерянный рай», «Отверженные» или Дантов «Ад», — писал он. Случаи суицида из-за комплекса культурной неполноценности встречаются и в других странах (например, адвокат Крамер, прототип Крафта из романа «Подросток», или знаменитый еврей-антисемит Отто Вейнингер), однако, пожалуй, только японец мог убить себя из-за уязвленного литературного патриотизма и комплекса культурной неполноценности.

Бедный Китамура ошибся. Вскоре японскую литературу сочли не просто «полноценной», а необычайно яркой и самобытной. Японская культура — как традиционная, так и современная — стала для Запада одним из главных эстетических и духовных откровений XX века. Но мне ка-

жется, что человечество все же не до конца понимает важность процесса, бурно происходящего на дальневосточном архипелаге в последние десятилетия. По моему глубокому убеждению, Япония сегодня — самое интересное место на планете. Там развернут небывалый эксперимент по созданию нового землянина, который, возможно, впервые в истории сумеет преодолеть извечную биполярность мира и органично соединит в себе достижения западной и восточной культур: рациональность и интуицию, жесткость и гибкость, ощущение пространства и ощущение времени, понимание жизни и понимание смерти, know-how¹ и know-why². На наших глазах рождается бикультурный андрогин, существо с двойным цивилизационным гражданством. Когда-нибудь, лет этак через сто, по пути, проложенному японцами, пойдет огромный Китай, и тогда облик homo sapiens третьего тысячелетия окончательно определится.

Наш общий потомок, скорее всего, будет черноволос, кареглаз и слегка раскос. Он будет отличаться отменным воспитанием, тонко чувствовать красоту, с одинаковой легкостью цитировать Шекспира и Конфуция. Он научится вылечивать рак, СПИД и даже болезнь Альцгеймера, будет запросто менять изношенные органы человеческого тела и жить очень долго. Если захочет.

Потому что в дивном новом мире, где не будет кровавых конфликтов и неизлечимых болезней, первую строку в статистике смертей займет суицид.

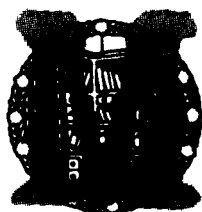
¹ знание как

² знание зачем

Приложение

Огненное спасение

*...Русачки же, миленькие, не так!
Во огонь лезет, а благоверия не предаст!*
Протопоп Аввакум



ассовое самоистребление старообрядцев, растянувшееся во времени на два с лишним столетия и унесшее десятки тысяч жизней — таков впечатляющий вклад России во всемирную историю суицида.

Это уникальное историческое явление зародилось в эпоху, когда в Европе религиозный фанатизм, доведенный до градуса самоубийственного иступления, давно уже стал анахронизмом. Во второй половине XVII века Московское государство стало постепенно поворачиваться от восточного к западному пути развития, однако часть старой Руси, прежде всего крестьянство и низовое духовенство, не смирилась с волей властей предержащих. Глухое, упорное, саморазрушительное сопротивление этой народной оппозиции романовская монархия так и не смогла сломить вплоть до самого своего краха.

Отправная точка у раскола русского православия не религиозная, а чисто политическая. Смысл реформ Никона заключался вовсе не в исправлении ошибок славянского перевода Библии, не в замене двоеперстия троеперстием, «сугубой» аллилуйи «трегубой», а «Исуса» «Иисусом». Суть была в том, что соседи Москвы — Речь Посполитая и Османская империя — слабели, и роль «Третьего Рима», логика имперского строительства требовала приращения русских владений за счет южных и западных православных земель. При царе Алексее Михайловиче задавался вектор российской внешней политики на века вперед.

Но присоединению Украины и последующему движению на Балканы должна была предшествовать идеологическая и религиозная подготовка — унификация обряда великорусского, южнорусского и греческого православия. Эта реформа обеспечила бы главенство московской патриархии над всем христианством византийского корня, украинская и балканская ветви которого обнаруживали тревожившее Москву стремление сомкнуться с католичеством.

Части русского духовенства геополитические мотивации были чужды или неизвестны. Отчаявшись переубедить светскую и церковную верхушку, защитники старой веры обратились к народу и нашли поддержку у широких слоев крестьянского и посадского населения, традиционно консервативного и привыкшего с недоверием воспринимать всякую инициативу, которая навязывалась сверху.

С точки зрения религии сторонники незыблемости обряда были правы. Они знали, что исправлять логические ошибки в религиозных текстах и церемониале — дело кощунственное и опасное. Для истинной веры соображения рациональности несущественны — верить надо, потому что абсурдно, и никак иначе. Таким образом на религиозном уровне конфликт между протопопом Аввакумом и патриархией был спором между настоящей, нерассуждающей верой и верой прагматической, государственной, то есть в общем-то *ненастоящей*. Вот почему в последующие века именно старообрядчество стало оазисом той подлинной религиозности, которая жила в части русского народа, в целом, как уже было сказано, набожностью не отличающегося.

Но богословские дискуссии продолжались лишь в первые десятилетия раскола. Затем теоретики старообрядчества были истреблены или просто умерли от старости, и конфликт утратил свое теологическое значение. На народном же, массовом уровне это противостояние с самого начала имело иную природу. Тут столкнулись не имперская церковь и слепая, истовая вера, а государственная машина и мужицкое, земляное упрямство, непримиримое к любым начинаниям власти. «Ста-

рая вера» стала идеологической основой противостояния государственному принуждению, а экстремистские формы раскольнического движения — реакцией на особенно жесткое государственное насилие.

Это очень хорошо понимал еще Аввакум, создавший в своих произведениях архетипический образ Начальника. Начальник — воплощение земного Зла, безжалостного, ненасытного и особенно страшного из-за мистической иррациональности его звериной лютости. Аввакум рассказывает: *«Так ин начальник, во ино время, на меня рассвирепел, прибежал ко мне в дом, бив меня, и руки отгрыз персты, яко пес, зубами. И егда наполнилась гортань ево крови, тогда руку мою испустил из зубов своих и, покинув меня, пошел в дом свой»*. Именно так выглядел Начальник в глазах русской народной массы — и во времена неистового протопопа, и позднее. Да и у нынешнего электората представление о власти не так уж изменилось по сравнению с аввакумовскими временами. Ничего хорошего сверху исходить не может, потому что Начальник — это земное воплощение Антихриста.

Притеснения со стороны духовных и светских властей, стремившихся задавить раскол в самом зародыше, привели к широкому распространению апокалиптических настроений. Проповедники утверждали, что гонения на правую веру — доказательство того, что пришли «последние времена», что вот-вот грядет уже не земной, а подлинный Антихрист, предвещая Страшный Суд. *«Я, братия моя, видел Антихриста, собаку бешеную, — пишет Аввакум. — Плоть у него вся смрад и зело дурна, огнем дышит изо рта, а из ноздрей и ушей пламя смрадное исходит; по нем царь последует, и власти, множество народа»*. Поскольку земная жизнь так или иначе закончилась, главное — не погубить свою душу в годину последних, самых тяжких испытаний. Пришествие Антихриста предсказывали в 1666, 1667, 1691 и 1692 годах. С этого и началось самоубийственное поветрие, вскоре охватившее обширные области России.

Ожидая окончания мира, люди ложились в гробы и морили себя голодом. Это называлось «самоуморением». В чернораменских ле-

сах по реке Ветлуге были устроены «морильни», где вымидали целые общины. В старообрядческих песнях сохранились отголоски тех страшных времен:

*Деревян гроб сосновый,
ради меня строен.
В нем буду лежати,
трубна гласа ждати.*

В огромной массе русских людей, не принявших церковных нововведений, с самого начала образовались два течения — умеренное и непримиримое. Первое требовало (и со временем добилось) духовной и церковной автономии, довольствуясь сохранением старой религиозности и старых обычаев. Неудивительно, что в среде этих «русских пуритан», чья этика была весьма схожа с протестантской, легко прижились капиталистические навыки; именно отсюда в XVIII и XIX веках вышли самые богатые купцы и промышленники. Второе течение старообрядчества, относительно малочисленное, но все же насчитывавшее многие тысячи приверженцев, отказывалось идти с властью на какие-либо компромиссы. Непримиримые уходили в леса (благо держава была большая), запирались в скиты, а оказавшись перед угрозой насильственного обращения в «никонианство», часто предпочитали отступничеству самоубийство.

Самые фанатичные из беспоповцев утверждали, что раз на земле больше нет священства и таинств, то спастись все равно нельзя, а потому незачем и жить. В подтверждение того, что спасение невозможно, приводили цитату из «Кирилловой книги», где говорилось, что во время Антихриста «священные церкви яко овощные хранилища будут и честное тело и кровь Христа во днех оных не имать явитися»¹. Тогда и появились

¹ Пророчеству «Кирилловой книги» об овощных хранилищах, как мы знаем, суждено было осуществиться много позднее.

проповедники «подвига», «новоизобретенного пути самоубийственных смертей».

Первым проповедовать мученический венец через «пощение до смерти» стал «мужик-неук» Василий Волосатый. Вскоре распространились также «самозаклание» (погребение заживо) и самоутопление, однако излюбленным и самым массовым методом спасения от «антихристовой печати» стало самосожжение.

Причин тому было две. С одной стороны, фанатичные ревнители «правой веры» хотели разделить участь своих вероучителей, которых официальная церковь жгла на кострах. С другой, вскоре выяснилось, что самосожжение целыми общинами производит на власти куда большее впечатление, чем «морение» или «самозаклание».

Первые «гари» запылали в 1672 году в Нижегородье. Летописец сообщает, что тогда сгорели «тысячи с две». В 1679 году поп Дометий-ан сжег под Тобольском 1700 человек. В 1687 году соловецкий черный дьякон Игнатий «увел» прямо на глазах у стрельцов 2700 душ, затворившихся в Палеостровском монастыре на Онежье. Только по официальным источникам в первое двадцатилетие раскола самосожжение совершили не менее 20 000 человек.

Среди проповедников «огненного причастия» появились своего рода профессионалы, соревновавшиеся между собой, кто «спасет» больше душ. Такие «спасители» вели кочевой образ жизни и обычно в последний момент выбирались из охваченной огнем молельни, оставив паству на смерть, а сами несли свою страшную проповедь дальше. Возможно, некоторые из этих старцев были параноидальными честолюбцами, но не мошенниками — они сами верили в истинность своих речений и когда считали, что исполнили свою миссию, тоже сгорали в огне.

Поначалу самосжигающиеся еще помнили о том, что самоубийство — смертный грех, и старались соблюсти видимость «непричастности» к постигшей их смерти. Обычно это происходило, когда скит, молельню или монастырь, где заперлись раскольники, окружали

стрельцы или солдаты, присланные властями для ареста старцев и «вразумления» их паствы. Фанатики запирали дверь на засов, ставили на него горящую свечу, на пол бросали ворох соломы. При первом же толчке свеча падала, и в помещении начинался пожар. Таким образом, солдаты становились убийцами, а сгоревшие могли считаться не самоубийцами, но мучениками веры.

Однако по мере распространения самоубийственного поветрия «спасающиеся» уделяли все меньше внимания соблюдению подобных формальностей и все больше уподоблялись позднеримским доктристам, неистово жаждавшим мученического венца. Во время «гари» людей охватывало массовое безумие. По свидетельству очевидцев, раскольники прыгали с крыши в огонь, парни с девушками, взявшись за руки, бросались в самое пламя, матери входили в горящие дома, держа на руках младенцев.

Подавляющее большинство самоубийц за старую веру принадлежали к социальным низам — невежественным, обездоленным, бесправным. Однако инициаторами акций самосожжения, особенно в первые десятилетия раскола, часто становились люди образованные — духовные лица, купцы, дворяне и даже представители знати. Известен случай, когда «гарь» устроил родовитый вельможа, князь Петр Мышецкий, распустивший слухи, что царь Петр — Антихрист. Накануне ареста Мышецкий затворился в доме с чадами и домочадцами и «увел» за собой около 100 душ.

У отцов старообрядчества не было согласия по поводу «самовольного мученичества». Большинство идеологов раскола относились к самоубийству во имя веры так, как предписывают догматы христианства, — то есть сугубо отрицательно. Но самый известный и авторитетный из вероучителей, протопоп Аввакум, придерживался иной точки зрения и тем самым способствовал легализации и укоренению религиозного суицида. Аввакум не осуждал, а восхвалял ревнителей благочестия, говоря: *«Добро почитати сожженных за правоверие отец и братий наших»*. Правда, он, кажется, не был сторонником массовых самосожжений, считая, что «огненное причастие» — путь для избранных, однако в число

«избранных» хотелось попасть многим. А после того, как сам протопоп, казненный на костре в Пустозерском остроге, обрел мученический венец, его заветы обрели для широкой массы старообрядцев непререкаемость закона: «...*Да не погибнут зле духом своим собирающиеся во дворы с женами и детками и сожигахуся огнем своею волею. Блажен извол сей о Господе*».

Самым красноречивым оппонентом фанатизма был старец Евфросин, издавший в 1691 году трактат «Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей». Особенную неприязнь у Евфросина вызывали кочующие проповедники огненной смерти. Он писал, пародируя их призывы к самопожертвованию:

*Добро вам згореть
да не будет вам наветь,
уже мы вас утвердим
только бы вы не ослабели.
А мы себе поищем иных учеников,
и там нам место будет
и с наш век избудет.*

Но самым действенным аргументом в пользу «огненного спасения» для старообрядческих общин были не призывы бродячих агитаторов, а неумная политика властей, которые своими репрессивными мерами понуждали раскольников идти на крайние меры. Раскольничьи скиты пылали на Севере и в Сибири на протяжении почти всего XVIII века, хотя «гари» стали менее многочисленными: сжигались уже не тысячи, как во времена Федора и Софьи, а десятки. Особенное значение добровольному мученичеству за веру придавали старообрядцы филипповского толка — последователи бывшего стрельца Филиппа, спалившего себя вместе с приверженцами в 1743 году. В периоды, когда рвение церковных и светских властей обострялось, начинались новые эпидемии групповых самоистреблений, в свою очередь

вызывавшие еще большее ожесточение официальной церкви, которая почитала самоубийство из еретических побуждений двойным смертным грехом.

Здесь следует сказать несколько слов об отношении российского закона к суициду. В старомосковском государстве оно было строгим, но без изуверства, характерного для средневековой Европы: самоубийцы приравнялись к упившимся до смерти или погибшим по собственной неосторожности — то есть, выражаясь современным языком, попадали в графу «смерть от несчастного случая». Делами о самоубийствах ведали церковные суды, во власти которых было запретить отпевание и погребение в освященной земле. Светских кар не предусматривалось.

Петр, стремившийся навести порядок не только в телесной, но и в духовной жизни своих подданных, объявил самоубийство государственным преступлением, взяв за образец европейские законы. Труп преступника предписывалось вешать за ноги либо передавать палачу, который волок его «на бесчестное место» — закапывал на живодерне. Повторяя принципы Адрианова кодекса, царь повелел предавать казни солдат и матросов, которые пытались наложить на себя руки из «подлых» (то есть недостойных) соображений.

Все эти кары, как церковные, так и светские, на старообрядческих фанатиков, естественно, подействовать не могли: православное отпевание им было не нужно, а государеву службу они все равно бойкотировали.

В XIX столетии в связи с общим смягчением нравов и упорядочением законодательства самоистребление происходило в гораздо меньших масштабах и обычно становилось следствием деятельности какого-нибудь особенно пассионарного проповедника. В 1827 году крестьянин Иван Юшкин и 35 его последователей «зарезались до смерти» — это произошло вскоре после того, как новый император Николай I предписал губернаторам проявлять больше суровости по отношению к раскольникам. В 1860 году были самосожжения в Оло-

нецкой губернии. А последний из массовых всплесков суицидной активности старообрядцев произошел в 1896—1897 годах и был связан с проведением всероссийской переписи населения. Так называемые противоокоужники-метрикоборцы сочли занесение в метрические книги святотатством и антихристовой печатью. В Тираспольском уезде в результате проповеднической деятельности схимницы Виталии были многочисленные случаи самопогребения среди крестьян. Вот фрагмент письма, который Виталия вручила члену переписной комиссии: *«Ваш новый устав и метрики отчуждают нас от Христа и от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение отечества, а наше отечество Христос... Вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем ныне паче за Христа умереть»*.

Прекращение гонений против раскольников произошло лишь в 1905 году, когда появился указ «Об укреплении начал веротерпимости», впрочем не освобождавший от уголовной ответственности последователей «изуверских учений», к каковым причислялись все приверженцы религиозного самоубийства.

Закончу это краткое историко-этнографическое исследование цитатой из брошюры 60-х годов: «Истинным финалом эпидемических самоубийств среди старообрядчества стала победа Великой октябрьской социалистической революции». Это сущая правда.

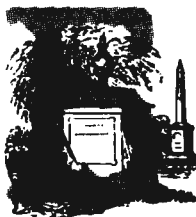
Во-первых, на крепкую нервами новую власть протестные самоубийства впечатления не производили. А во-вторых, коммунисты бессознательно прибегли к классическому психотерапевтическому способу — лишили раскольников ощущения партийной исключительности. После 1917 года в категорию гонимых за веру попали и никониане, и антиникониане — все верующие скопом, без различия конфессиональных нюансов. Ореол мученичества перестал быть исключительной привилегией беспоповцев.

Раздел VI

Как это делается

Человек со знанием дела выбирает корабль, на котором поплывет, и дом, в котором станет жить. Так разве нет у него права точно так же выбрать способ, которым он умрет? В выборе смерти следует руководствоваться прежде всего собственным вкусом.

Сенека



ывает, что самоубийство происходит спонтанно, под влиянием секундного порыва, и человек использует для прекращения своей жизни первое же пришедшее на ум средство. Джульетте, увидевшей мертвого Ромео, было все равно, как умереть, — лишь бы поскорее. Обнаружив, что флакон с ядом пуст, она не раздумывая пронзила себя кинжалом («Пора кончать. Но вот кинжал по счастью»), то есть прибегла к способу самоубийства, который, как мы вскоре увидим, для женщин совсем нехарактерен.

Бывает и так, что обстоятельства не дают времени и возможности для выбора — нужно немедленно умертвить себя,

чтобы избежать еще более жестокой участи. («И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною». 1 Цар. XXXI, 4).

Однако подобные случаи встречаются нечасто. Обычно суицидальное решение созревает постепенно, и второй его этап — выбор способа самоистребления — становится не менее продолжительным и трудным, чем первый. Вероятно, большинство несостоявшихся суицидентов застревают именно на этом рубеже, рубеже перехода от идеи к практическим шагам по ее осуществлению, — или же выбирают такой способ, который оставляет надежду на спасение. Именно по этой причине количество зарегистрированных попыток самоубийства в 7—8 раз превышает количество завершенных самоубийств. Студент Чиж из избыливающего суицидными рассуждениями романа Арцыбашева «У последней черты» говорит: «Жизнь — ни к чему, смерть — не страшно, а та сотая доля секунды, которая должна пройти между нажатием курка и концом, оказалась неодолимой».

Вера и физический страх — вот две «вещи», большая и маленькая, которые, по словам инженера Кириллова, издавна оберегали человека от самоубийства. Возможно, главная причина небылого распространения самоубийств, наблюдаемого в XX столетии, заключается в том, что обе эти «вещи» не то чтобы вовсе перестали быть страшными, но во всяком случае пугают нас уже не так сильно. Число истинно верующих (а не просто соблюдающих обряды) христиан, мусульман и иудаистов резко сократилось, теперь эти люди в явном меньшинстве. Для основной части человечества боязнь Божьего гнева более сдерживающим фактором не явля-

ется. Даже по-настоящему религиозные люди, кажется, настроены по отношению к самоубийству уже не так непримиримо, как прежде. Опросы общественного мнения в США, например, показывают, что даже среди «твердых» католиков процент осуждающих эвтаназию с каждым годом опускается все ниже и составляет менее половины членов этой общины, известной своей суицидностью.

Боли и «некрасивости» теперь тоже можно не бояться — во всяком случае, если вы живете в какой-либо из стран, где существуют филиалы обществ «Цикута», «Экзит», «Эрго» или им подобных. Не хотите больше жить? No problem. Свяжитесь со сторонниками одного из движений, отстаивающих право на смерть с достоинством. Они попробуют отговорить вас от губительного намерения, помогут решить ваши проблемы, а если не получится, научат, как лучше умереть. Впрочем, если в вашей стране и нет отделения подобной организации, вы легко можете получить всю нужную информацию по Интернету. Или просто заказать по почте одно из руководств по эффективному самоубийству. Например, бестселлер Дерека Хэмфри «The Compassionate Crime» («Преступление из сострадания»). И давайте не будем осуждать тех, кто взял на себя страшноватую миссию наставников по самоубийству. Во-первых, люди убивали бы себя и без советчиков, только более мучительно. А во-вторых, не станем плевать в колодез. Мало ли как жизнь повернется.

Специалисты по суициду рекомендуют травиться снотворным — вроде бы это не так больно и не так страшно. Но травиться следует с умом, иначе можно ослепнуть или проснуться идиотом. В Интернете есть

уже и русский сайт «100 способов самоубийства». Там очень лестно отзываются о цианидах, но для пущей действенности советуют принимать их на пустой желудок и предварительно проглотить что-нибудь антигистаминное — чтобы не вырвало.

Тем не менее, по данным исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения, самым распространенным способом самоубийства в современном мире продолжает оставаться самоповешение во всех его бесконечно разнообразных формах. Иуда удавился на осине, Жерар де Нерваль повесился на уличной решетке, житель очень маленького приволжского города с очень большой статуей Ленина выбрал для этой цели протянутую руку вождя [прочитано в газете], а на тихоокеанском острове Тикопия самоубийца надевает на шею леску, конец которой привязан к стволу пальмы, и посильней разбегается. Неизменная популярность самоповешения объясняется просто: веревка всегда найдется, да и при известной сноровке страданий самый минимум.

Однако, как и всякий культурный феномен, суицид подвержен моде, испытывает влияние национального характера и неравнодушен к техническому прогрессу.

Наши совсем далекие предки чаще всего бросались со скалы (если жили в гористой местности), вешались (если жили в лесах) или топились (если жили возле водоемов). Герои античности падали на меч, пили цикуту или вскрывали вены. Средние века ничем не обогатили суицидный арсенал, однако с развитием легкого огнестрельного оружия у мужчин (в особенности военноплебского сословия) самым достойным методом сведения счетов с жизнью стал пистолет. В Европе с

конца XIX века популярнее всего был бытовой газ, лидировавший в суицидальной статистике многих стран вплоть до второй половины нашего столетия, когда на кухне воцарились электроплиты.

Поскольку подавляющее большинство «успешных» самоубийств совершают мужчины, в тех странах, где легко раздобыть пистолет, на первом месте значится огнестрельное оружие. Например, в США из 31 142 самоубийств, зарегистрированных в 1994 году, 60% относятся именно к этой категории (три четверти суицидентов-мужчин выбрали пулю). В то же время в Австралии, где торговля оружием строго ограничена, стреляются лишь 4% самоубийц.

Женщины боятся крови и потому очень редко пользуются огнестрельным или холодным оружием — обычно принимают яд или смертельную дозу снотворного. Однако после 45 лет статистика женских самоубийств меняется: резко возрастает пропорция самоповешений, самоутоплений и прыжков с высоты. Должно быть, в зрелом возрасте соблюдение «красивости» перестает быть для женщин таким уж важным.

По результатам масштабного международного исследования, проведенного ВОЗ в 1969 году, было выявлено 83 метода добровольного ухода из жизни. Много? Не хватает воображения, чтобы представить такое количество способов самоумерщвления? Действительно, большинство суицидентов не мудрствуют, предпочитая идти к последнему выходу одной из проторенных троп. Но находят и оригиналы.

Человеческая фантазия поистине безгранична — особенно когда ее уже не сдерживают ограничения, накладываемые необходимостью жить дальше. В процессе

сбора материалов для этой книги я прочел столько историй об экзотических способах самоубийства, что мог бы без труда расширить список, составленный ВОЗ.

Для начала вспомним о Клеопатре. Как известно, египетская царица хищно и изворотливо боролась за выживание, а потерпев крах, проявила не меньше изобретательности при выборе способа смерти. Она готовилась к уходу капитально, со вкусом. Сначала по приказу царицы слуги испытали различные яды на осужденных преступниках. Когда же выяснилось, что быстродействующие яды мучительны, а медленнодействующие ненадежны, Клеопатра велела опробовать на узниках змей, скорпионов и прочих ядовитых тварей. Так, экспериментальным образом, и была выбрана египетская кобра. «Опыты» показали, что ужаленный ею испытывает сначала легкую головную боль, затем возникает непреодолимое желание смерти, небольшое потовыделение, а за ним — остановка сердца. Клеопатра осталась довольна.

Римлянка Порция, как и подобает вдове Брута, в выборе смерти презрела изнеженность — она проглотила раскаленный уголь и, должно быть, умерла в страшных мучениях, но зато обессмертила этим деянием свое имя.

Кто-то скажет, что две тысячи лет назад легко было изобретать новое, ибо сам мир, с нашей нынешней точки зрения, был совсем молод. Однако истинное разнообразие и новаторство в сфере суицида стало возможно лишь в эпоху развития науки, когда самоубийство превратилось в массовое явление.

В середине прошлого века в Германии некий приверженец научного прогресса, молодой врач из «новых лю-

дей», покончил с собой, введя в вену раствор, содержащий палочку Коха.

Похожий, и все-таки иной способ избрал в 1994 году один сорокалетний француз, выпивший бокал белого вина с подмешанной в него радиоактивной жидкостью.

А вот другой пример воздействия технического прогресса на методику суицида. Сто лет назад венские газеты с ужасом сообщили о диковинном самоубийстве венского пенсионера, вбившего себе в голову молотком один за другим семь гвоздей. В 1971 году ирландский бизнесмен решил воспользоваться для той же цели мощной электродрелью. Он хотел просверлить себе сердце и преуспел в своем намерении, но лишь с девятой дырки...

В 1985 году служащий немецкой фирмы по изготовлению надгробий нашел технически более надежный способ — распилил себя надвое циркулярной пилой.

Даже такая безобидная примета нашего века, как привязанность человека к «нефункциональным домашним животным» (этим тягостным термином обозначается та категория милых, но общественно бесполезных друзей человека, которая по-английски называется гораздо короче — pets), оказывается, может иметь суицидологический аспект. Один французский почтальон использовал своего четвероногого друга следующим образом: привязал поводок собаки к спусковому крючку охотничьего ружья, дуло приставил к груди и бросил мячик. Привыкший к игре пес кинулся за мячиком, натянул поводок, и грянул выстрел. Почему почтальон поступил таким образом — непонятно. То ли рассчитывал на Страшном Суде взвалить часть вины на неразумное животное, то ли просто ружье было длинновато.

Человек, охваченный манией самоистребления, способен на поистине невероятные свершения. У Дж.Феддена описан такой фантастический случай: некая польская девушка, страдая от неразделенной любви, проглотила 4 ложки, 3 ножа, 19 монет, 20 гвоздей, 7 оконных шпингалетов, медный крест, 101 булавку, камень, 3 осколка стекла, 2 бусины от четок и при этом осталась жива.

До какой же степени мощным должно быть желание смерти, чтобы вытворять такое со своим несчастным телом! Тысячу раз прав Джон Донн, писавший:

«Во всей истории нет столько примеров хитрости и изощренности, мужества и ярости, проявленных во имя спасения жизни, сколько их было проявлено во имя ее уничтожения».

Но в первую очередь нас, конечно, интересует то, какой способ ухода из жизни выбирают писатели, — ведь из всех людей именно они одарены самой безудержной фантазией. Предпочтя жизни и творчеству смерть и самоистребление, художественное воображение, верно, должно порождать весьма причудливые и экзотические способы самоубийства — куда там Клеопатре.

У канадской поэтессы Гвендолин Макьюэн (1941—1987) есть стихотворение «Выбор», в котором она примеряет способ самоубийства:

Итак, у нас на выбор есть несколько смертей.

Смерть первая подобна броску катапульты.

Прочь из живота, из пещеры черепа,

Подобно летучей мыши,

взлетевшей с колокольни,

*Подобно бегству из всех преисподен,
Подобно лошади, несущейся
Прочь от картонно-календарного пейзажа.*

*Смерть номер два куда как хороша.
Смерть номер два — ее и не заметишь.
Свернешься на рельсах метро
Вчерашней газетой.
И кто-то потом подберет тебя,
Так и не удосужившись прочитать.*

*Смерть номер три грязнее грязи.
Смерть номер три плоха тем,
Что ее планируешь.
Она обижает людей, она плохая.
Машина со скалы, дыра
Меж глаз, наркотический сон...*

Но выбрала Гвендолин Макьюэн совсем другую смерть — отравилась алкоголем, то есть, попросту говоря, упилась до смерти.

Обращение к «Энциклопедии литературицида» покажет вам, что большинство наших персонажей были на удивление неизобретательны, принимая последнее решение. Не так уж много было литераторов, рассматривавших собственную жизнь как художественное произведение и потому старавшихся задернуть занавес поэффектней. Но все же есть писательские судьбы, финал которых потрясает необычностью или особым трагизмом.

Редкостную изобретательность и техническое предвидение проявил римский полководец, писатель и ора-

тор Квинт Лутаций Катул. Потерпев поражение в борьбе с Марием, он не стал дожидаться неминуемой казни и предпочел уйти из жизни сам. Катул велел разжечь костер в закрытом помещении со свежоштукатуренными стенами и задохнулся от ядовитого пара, тем самым предвосхитив самоубийства бытовыми и выхлопными газами, ставшие популярными два тысячелетия спустя.

Впечатляет и самоубийство Петрония, прозванного «Арбитром элегантности». Праздный и блазирванный аристократ, предводитель светских шалопаев, «превращавших ночь в день», ушел из жизни не менее мужественно, чем его оппонент стоик Сенека. Долгая вражда писателя, любимца Нерона, с другим фаворитом капризного деспота, преторианским префектом Тигеллином, закончилась победой последнего. Когда Петроний понял, что обречен, он пригласил гостей и устроил богатый пир, в разгар которого рассек себе вены. Однако эстет желал насладиться смертью столь же обстоятельно, как наслаждался жизнью, и потому перевязал себе руки — чтобы жизнь уходила не слишком быстро. Он провел несколько часов в приятной беседе с гостями, слушал музыку и стихи, раздавал подарки, награждал или наказывал слуг. В конце концов силы оставили хозяина пира, и он уснул, тем самым полностью осуществив свое намерение — «придал своей вынужденной смерти вид естественности» (Тацит).

Куда менее элегантным получилось самоубийство другого аристократа, жившего в иную эпоху и принадлежавшего к иной культуре. Японский писатель Арима Ёритика (1918—1980), по мужской линии происходивший от владетельных князей, а по материнской от императоров, про-

жил бурную и яркую жизнь. Он воевал в Китае, был прекрасным спортсменом, а когда его отец, известный политик граф Арима, был осужден как военный преступник и лишился всего состояния, Ёритика сделал своей профессией литературу и стал известным романистом, одним из самых популярных японских писателей 50-х и 60-х годов. Страшным ударом для преуспевающего прозаика стало самоубийство его друга и наставника Кавабаты Ясунари, произошедшее в 1972 году. Через месяц после смерти нобелевского лауреата Арима последовал его примеру — отравился газом. Однако умирание затянулось дольше, чем он рассчитывал. Спасенный медиками, Арима утратил способность разговаривать, читать, писать и медленно угасал в течение долгих восьми лет. Пожалуй, это самое медленное и мучительное из известных нам писательских самоубийств.

Бедный Жерар де Нерваль повесился на парижской улице Старого Фонаря, использовав тесемку от фартука, которая почему-то представлялась его помутившемуся рассудку подвязкой прекрасной госпожи де Ментенон. Тесемка была коротка, и безумец долго хрипел и корчился на глазах у зевак, не спешивших прийти к нему на помощь. Когда писателя наконец вынули из удавки, он был уже мертв.

В настоящую мистификацию превратил свою смерть американский беллетрист Юджин Иззи (1952—1996). Сын мелкого чикагского мафиозо, Иззи начинал малолетним преступником и наркоманом, однако нашел спасение в литературе. Однажды декабрьским утром автор 16 остросюжетных романов был обнаружен висящим с внешней стороны окна своего рабочего кабинета, расположенного на 14-м этаже. В карманах повешенного на-

шли три дискеты с фрагментами нового романа, герой которого проникает в логово некоей экстремистской военизированной организации, чтобы написать о ней роман. В незаконченном произведении Иззи есть сцена, где его герой, тоже писатель, вооруженный и в бронежилете, попадает в лапы к экстремистам, которые пытаются его повесить в собственном кабинете. Известно, что Иззи и в самом деле собирал материал об индианских экстремистах, а те действительно хотели с ним расправиться: полиция обнаружила угрожающие письма и записи на автоответчике. Самое поразительное, что труп Иззи был в бронежилете и при оружии — точь-в-точь как в романе. Сбивало с толку только одно: дверь кабинета оказалась заперта изнутри. Понадобилось полицейское расследование, чтобы установить факт самоубийства. В частности, выяснилось, что писатель страдал от депрессии и проходил курс лечения у психиатра.

Смерть Юджина Иззи можно назвать несчастным случаем на производстве: писателю всегда грозит опасность заблудиться в лабиринте между вымыслом и реальностью. Иззи устроил из своей смерти спектакль, но вполне бескорыстно, поскольку главное действие драмы — версии, догадки, сомнения (а вдруг все-таки убийство?) — должно было развернуться уже в отсутствие виновника переполоха. Однако самоубийство другого литератора, голландского искусствоведа и историка Адриана Венемы (1941—1993), дало постановщику возможность насладиться эффектом еще при жизни. Венема, любивший находиться в центре внимания, объявил о своем добровольном уходе заблаговременно, еще до самоубийства, заявив, что пожил на

белом свете достаточно, вполне удовлетворен результатами, так что пора и честь знать. Последние дни жизни у писателя получились интересными: друзья и знакомые отговаривали его от рокового шага, газеты высказывали самые противоположные точки зрения по поводу предстоящей утраты, телевизионщики брали у литератора интервью. А когда Венема выполнил свое намерение, количество и протяженность некрологов превзошли все ожидания.

Что до русских писателей, то они убивали себя чаще, чем литераторы какой-либо иной культуры, однако делали это совсем не эффектно и, как правило, безо всякой выдумки — очевидно, вся их фантазия расходовалась на творчество. В «Энциклопедии литературицида» есть справки о 42 русских писателях-самоубийцах, и каждая из этих судеб трагична. Однако самой тягостной и безысходной мне кажется история самоубийства Николая Успенского (1837—1889), окончившего свою пропащую жизнь как-то уж очень по-русски. Писатель, подававший большие надежды, но пропивший свой талант, для России не редкость. Успенского погубили два обстоятельства: смерть горячо любимой жены и скверный характер. Из-за личного несчастья он начал пить горькую и уже не мог остановиться; из-за болезненного самолюбия пересорился со всеми своими великими друзьями — с Некрасовым, Тургеневым, Толстым. Ради мизерного гонорара Успенский печатал в бульварной прессе скандальные воспоминания о бывших кумирах — собственно, его сегодня и помнят-то главным образом из-за этих опусов. В последние годы жизни окончательно опустившийся писатель бродил с малолетней дочерью по московским кабакам, за стакан играл на гармонике и рассказывал пуб-

лике байки про выдающихся современников. В конце концов его нашли близ Смоленского рынка — Успенский перепилил себе горло тупым перочинным ножом. Накануне просил у приятеля денег на бритву, чтобы поменьше мучиться, но тот не дал, сказав: «Зарежешься и ножиком». Жалкая гибель спившегося таланта потрясла современников. Памяти самоубийцы даже посвятили сентиментальную оду:

*В Москве, на площади, вокруг которой тесно
Ютился мелкий люд в грязи и нищете,
Лежал холодный труп того, кто прежде честно
Стремился к истине, добру и красоте.*

Смерть Успенского шокировала публику не столько самим фактом, сколько своей «некрасивостью». Общество относится гораздо толерантнее к самоубийству, если оно окружено романтическими обстоятельствами и, так сказать, эстетично. *Красивое самоубийство* вызывает восхищение, надолго остается в памяти людей и почти всегда мифологизируется в искусстве.

Здесь мы подходим к особой теме: Суицид Как Художественный Акт.

Одно из главных достоинств человека состоит в способности понимать красоту, стремиться к ней и создавать ее. Стоит ли удивляться, что во все времена находились люди, которым хотелось сделать из своей смерти (которая является не только финалом, но еще и главным событием экзистенции) нечто особенное. Кажалось бы, человеку, решившему покончить со своим существованием, должно быть абсолютно все равно, как будет выглядеть его труп и что подумают оставшиеся в

живых — лишь бы умереть побыстрее и без лишних мучений. Прав Сенека: «Глупый человек, о чем ты стоишь, чего страшишься? Куда ни глянешь ты, везде есть предел зла. Видишь зияющую пропасть? Она ведет к освобождению. Видишь тот поток, реку, колодец? Там обитает свобода. Видишь то согбенное, высохшее, жалкое дерево? С каждой из его ветвей свисает свобода. Твоя шея, твоё горло, твоё сердце — все это пути к побегу из рабства... Ты спрашиваешь, где дорога к свободе? Она в каждой вене твоего тела». Убить себя — дело неприятное, но при этом вроде бы немудрящее. Только при чем здесь красота?

Достойным восхищения считается почти всякое альтруистическое самоубийство — будь то самопожертвование солдата, мученика веры или врача, добровольно прививающего себе смертельную болезнь.

В японской традиции прекрасными считаются все самоубийства, совершенные из благородных побуждений, к каковым относятся чувство долга, любовь или возвышенная скорбь. В эпоху Эдо¹ о таких самоубийцах писали пьесы для кабуки и кукольного театра. Зрители приходили не столько ужаснуться трагедийностью, сколько полюбоваться зрелищем истинной красоты.

Разве не сказал тот же Сенека: «Юпитер не видел на Земле ничего более прекрасного, чем смерть Катона»? Напомним, что Катон Утический, убежденный республиканец и философ-стоик, не пожелал смириться с поражением в политической борьбе и избрал смерть. Он вонзил себе меч в живот, но рана не была смертельной, и врач хотел ее зашить, тогда неистовый Катон разордал

¹ 1603 — 1867 гг.

разрез руками и все-таки умер. Неужели Юпитер и в самом деле не видел ничего более прекрасного, чем это? Да — если говорить не о красоте внешней, а о красоте духа. Хотя, вероятно, нашлось бы немного желающих лицезреть подобную «красоту» собственными глазами.

В суициде может быть своя эстетика, но не зрительная — повествовательная. Красоту такого произведения искусства оценят не те, кто видел сцену смерти или обнаружил обезображенный труп, а те, кто услышал историю произошедшей трагедии. Однако если есть шедевры суицида, то, значит, были и его художники. «Подобный акт готовится в молчании сердца, как великое произведение искусства», — пишет Камю. Это своеобразное искусство, объектом которого становится собственная смерть, — явление редкое, но оттого еще более впечатляющее. Альтруизм здесь ни при чем — те, кто убивает себя из возвышенных чувств, обычно не заботятся о сценической эффектности. Сейчас же речь идет о сторонниках чистого искусства, каковые имеются и в истории суицида.

Монтень пишет об изнеженном императоре Гелиогабале, который от пресыщенности вознамерился покончить с собой небывало изысканным способом. Сначала он повелел возвести роскошную башню, фасад которой был облицован ценнейшими породами дерева и разукрашен золотом и самоцветами. Кесарь собирался броситься с башни вниз, но потом решил, что лучше повесится, для чего были сплетены специальные шнуры из золотых нитей и алого шелка. Однако тут Гелиогабалу пришло в голову, что мужественнее заколоться, и ему выковали меч из чистого золота. На всякий случай были заготовлены и яды — они хранились во флаконах, вырезанных из топа-

зов и изумрудов. Правда, императору так и не довелось осуществить свой элегантный замысел — заговорщики неизящно резали Гелиогабала и бросили труп в грязные воды Тибра.

Волнующую воображение попытку самоубийства предпринял дон Карлос, который, согласно преданию, проглотил алмаз в 200 каратов. В этом случае романтический ореол поступка сугубо литературен — связан лишь с красотой словосочетаний «дон Карлос» (представляешь благородного шиллеровского принца, а вовсе не слабоумного габсбургского выродка) и «алмаз в 200 каратов» (красиво: этакая «гора света», исчезающая в устах, а вовсе не твердый кусок углерода, застрявший в пищеводе и исторгнутый обратно рвотным спазмом).

Одним из самых красивых и одновременно кошмарных «удачных» самоубийств было шоу, которое показал своим гостям виконт Луи Эльмеда. Дело было в Париже в 1906 году. Пустив на ветер все свое состояние, экстравагантный аристократ решил уподобиться христианским мученикам — умереть на глазах у рукоплещущих зрителей. Виконт устроил роскошный банкет, а после десерта развлекал гостей аттракционом: вошел в клетку с тремя львами, специально доставленными из зверинца. Публика смеялась, предчувствуя веселый розыгрыш, однако львы, которых специально держали голодными, были настроены серьезно и оставили от хозяина лишь кучку окровавленных костей. Версия о несчастном случае продержалась недолго — до того момента, когда обнаружилась предсмертная записка виконта, в которой он просил аккуратно собрать то, что от него останется, и похоронить в фамильном склепе.

Встречаются среди самоубийц и настоящие гурманы. Некий мистер Роджестон из Лондона устроил себе предсмертное гастрономическое турне: он совершил прощальный круиз по Европе, вкушая деликатесы в разных странах. Случай, когда пропивают целые состояния, достаточно тривиален, но Роджестон не пил — он ел. Точно рассчитав свои финансовые возможности, он вернулся в Лондон с пустыми карманами. Последний фунт (в Англии 1955 года это было не так мало) гурман потратил с вдумчивостью, поневоле вызывающей восхищение: купил вальдшнепа, приготовил его по всем правилам кулинарного искусства, с аппетитом съел, подождал два часа, чтобы пища переварилась, а затем, вполне удовлетворенный, спрыгнул с Вестминстерского моста в Темзу.

В западном мире случаев эстетизированного самоубийства известно немного — потому-то они так и поражали воображение современников и потомков. Однако есть в истории человечества совершенно особый феномен суицидного ритуала — страшного, кровавого, болезненного и в то же время доведенного до совершенства. Примечательнее же всего то, что этот макабрический балет на протяжении веков считался явлением вполне обычным, почти обыденным.

В ранг художественного действия суицид возвели средневековые японцы, знающие толк в эзотерических искусствах: икэбана — это искусство аранжировки цветов, тяною — это искусство пить чай, а харакири — это искусство распаривать собственный живот.

КРАСИВАЯ СМЕРТЬ

Введение в теорию и практику харакири

Почему вид обнаженных человеческих внутренностей считается таким уж ужасным?.. Чем это так отвратительно внутреннее наше устройство? Разве не одной оно природы с глянцевою юной кожей?.. Что же бесчеловечного в уподоблении нашего тела розе, которая одинаково прекрасна как снаружи, так и изнутри? Представляете, если бы люди могли вывернуть свои тела и души наизнанку — грациозно, словно переворачивая лепесток розы, — и подставить их сиянию солнца и дыханию майского ветерка.

Мисима Юкио. «Золотой Храм»



одготовка. Встать рано утром, когда новорожденное красное солнце, еще не касавшееся в этот день своими лучами Земли, едва выглянет из-за края огромного океана.

Чисто-чисто вымыться, тщательно расчесать и уложить ровно посередине бритой макушки самурайскую косичку.

Ничего не есть и не пить, потому что с земным покончено, а задний проход заткнуть комком ваты — чтобы в последний миг, когда воля уже не властвует над телом, не омрачить конфузом совершенство происходящего.

Одеться в парадное кимоно без гербов. Цвет — белый, в крайнем случае светло-желтый или бледно-голубой.

Сесть к лаковому столику и написать прощальное трехстишие. Можно и чернилами, но лучше собственной кровью — достаточно слегка чиркнуть кинжалом по запястью. Алое на белом — вот цвета нынешнего дня, самого торжественного дня жизни. Стихотворение не должно быть поэтическим шедевром, сегодня не до тщеславия. Что-нибудь простое, спокойное и мужественное, без аффектации:

Жизнь —
Всего лишь сон,
Увиденный во сне.

Теперь всё, пора идти.

Место. Не там, где живут, едят и спят. Лучше всего во дворе буддийского храма. Хорошо и в саду. На земле — соломенные циновки, покрытые белой материей. Сверху алая подстилка, чтобы кровь, растекаясь, не рисовала яркие произвольные узоры, не отвлекала наблюдателей от лицезрения великого таинства. Над головой навес из белой ткани. Белое — это Смерть.

Наблюдатели. Никаких родственников — они остались за Чертой. Никаких посторонних, потому что кичиться своим мужеством перед зеваками вульгарно. Только официальные свидетели, знатоки церемониала. Только представитель Власти. И еще *кайсякунин*, секундант, близкий друг, хорошо владеющий своими чувствами и мечом.

Орудие. У самурая два меча, длинный и короткий. Длинный сегодня не понадобится. Короткий, *вакидзаси*, острее толедской и дамасской стали. Рисовая бумага, падая на лезвие, распадается пополам. Длинная рукоятка, небольшая круглая или прямоугольная гарда, клинок длиной в один сяку (30 сантиметров). На зеркальном клинке волнистый узор от закаливания.

Действие. Если хочется, можно сказать прощальные слова. Можно и промолчать. Свидетель подаст поднос, на нем острием вперед *вакидзаси*. Взять обеими руками, бережно поднести ко лбу и поклониться. За рукоятку не братьяся, обернуть сталь белой тканью или плотной бумагой, оставить обнаженным лишь самый кончик. Спустить кимоно ниже пояса, рукава подвязать под коленями. Это важно, потому что падать навзничь неприлично, тело должно завалиться вперед, ничком. Приспустить набедренную повязку пониже, размять напрягшиеся мышцы живота. До сего момента властвовал канон, но теперь есть выбор, потому что одобренных способов множество. Классический: вонзить кинжал в левую нижнюю часть живота, довести разрез до правого бока, там повернуть клинок острой стороной вверх и вынуть, немного полоснув в направлении ребер. Можно крест-накрест. Но не возбраняется и проявить фантазию — например, взять и вырезать посреди живота *хиномару*, национальный флаг. Только нужно правильно рассчитать, чтобы хватило сил вытянуть руки с высвобожденным кинжалом и наклониться вперед. Больше ничего не требуется, всё сделано безукоризненно. Секундант, стоящий чуть позади с длинным мечом наготове, отсечет голову одним красивым ударом. Хорошо бы, чтобы она не покатилась по земле, а повисла на лоскуте кожи, но это требует особого мастерства.

Женщине, конечно, проще. Сесть, вонзить кинжал в горло и грациозно, увядшим цветком, склониться набок.

Мисима Юкио, великий теоретик и практик харакири, писал, что неяпонцу уяснить смысл и красоту этого ритуала невозможно.

Смысл — еще куда ни шло, но какая тут может быть красота?

«Когда поручик довел лезвие до правой стороны живота, клинок был уже совсем неглубоко, и скользкое от крови и жира лезвие почти вышло из раны. К горлу вдруг подступила тошнота, и поручик хрипло зарычал. От спазмов боль стала еще нестерпимей, края раз-

реза разошлись, и оттуда полезли внутренности, будто живот тоже рвало. Кишкам не было дела до мук своего хозяина. Здоровые, блестящие, они Жизнерадостно выскользнули на волю. Голова поручика упала, плечи тяжело вздымались, глаза сузились, превратившись в щелки, изо рта повисла нитка слюны. Золотом вспыхнули эполеты мундира».

(Мисима Юкио. Рассказ «Патриотизм»)

Вот про эполеты — это красиво, а про кишки...

«Здесь применяют престраннейший способ мести, — докладывал западному миру четыреста лет назад иезуит Валери в трактате «О злых обычаях и прочих диковинах». — Если японца кто оскорбил, обиженный является пред домом обидчика и разрезает себе живот, после чего обидчику ничего не остается, как учинить над собой то же самое». Об этом же рассказывает у Достоевского Иван Петрович Птицын, объясняя логику поведения Настасьи Филипповны: «Знаете, Афанасий Иванович, это, как говорят, у японцев в этом роде бывает. Обиженный там будто бы идет к обидчику и говорит ему: «Ты меня обидел, за это я пришел распороть в твоих глазах свой живот», и с этими словами действительно распарывает в глазах обидчика свой живот и чувствует, должно быть, чрезвычайное удовлетворение, точно и в самом деле отомстил. Странные бывают на свете характеры, Афанасий Иванович!»

С европейской точки зрения этот варварский обычай нелеп, безобразен и попросту смешон.

Нелеп, потому что нет ничего дороже жизни, а если уж жизнь стала не мила, то есть быстрые, эффективные и безболезненные способы с ней расстаться.

Безобразен, потому что брюхо, потроха и требуха — это гадость.

А смешон — это потому что страшно.

В 1868 году в японском порту Сакаи произошла стычка местных полицейских с разгулявшимися французскими моряками, в результате которой четырнадцать матросов были убиты (совсем как в пе-

сенке: «по палубе прошли, по трапу перешли четырнадцать французских морячков»). Консул Леон Рош потребовал от японского правительства строгого наказания виновных, и меры были приняты: двадцати полицейским велели совершить харакири. На церемонию пригласили самого мсье Роша. Он имел возможность наблюдать, как осужденные один за другим в строгом соответствии с ритуалом выпускают себе внутренности. Нервы у консула оказались на удивление крепкими, он высидел одиннадцать раундов, и лишь на двенадцатом ему стало дурно. Экзекуция была остановлена, последние девять полицейских получили помилование. Эта история впечатляет разительностью контраста между несгибаемым мужеством рядовых японских держиморд и европейской пугливостью.

То, на что не способен сам, умнее всего высмеять.

Хотя почему же не способен?

Газета «Новое время» 14 августа 1913 года в разделе «Происшествия» коротко и без каких-либо комментариев сообщает: «В доме № 2 по Забалканскому проспекту рабочий из крестьян Иван Кучкин 19 лет кинжалом распорол себе живот и умер». Очевидно, это запоздалое эхо маньчжурской войны, следствие первого массового знакомства русских с японской культурой. Но сама идея вспарывания собственного живота впервые появилась вовсе не в Японии.

Японцев часто обвиняют в том, что они не умеют изобрести ничего своего, а лишь охочи до скупки иностранных патентов и использования чужих открытий: и нобелевских лауреатов у них мало, и их хваленое искусство китайского корня, и пресловутые карате-дзюдзюцу оттуда же.

Я с этим утверждением категорически не согласен, однако вынужден признать, что первое харакири действительно запатентовано не в Японии, а в Ветхом Завете. Даже если не считать таковым самоубийство царя Саула, который «взял меч свой и пал на него», как слишком отдаленно напоминающее самурайский ритуал (и еще неизвестно, чем именно Саул пал — животом или грудью), то история

смерти неистового иудейского старейшины Разиса¹ уж точно достойна сцены театра Кабуки. По сути дела, он совершил доблестнейшее харакири, причем по вполне резонной мотивации — предпочтя смерть позору пленения. Много веков спустя подвиг Разиса повторит неистовый самурай Мураками Ёситэру, разумеется, в руках не державший Библии и даже не слышавший о ней. В 1333 году, во время междоусобной войны, Ёситэру устроил целый спектакль, чтобы задержать врагов и дать своему сюзеру спастись: поджег дом, залез на крышу, разрезал себе живот, взял в горсть внутренности, обрубил их и кинул во врагов, после чего вонзил клинок себе в горло и бросился вниз. Не правда ли, похоже?

Другое харакири, овеянное славой в западной культуре, — уже упоминавшееся самоубийство Катона Утического, описанное Плутархом, а впоследствии воспетое литературой и увековеченное живописью. Оно произошло в 46 году до нашей эры, а первое японское харакири было зарегистрировано тысячу лет спустя, в 988 году. Знаменитый разбойник Хакамадарэ Ясусукэ, окруженный стражниками, прислонился к столбу и взрезал себе мечом живот. Прежде чем умереть, долго мучился. До разработки ритуала пока еще было очень далеко.

Правила красивого и правильного распарывания живота были разработаны много позже, в XVII веке, когда Япония вошла в эпоху стабильности и жесткой централизованной власти. Все сферы жизни подверглись строжайшему регламентированию. Каждый член общества должен был твердо знать свои права и обязанности, каноны поведения, как положено жить и как положено умирать. В этот период харакири из традиции превращается в узаконенный институт, церемониал которого был разработан в мельчайших подробностях. Выходят пособия с советами и рекомендациями по харакири, даже каталоги с рисунками допустимых и недопустимых разрезов живота. Возникает еще один жанр национального искусства. Икэбана — это искусство красиво и правильно составлять бу-

¹ См. стр. 63

кеты. А харакири — это искусство красиво и правильно рисовать алый цветок на белом животе.

Чем же не угодил самураям бедный живот, самая нежная, незащищенная и при этом абсолютно неромантическая часть бренного человеческого тела?

В том-то и дело, что угодил. В отличие от Европы, где живот считается объектом низменным и нечистым, принадлежностью телесного низа, а стало быть предметом для шуток, у японцев брюшная полость вызывает совсем иные ассоциации. *Хара* — это возвышенно и романтично. Это телесный центр, средоточие жизни (ведь у наших предков слово «живот» тоже когда-то имело иной смысл). По японским понятиям *хара* — это емкость, где обитает человеческая душа. Разумеется, не душа в христианском понимании, а дух, воля, неподдельность.

Древние японцы считали, что лицо служит для вежливости, уста могут солгать, руки грешат, и лишь живот не обманет, именно там корень естества, там правда, там глубинная суть. Чуть ниже пупа, в центре тяжести тела, находится магическая точка *тандэн*. При медитационном сидении — оно называется *дзадзэн* — нужно не отрывать взгляда от этой точки, и тогда можно достичь просветления. При занятиях боевыми искусствами *сэнсэй* велит ученикам концентрировать в *тандэне* энергию и силу духа. Там источник действия, основа истинности. Во время харакири разрез непременно должен проходить через *тандэн* — ведь распарывая себе живот, человек обнажает свою подлинную суть, выпускает свою душу на свободу.

Различие в западной и японской трактовке живота красноречиво проявляется на уровне идиоматики. По-японски выражение «человек с большим животом» означает «человек широких взглядов». Если у кого-то «нет живота», не радуйтесь за стройность его фигуры, ибо перед вами человек малодушный. «Пощупать кому-то живот» — не фамильярность, это выражение означает «выяснить истинное отно-

шение». «Расколоть живот» значит «проявить откровенность» (ну, это как раз похоже на наше «расколоться»). Если японец сказал, что у вас «толстый живот», это комплимент: стало быть, вы – человек щедрый.

Столь же смешно и нелепо звучит для японца буквальный перевод русских идиом вроде «животики надорвать» (то есть погубить свою *хара*?!)) или рекомендации «слушать ухом, а не брюхом» (как раз *хара* для проникновенного внимания годится куда больше).

Харакири (или, по китайскому чтению тех же двух иероглифов, *сэппуку*) просто означает «резать живот».

Никто не знает, сколько самураев за минувшее тысячелетие ушли из жизни этим душераздирающим (по-японски даже в буквальном смысле) способом, самым красивым способом смерти.

Вот японская логическая цепочка.

Смерть – самое красивое, что есть в человеческой жизни.

Самый красивый вид смерти – самоубийство.

Самое красивое из самоубийств – харакири.

Японская традиция, в отличие от христианской, не видит в человеческом теле ничего стыдного, а потому относится к нему с уважением. Считать свое телесное устройство безобразным, с японской точки зрения, просто глупо. Самураю стыдиться нечего: в момент совершения харакири он раскрыт перед миром весь без остатка – и душой, и требухой, неразделимый на составляющие тела и духа и одинаково прекрасный, как снаружи, так и изнутри (см. эпиграф к новелле).

Победа над страхом, болью и преходящестью – это, вероятно, и в самом деле красиво.

«Красота – это страшная и ужасная вещь. Знал ты эту тайну или нет?»

Часть вторая

ПИСАТЕЛЬ
И САМОУБИЙСТВО

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

948503035783

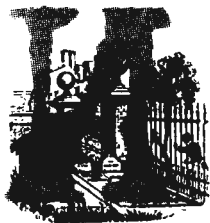
Опасная профессия

...И смерти мысль мила душе моей.

А.С.Пушкин

*Долг интеллектуалов как класса —
совершить самоубийство.*

Э.Че Гевара



Из трех характеристик, при помощи которых человек пытается определить свое принципиальное отличие от прочих представителей земной фауны («рациональное животное», «развлекающееся животное» и «творческое животное»), главной, пожалуй, все-таки является третья.

Человечество как вид рациональным никак не назовешь — на протяжении своей истории оно только и делало, что само себя истребляло, а в двадцатом веке христианской веры чуть было вообще не уничтожило жизнь на планете. Что до склонности к игре, то и она не так уж уникальна. Собака тоже играет с мячом, а кошка развлекается с мышкой.

Нотто sapiens не так уж разумен, не обладает монополией на игру, но зато всякий человек, даже самый неумный и скучный, хоть что-нибудь да создает — из куска дерева, из камня, из сочетания звуков, из абстрактных символов.

Герой моей книги — то творческое животное, которое работает со словами, идеями и знаками, то есть занимается творчеством в первом, основном значении этого сло-

ва: не просто «созидание как деятельное свойство» (В.Даль), а «деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью» (БЭС).

Об этом примечательном времяпрепровождении написано и сказано многое. Вот некоторые особенности феномена творчества, имеющие прямое отношение к теме книги.

Творчество дает творящему ощущение высшей свободы. «Творчество есть освобождение от рабства, — пишет Н.Бердяев в работе «О рабстве и свободе человека». — Человек свободен, когда он находится в состоянии творческого подъема. Творчество вводит в экстаз мгновения. Продукты творчества находятся во времени, самый же творческий акт находится вне времени». Высшая свобода — это прежде всего освобождение от страха. Когда человек искусства охвачен вдохновением, он не боится ничего, даже смерти. Он почти Бог и испытывает максимально возможное для смертного ощущение независимости и всемогущества.

Творчество примиряет человека с несимпатичными аспектами бытия. Ф.Ницше, авторитетнейший эксперт во всем, что касается художника и искусства, был убежден, что если бы не существовало искусства, то есть *культы недействительного*, то сознание всеобщей жизни и недействительности было бы совершенно невыносимым. «Честность привела бы людей к отвращению и самоубийству». Искусство — это добрая воля к иллюзии. «Искусство и ничего, кроме искусства, — объявляет Ницше. — Оно существует для того, чтобы мы не умерли от правды». Занимаясь творчеством, художник спасает человечество от массового самоуничтожения, придает

существованию красоту и смысл. Спасительная роль искусства особенно возрастает в эпоху, когда ослабевает смыслообразующая и жизнеоберегающая функция религии. «Искусство поднимает главу, когда религия приходит в упадок» (Ницше). Но тогда же «поднимает главу» и суицид.

Творчество — это попытка смертного победить смерть. Бердяев пишет, что человеку ведомы два страха: страх жизни и страх смерти. Держать их в узде помогает организация обыденности, которая создает у человека ощущение безопасности. В этом смысле творческий человек беззащитен, как черепаха без панциря: обыденность ему чужда, она его враг. Человек убивает себя тогда, когда страх жизни становится сильнее страха смерти. С художником это происходит чаще, чем с *обыденными* людьми. Зато человеку искусства дана компенсация особого рода — он ведет игру, которая создает иллюзию победы над смертью. Ж.Кокто сказал: «Писать — это убивать смерть». Разумеется, игра со смертью предполагает и возможный проигрыш. Не исключено и другое — можно увлечься партнером и подпасть под его магнетическое влияние. Неслучайно столько людей искусства (прежде всего литераторов) были поистине зачарованы смертью и всю жизнь исполняли с ней некий причудливый танец — как правило, не слишком длинный. В эссе «Смерть как возможность» М.Бланшо отмечает диалектическое единство смерти и творчества. Возможно, главная привлекательность самоубийства для художника состоит в том, что оно — высший акт доступного человеку творчества и в то же время поступок, как бы *отменяющий смерть*. Анализируя дневники Ф.Кафки, Бланшо безошибочно нащупывает главный нерв творчества:

«...Чтобы писать, необходимо властвовать над собою перед лицом смерти, необходимо установить с нею отношения господства. Если она для тебя нечто такое, перед чем теряешь выдержку, чего не можешь выдержать, — тогда она похищает у тебя слова из-под пера, перебивает твою речь; писатель уже больше не пишет, а кричит, и его неловкий, невнятный вопль никому не слышен или же никого не волнует. Кафка здесь глубоко прочувствовал, что искусство — это связь со смертью. Почему со смертью? Потому что она предел всего. Кто властен над нею, обладает предельной властью и над собой, обретает все свои возможности, является одной великой способностью. Искусство — это власть над смертным пределом, предел всякой власти».

Самоубийство писателя — это нередко еще и полемика с Абсолютом. Художник, творец — это Демон, любящий Бога, но отказывающийся быть Его слепым орудием, жаждущий разговора на равных, диалога. За эту дерзость без конца низвергаемый в грязь и ничтожность своего человеческого происхождения, художник вновь и вновь взмывает вверх на крыльях творчества. Но силы, разумеется, неравны.

Творчество — это попытка сделать эфемерное вечным. Не-боязнь смерти, победа над ней, извечное «нет, весь я не умру» подразумевает еще и бунт против разрушительности Времени. Аристотель называл среди главных стимулов человеческой деятельности *атанатизейн* — желание обессмертить себя посредством великих деяний и произведений искусства. Это желание свойственно почти всякому из живущих. Правда, осуществить его мало кому удастся, но зато успех этих немногих кружит голову остальным. Оставить о себе память хочется не только ца-

рям, поэтам и философам. Самый распространенный опус в жанре *атанатизейн* — надписи на видных местах в жанре «Здесь был Коля». Безвестный Коля хочет, чтоб его помнили, чтобы о его существовании знали незнакомые ему люди. Иногда Коля, рискуя жизнью, лезет на отвесную скалу, чтобы оставить там свой незамысловатый текст, и тогда память сохраняется дольше. Писатель — это самый ловкий и удачливый из Колей: он тиражирует память о себе множеством экземпляров, и на каждом значится его фамилия. По сравнению с жизнью в веках, а если повезет, то и тысячелетиях, годы или даже десятилетия телесного существования могут показаться не бог весть какой важностью.

Творчество — это картина, написанная собственной кровью. В идеале литератор должен всю жизнь писать так, как пишет предсмертное трех- или пятистишие самурай перед харакири. Все наследие писателя подобно предсмертному стихотворению. Если оно выведено на бумаге не чернилами, а собственной кровью, то сотрется нескоро. Писатель — это осьминог, которым вообразил себя японский поэт-самоубийца Икута Сюнгэцу (1892—1930):

Чудо-осьминог

Есть тело, полное чернил.

Если его ранить — потекут чернила.

Бедная двадцатилетняя душа,

наполненная чернилами,

Поняла, что и сама она — всего лишь чернила.

Чтоб спрятаться от всех,

Выпускает чернильное пятно чудо-осьминог...

(Кстати, уж не будем забывать, что для осьминога чернила тоже не канцпринадлежность, а собственная секреция.)

«Из всего написанного я люблю только то, что пишется своей кровью».

(Ф.Ницше)

Все это пространное вступление понадобилось для обоснования тезиса о том, что творчество — профессия опасная и заниматься ею могут только люди, у которых изначально не все в порядке с инстинктом самосохранения. Мир художника аномален, патологичен. Творческие профессии вредны для здоровья. Готфрид Бенн писал: «За последние пять столетий большая часть выдающихся людей искусства были либо душевнобольными, либо гомосексуалистами, либо наркоманами, либо одержимыми суицидальным комплексом, за исключением разве что Гёте и Рубенса». [Насчет Гёте не совсем верно: как известно, ему пришлось написать «Вертера» для того, чтобы избавиться от суицидального комплекса.]

«Литература насквозь пропитана ядом», — свидетельствует ядоносный японец Ю.Мисима, отравивший этой отравой многих, но и сам получивший смертельную дозу.

«Искусство опасно художнику», — предостерегает другой интоксичированный, Ницше. У него же читаем еще одну важную мысль, помогающую лучше понять душевную конструкцию человека искусства: «Художник есть отсталое существо, остановившееся на ступени игры, которая принадлежит юности и детству».

Да, творческая личность часто инфантильна. Истинный писатель, художник, композитор подобен ребенку — свежестью восприятия, эмоциональностью, а главное беззащит-

ностью. Отсюда повышенная ранимость, болезненное восприятие любой критики в адрес своих произведений. Критик — это образ Взрослого, образ Отца, обрушивающегося на дитя за то, что оно натворило нечто предосудительное. Истории литературы известно немало примеров того, как жестокость критики довела писателя до отчаянного шага. В «Энциклопедии литературоведения» такие случаи есть и на «А»¹, и на «Б»², и на многие другие буквы алфавита.

Почему из всех сфер творчества именно литература чаще всего подталкивает своих жрецов к самоубийственному сценарию? В чем ее ядовитость?

В книге И. Меерло «Творчество и этернизация» отличия между значением разных типов творческой деятельности сформулированы следующим образом:

«Музыка — напоминание о ритмичном мире, в котором плод существует в утробе. Мастерски гармонизируя пункт и контрапункт, композитор интегрирует контрастирующие человеческие эмоции. Под воздействием музыки в нас, пусть ненадолго, ослабевают вражда и ненависть. Живопись символизирует магическое покорение вселенной и в то же время отчужденность от нее. Писательство уходит корнями в ту сложную область человеческих отношений, где чередование звука и безмолвия, ритм, «нерв» играют не меньшую роль, чем значение произнесенных слов. В процессе сочинительства автор непрерывно общается с собой, используя для этого образы персонажей, которым он дает жизнь».

¹ Например, мексиканский поэт и драматург Мануэль Акунья (1849–1873), отравившийся из-за того, что публика и критика приняли в штыки его пьесу.

² Например, французский драматург Арман Барте (1820–1874), сошедший с ума из-за критики в адрес своих произведений, подвергший себя самокастрации и умерший от потери крови.

Очевидно, суть именно в этом: писатель обладает уникальной, магической силой *давать жизнь*. Позволим себе литературоцентристское суждение: писатель — творец в еще большей степени, чем композитор или художник. Посредством чернил (которые, как мы уже установили, и есть его кровь), посредством закорючек на листе бумаги он создает объемную, сложную, правдоподобную — совсем как живую, нет, лучше, чем живую — модель мироздания. Он производит на свет выдуманных людей, которые потом становятся для читателей куда более живыми, чем многие реальные люди. Суть же в том, что литературный творец больше, чем творцы прочих типов, *покушается на роль Творца*.

Собственно, существует два противоположных взгляда на творчество — как на процесс демонический или как на процесс божественный.

Сторонники первой точки зрения утверждают, что искусство происходит от мятежного ангела, что в основе творчества — гордыня, бунт и узурпация права, принадлежащего только Творцу.

Вторая точка зрения считает художника не источником вдохновения, а медиумом, человеком, обладающим драгоценной способностью безошибочно чувствовать и находить то прекрасное, что уже существует в Божьем мире. Ясперс называл это драгоценное качество умением распознавать трансцендентные шифры бытия. Кистью по холсту или пером по бумаге водит не художник, а Бог. Гениальный композитор не создает великую симфонию, ибо она уже существует — он *находит* ее в бесчисленном сочетании звуков. То же относится к скульптору, отсекающему от глыбы лишнее, к поэту, который просто составляет слова, но составляет их *правильно*, единствен-

но возможным образом, и, соединенные именно в такой, продиктованной свыше последовательности, они обретают не только прекрасную форму, но еще и смысл, иногда удивляющий глубиной самого поэта. Не секрет, что лучшие стихи великих поэтов часто умнее своих творцов, а те читатели, кто восхищался великим писателем по его произведениям, оказываются разочарованы при личном знакомстве. И правильно, с писателями не надо дружить — ведь они гении литературы, а не дружбы. Их надо читать. Конечно, обидно, что замечательный литератор может оказаться неумен или по-человечески несимпатичен. От композитора или художника ума не очень-то и ждешь, а тут все-таки мысли, слова... С другой стороны, чему удивляться, если вдохновение принадлежит не писателю, а иной, более высокой инстанции?

Из всех людей искусства писатель особенно уязвим. Над ним всегда висит подозрение в шарлатанстве — если не со стороны читателей, то в собственных глазах. Художник умеет рисовать, скульптор умеет ваять, композитор тоже, слава Богу, консерваторию заканчивал — их профессионализм очевиден. А писатель владеет только словом, только знает буквы. Как и все остальные. В периоды депрессии писатель чувствует себя самозванцем, вжимает голову в плечи, боясь услышать торжествующее: «А король-то голый». Король и сам не уверен, что он одет. Отсюда уже упоминавшаяся болезненная чувствительность к критике.

С какой позиции на творчество ни смотри — хоть с «божественной», хоть с «демонической», — совершенно очевидно, что человек искусства вообще и литератор в особенности по всем параметрам должны попадать в группу высокого суицидального риска.

«Искусство —
самый яростный бунт
человека против судьбы».
А.Мальро

Творчество — почти всегда занятие индивидуальное. Более того, оно подразумевает крайнее одиночество, даже противопоставление себя остальным людям. Это классическая суицидальная установка, при которой ослабевают все связи, удерживающие человека в жизни, — и семейные, и общественные, и религиозные. Из хорошего художника редко получается хороший семьянин, потому что экстаз творчества сильнее семейных уз. Связь творческого человека с общественными институтами тоже иллюзорна и ненадежна: чуть ли не самый высокий процент самоубийств отмечен у так называемых ангажированных творцов, вроде бы наступивших на горло собственной песне, но шагать в ногу так и не научившихся (мы сейчас говорим о *настоящих* писателях, а не о членах Союза писателей СССР). С Богом у художника — каким бы религиозным он ни был — отношения тоже небезмятежны. Все дело в том, что у творческого человека проблема со смирением — оно несовместимо с избранной им профессией. А без смирения какая уж богоугодность? Творческий человек может весь лоб себе расколотить о каменные плиты церковного пола, но все равно в глубине души останется еретиком, вечно сомневающимся в существовании Бога или, по крайней мере, в правильности Его законов и действий.

Опаснее всего то, что магическая сила художника зависит не от него самого, а от некоей внешней силы, перед которой он беззащитен. Не столь важно, как он эту силу называет — Богом, Демоном, Музой или Вдохновением. Когда она есть, творческий человек чувствует себя не-

уязвимым и всемогущим, ему кажется, что он небожитель и пребудет таким всегда. К несчастным собратьям по цеху, разуверившимся в себе и наложившим на себя руки, в такие минуты художник относится свысока.

«Как бы ни был чужд этот мир, самоубийство не ведет к просветлению. Как бы ни был благороден самоубийца, он далек от мудреца. Ни Акутагава, ни Дадзай Осаму и никто другой не вызывают у меня ни понимания, ни сочувствия», — с восхитительной черствостью пишет Кавабата Ясунари, несколько лет спустя отравившийся газом.

«Я не люблю самоубийц. Не могу уважать писателя, покончившего с собой», — надменно заявляет тридцатилетний Мисима Юкио, а в сорок пять взрежет себе живот.

«В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней», — поучает Есенина победительный Маяковский, который через четыре года застрелится. «Негоже, Сережа, негоже, Володя», — корит обоих Марина Цветаева, а потом повесится на гвозде в сених.

Плохая примета для пишущего человека — осуждать собратьев-самоубийц. Такое ощущение, что нарушившие это табу обречены нести ту же кару.

Справедливости ради отметим, что писательство — не единственная профессия, чреватая суицидальным риском. Высок уровень самоубийств у бизнесменов и врачей. Ну, с первыми ясно — современные флибустьеры, жертвы свободного предпринимательства. Их жизненный сок — ликвидность; когда liquid безвозвратно вытекает, жить становится незачем.

С врачами другое. Во-первых, у них всегда под рукой имеются средства для быстрого и безболезненного ухода, что снимает одно из двух главных антисуицид-

ных препятствий, «очень маленькую вещь», о которой говорил Кириллов. Во-вторых, медик находится в постоянной близости к чужой болезни и смерти. От этого притупляется страх и возникает отстраненность. Особенно часты случаи самоубийства среди психиатров и психоаналитиков, которые, казалось бы, должны быть застрахованы от рокового поворота мысли самой своей специальностью. Й.Меерло пишет, что хирург рискует подцепить инфекцию, психиатр же рискует заразиться от своих пациентов суицидальным комплексом. Во вступлении к своей книге «Самоубийство и массовое самоубийство» американец честно признается: он исследует суицид, чтобы отогнать от себя этот призрак. Что ж, не он первый и не он последний.

Сравнение литератора с медиком (оба человековеды, оба должны врачевать: один душу, другой тело, у обоих этический лозунг «не навреди») давно стало общим местом. В писательской среде самоубийства происходят еще чаще, чем в медицинской. Пусть писателю не приходится тесно общаться с недугом и смертью, зато он постоянно лицом к лицу с вечностью, с тем, что расположено за смертным пределом, а это еще опасней: легко увлечься и зайти на шаг дальше, чем позволено.

Первые же исследования профессиональной суицидо-предрасположенности, проведенные в XIX веке, показали, что сразу за военными (это понятно: сам выбор «опасного» ремесла свидетельствует об определенном суицидальном складе личности) следует творческое сословие (к нему причисляли людей искусства и ученых). Согласно Э.Дюркгейму, благополучнее всего дела обстояли у земледельцев — всего 2,5 суицидных случая на 100 000 человек. В «творческой» же группе наблюдался

коэффициент 61,8 (!), что в 2,5 раза выше, чем у третьей по порядку группы — коммерсантов.

В самом начале книги я признался, что литературицид занимает меня не сам по себе, а как частный случай феномена человеческого самоубийства. Просто литераторы, как дрозофиллы, наиболее удобны для исследования: писатель, во-первых, — представитель человеческой породы *rag excellence*, а во-вторых, эта людская разновидность склонна к душевному эксгибиционизму и к тому же наделена даром слова. Литератор сам рассказывает нам всей своей жизнью и творчеством, почему с ним *это произошло*.

Главный персонаж этой книги — человек-самоубийца, а то, что при этом он еще и литератор, не столь существенно. Мотивации суицидного решения у писателей в подавляющем большинстве случаев самые обычные, типические. У них всё «как у людей». Так и называется первый, основной раздел этой части. В нем речь пойдет об общечеловеческих, тривиальных (насколько такой поступок вообще может быть сочтен тривиальным) типах самоубийств.

Разумеется, у писателей, как и у всех, встречаются экзотические случаи суицида, не укладывающиеся ни в одну из хрестоматийных моделей. К какому разделу, скажем, отнести австрийского драматурга Ф.Раймунда (1790—1836), который покончил с собой, испугавшись, что укусившая его собака была бешеной? К психозам? Но Раймунд был психически здоров (собака, как потом выяснилось, тоже).

Дюркгейм перечисляет среди лидирующих суицидных мотивов психические расстройства (более $1/3$ случаев), физические страдания ($1/6$), семейное горе ($1/7$). Примерно те же пропорции просматриваются в «Энциклопедии

литературицида». Писатель переживает то же, что и обычные люди, не-писатели, только, как правило, сильнее. Да и так называемых акцентуированных личностей среди представителей творческих профессий гораздо больше.

В целом причины писательских самоубийств оригинальностью не отличаются. Но есть довольно распространенные суицидные мотивации, которые писателям мало свойственны. Например, мне неизвестны случаи участия литераторов в коллективных самоубийствах — сказывается индивидуализм ремесла. Мало и альтруистических самоубийств — писательское ремесло еще и эгоистично. В обширной «Энциклопедии литературицида» таких примеров почти нет. О патристичном японском поэте-романике Хасуде Дзэмме (1904—1945) я уже рассказывал (он застрелился в день, когда империя капитулировала). Французская писательница Симона Вайль (1909—1943), славившаяся идеализмом и самоотверженностью, уморила себя голодом в знак солидарности с мучениями поработанных фашистами соотечественников. Норвежец Енс Бьёрнебу (1920—1976) покончил с собой, протестуя против гибели террористки Ульрики Майнхоф. Правда, в этом случае альтруизм, кажется, был не без примеси нарциссизма, поскольку писатель давно уже приглядывался, из-за чего бы этакого наложить на себя руки.

Несвойственны писателям и так называемые криминальные самоубийства, широко распространённые у обычных смертных. Это тип суицида, к которому прибегает преступник, измученный раскаянием или желающий избежать наказания. Не то чтобы гений был так уж несовместен со злодейством, просто писатель главные свои преступления совершает на бумаге и кровь проливает там же.

«Я пишу романы,
чтобы
не совершить
убийства».
Ю.Мисима

Писатель убивает только тогда, когда ему не удастся убедительно совершить убийство в сотворенном им художественном измерении. Такое происходит разве что с сочинителями третьего ряда. Например, в 1967 году неудачливый английский писатель Халливелл проломил молотком голову своему другу, удачливому драматургу Д.Ортому, после чего отравился снотворным. Но Халливелла вы в «Энциклопедии» не найдете — не тот ранг.

Преступной была предсмертная шутка французского поэта Жака Ваше (1895—1919). Он уже принял смертельную дозу опиума, когда к нему заглянули двое приятелей. Ваше угостил наркотиком и их, не предупредив о том, что после четырех граммов опиума не просыпаются. Но какой спрос с дадаиста?

Итак, в разделе «Как у людей» писатели кончают с собой по тем же причинам, что и все остальные: душевное нездоровье, страх перед страданиями и старостью, боль утраты, просто боль, пьянство, плети и глумление века, гнет сильно-го, насмешка гордеца... Однако существуют и чисто «писательские» разновидности самоубийства, нормальным людям не свойственные. Имеются в виду профессиональные заболевания с летальным исходом. У токаря — варикозное расширение вен, у жокея — геморрой, у водолаза — скачки давления. У литератора же — творческий кризис, невьносимость отрыва от родной языковой среды, искушение спутать собственную жизнь с романом.

Подобным случаям посвящен особый раздел второй части — «Не как у людей».

Раздел I

Как у людей

«Последняя капля»

*Мой близкий! Вас не тянет из окошка
Об мостовую брякнуть шалой головой?
Ведь тянет, правда?*

Саша Черный



асто бывает, что причину, по которой человек себя убил, найти трудно. Во всяком случае, главную причину. Иной раз кажущаяся неосновательность мотива повергает современников и потомков в тягостное недоумение: как можно было наложить на себя руки *из-за этого?* Если же непосредственный повод, подтолкнувший суицидента к роковому шагу, остается вовсе неизвестен, то возникают всевозможные домыслы и версии, особенно когда речь идет о людях особенных, к каковым безусловно принадлежат герои этой книги.

Скорее всего, вина тут лежит на синдроме «последней капли», очень хорошо знакомом суицидологам. Причины

для добровольного ухода из жизни есть, да, как правило, не одна, а целый комплекс, но срыв происходит из-за какого-нибудь малозначительного, несущественного (иногда до комичности несущественного) обстоятельства. Это напоминает известную притчу о том, как человек, у которого на шнурке завязался узел, выбросился из окна. Дело в том, что его с утра преследовали сплошные несчастья, он держался из последних сил, а тут не выдержали нервы — непослушный шнурок стал последним подтверждением враждебности окружающего мира. Последняя капля и есть всего лишь капля, сама по себе она мало что значит, но она переполняет чашу, которая и так уже налита до самых краев.

В биографических справках о классике мадагаскарской литературы Жане-Жозефе Рабеаривелу (1901—1937) можно прочесть, что поэт покончил с собой после того, как ему отказали в поездке на Всемирную выставку в Париж. Париж, возможно, стоит обедни, но жизни? Экзотичная мотивация заслонила истинные причины самоубийства.

Нет, конечно же, Рабеаривелу убил себя не из-за Парижа. Отец четверых детей, он влачил нищенское существование и не мог прокормить свою большую семью. Его, лауреата премии Французской академии, не принимали даже на жалкую должность клерка в колониальную администрацию. Пагубное пристрастие к опиуму делало и без того тяжелую жизненную ситуацию совершенно невозможной. Поездка во Францию, страну, которая для Рабеаривелу была сказочным королевством великой литературы, представлялась несчастному поэту единственным шансом на спасение, прорывом в иной, волшебный мир. Разумеется, даже если бы этот вояж состоялся, он

ничего бы не изменил — возвращение к прежней жизни лишь усугубило бы безысходность и исход был бы тем же. Унизительный отказ лишь ускорил финал, стал пресловутой последней каплей.

Эта капля очень часто имеет привкус унижения, что делает ее особенно горькой. Творческие люди обычно обладают обостренным самолюбием и высоким (подчеркнем: оправданно высоким) самомнением; к унижению они болезненно чувствительны.

Британского художника и автора искусствоведческих книг Бенджамина Хэйдона (1786—1846) всю жизнь преследовали несчастья. Он был блестящим теоретиком искусства, но довольно посредственным художником. Главным делом своей жизни считал живопись, хотя лучшие его произведения принадлежат литературе. Картины продавались плохо, Хэйдон не раз попадал в долговую тюрьму. Острые полемические статьи нажили ему немало влиятельных врагов среди маститых художников, которые всячески усложняли и без того тернистый путь искусствоведа-живописца. Опасная затея — совмещать профессию творца с профессией критика творчества, слишком легко стать мишенью ответной критики. К своему 60-летию Хэйдон устроил персональную выставку, на которую возлагал много надежд. Художник с детства был очень слаб зрением и потому писал только очень большие, монументальные картины. Огромные исторические полотна были развешаны по стенам пустых залов, куда никто не заглядывал. Посетителей в выставочном комплексе, впрочем, было много, но все они проходили мимо. Когда Хэйдон узнал, что именно интересует равнодушных к его творениям лондонцев — «американский карлик Том-с-Пальчик», демонстрируемый в соседнем павильоне, — это последнее унижение подкосило юбиляра. Он полоснул себя бритвой по гор-

лу, но руки от обиды дрожали, так что пришлось еще и брать-ся за пистолет.

Всякий человек обладает неким запасом психической и нервной прочности. Персональные чаши терпения весьма разнятся по своей емкости — от бездонной бочки до наперстка. У творческой личности этот сосуд совсем мал. Каждая падающая в него капля — не мелочь, а событие, обретающее значение символа. Когда несчастья или даже просто неприятности сыпятся сплошной каплейю, писатель слышит в этом дробном речитативе зловеющий рокот судьбы.

В конце сентября 1940 года в маленьком французском городке Пор-Бу у испанской границы скопилось множество беженцев, пытающихся уйти за Пиренеи, пока немцы не перекрыли перевалы. Положение у беглецов было отчаянное, особенно у тех из них, кто имел серьезные основания опасаться встречи с гестапо, а таких здесь было много — антифашисты, политические эмигранты из Германии, евреи. Вишистское правительство отказывало этим людям в выдаче выездной визы, а 26 сентября возникло новое осложнение: границу закрыли и испанцы. Проблема была чисто бюрократической и должна была вскоре разрешиться, потому что у большинства беженцев имелись американские визы. Кроме того, пиренейская граница почти не охранялась, ее можно было перейти, минуя формальности. Кто-то из беглецов так и поступил. Кто-то принялся хлопотать и бегать по инстанциям. А один из немецких эмигрантов, известный писатель Вальтер Беньямин (1892—1940), принял яд и к утру следующего дня был мертв. Потрясенные столь неадекватной реакцией на обычные бумажные проволочки, чиновники немедленно, назавтра же, выпустили всех остальных за кордон.

Понять истинную причину импульсивного поступка Беньямина можно, только если вспомнить, как переполнялась чаша, последней каплей в которой стал малозначительный пограничный инцидент. Победа нацистов вынудила Беньямина, еврея и либерала, расстаться с родной страной и с любовно собранной библиотекой, которая для литературоведа и книжного червя была единственно возможной средой обитания. С началом войны писатель был интернирован во Франции как германский подданный. Парижские знакомые сумели вытащить его из лагеря, но, вырванный из жизни, Беньямин лишился средств к существованию. После капитуляции началось бесконечное, изнурительное бегство по охваченной паникой стране. У писателя иссякла энергия — физическая, психическая, нравственная. Вряд ли он выжил бы, даже добравшись до Нового Света. Американское убежище не спасло от самоубийства ни Стефана Цвейга (1881—1942), ни Эрнста Толлера (1893—1939), ни Эдгара Цильселя (1891—1944). Бюрократическая неприятность стала для Беньямина пресловутым узлом на шнурке.

Воздействием синдрома «последней капли», очевидно, следует объяснять и два самых известных русских литературцида — смерть Владимира Маяковского и Марины Цветаевой.

В первом случае очевидной, большой причины не было вовсе, зато мелких называют целый ворох: холодок в отношениях с властью, запрет на поездку в Париж (опять этот географический символ Иной Жизни!), провал юбилейной выставки, пробоина в «любовой лодке», даже затяжной грипп. Вряд ли какая-то из этих мотиваций могла побудить «агитатора, горлана, главаря» выстрелить из револьвера в собственное сердце. Поэтому возникла

красивая версия об осознании своей вины поэтом, который сначала продал свой дар силам зла, а потом пробудился и раскаялся: «...Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил. Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят, и длилось оно не спуск курка, а двенадцать лет жизни» (М. Цветаева). В этом высказывании, пожалуй, верно лишь то, что самоубийство Маяковского длилось много лет. Суицидальные мотивы в его творчестве и поведении проявлялись с раннего возраста. Многие стихи буквально сочатся агрессией, направленной то вовне, то — в депрессивные периоды — на самого себя («А сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою...»). Лиля Брик рассказывала: «Мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского, и, как каждая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях... Всегдашние разговоры о самоубийстве! Это был террор». В молодости, по собственным словам, он дважды играл в «русскую рулетку». Есть основания предполагать (об этом говорила и Л. Брик), что 14 апреля 1930 года поэт решил попробовать в третий раз — то есть не столько убить себя, сколько сыграть в самоубийство.

Для суицида оснований было недостаточно. Для проверки судьбы — окончательно ли отвернулась или подарит новую жизнь и новое рождение — хватало.

Вероятно, Маяковский предвидел, что грядет «последняя капля», ждал этого маленького всплеска, готовился к нему и даже сам выбрал день, час и повод: объяснение с Вероникой Полонской. Если она откажется выполнить требования выдвинутого им «меморандума» (уйти от мужа, бросить театр и т.п.), пора крутить барабан. Бла-

годаря этому мистическому движению переполненная чаша будет перевернута, опустошена, и пойдет новый отсчет зловещей капли.

Оснований для гипотезы об «игре в самоубийство» немного, но все же они имеются. Первое уже было названо — два предыдущих сеанса «русской рулетки». Второе — странный, не соответствующий масштабу личности тон предсмертной записки: ненужные, суетливые детали («товарищи рапповцы... Ермакову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться... В столе у меня 2000 руб. — внесите налог. Остальные получите с ГИЗа...»), кокетство («товарищ правительство», «серiously», «покойник этого ужасно не любил»), наспех переименованное четверостишие, которое было написано совсем о другом (вместо первоначального «С тобой мы в расчете» стало «Я с жизнью в расчете»). Такое ощущение, что это не предсмертная записка, а соблюдение некоей формальности человеком, который вообще-то в скорую смерть не верит. Ну и, разумеется, третье: в барабане револьвера был всего один патрон, что со стороны «серьезного» суицидента было бы крайне неосмотрительно. Застрелиться, особенно если целишь в сердце, не так просто, как может показаться. Многие пытались, но лишь нанесли себе тяжелое ранение, а кое-кто из героев «Энциклопедии литературицида» был вынужден вслед за первой пулей послать и вторую — например, португалец Антеро Кентал (1842—1891).

Если причины самоубийства Маяковского вызвали немало гипотез и пересудов (вплоть до версии об организованном чекистами убийстве), то мотивы ухода Цветаевой всем более или менее ясны, спор лишь в деталях — что было самым важным среди других важных факторов: тя-

готы эвакуации, общая безнадежность ситуации или тяжелые отношения с переживающим переходный возраст сыном. Сын и в самом деле был жесток с матерью, но очень неглуп. После похорон сказал: «Марина Ивановна поступила логично». И был прав.

Мы не можем с полной достоверностью сказать, что именно стало для 48-летней поэтессы «последней каплей». Выбор более чем широк. Невозможность перебраться из Елабуги в Чистополь, где она чувствовала бы себя в меньшей изоляции, потому что там жили эвакуированные писатели? Безденежье и отсутствие заработка (предлагала переводить с татарского в обмен на мыло и махорку, но из этого ничего не вышло)? Очередная ссора с сыном? Или даже без ссоры: заставляла себя жить, считая, что необходима сыну, и вдруг осознала, что, наоборот, только мешает ему своей непрактичностью, бестолковостью, неуравновешенностью?

Конечно, какой-то последний толчок был. Достаточно сильный, чтобы стало все равно — в сенях так в сенях, на гвозде так на гвозде, только побыстрее. Но чаша наполнялась долго, очень долго. Все этапы наполнения известны и многократно проанализированы.

Образ веревочной петли незримо свивался вокруг ее шен всю жизнь. Первый раз пыталась повеситься семнадцатилетней — это было обычное, подростковое, как у многих. Потом в Париже было два самоповешения родственников: сначала младший брат мужа, потом, на том же крюке, его мать Елизавета Петровна Дурново-Эфрон.

Акцентуированность личности у Цветаевой выражена необычайно сильно, психика все время на грани срыва. Такое ощущение, что в ином эмоциональном режиме она

существовать и не смогла бы. В последние годы чаша наполнялась все стремительней и стремительней: полицейские неприятности во Франции; роковая ошибка возвращения на родину; арест Сергея Эфрона и дочери. Осенью 1940 года записала: «Никто не видит — не знает, — что я год уже (приблизительно) нищу глазами — кряк». Потом война, бегство. Паустовский рассказывал: «Пастернак пришел к ней помочь укладываться. Он принес веревку, чтобы перевязать чемодан, выхвалял ее крепость и пошутил, что она все выдержит, хоть вешайся на ней. Ему впоследствии передавали, что Цветаева повесилась на этой веревке, и он долго не мог простить себе эту роковую шутку».

Да, было что-то, не так уж и важно что, после чего Марина Ивановна написала письма сыну, мужу, дочери, Асеевым («Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в сыновья — и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю...») и повесилась.

В стихотворении, написанном ею за два года до смерти, — строки, которые могли бы стать гимном самоубийц:

*Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещей глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.*

Юность

Молодость ходит со смертью в обнимку.

Сергей Гандлевский



самоубийство творческих людей имеет собственную возрастную динамику, не вполне совпадающую с классической хронометрией суицида. Нормальное (то есть не инфицированное бактерией творчества) человечество проявляет повышенную склонность к самоубийству в три критических периода. Суицидная кривая первый раз поднимается вверх на участке 15—24 года, потом опускается, вновь идет в гору на пятом десятке жизни, затем снова сползает и после 70 уже окончательно погибает кверху, так и обрываясь на подъеме — там, где ресурс оси с пометой «кол-во лет» иссякает.

Три переломных времени жизни — взросление, вершина и увядание — каждое по-своему собирают жатву среди не умеющих взрослеть, не умеющих спускаться вниз и не умеющих стариться. В некоторых странах, равно как и при определенных социальных ситуациях, этот график может выглядеть по-разному, но в целом общемировая тенденция именно такова.

У героев нашей книги критических возраста тоже три, но второй из них несколько смещен по оси времени, он наступает и кончается раньше — перед сорокалетним рубежом, там, где заканчивается молодость. Обычный человек переживает так называемый *midlife crisis* лет в сорок пять—пятьдесят, когда вдруг делается ясно, что шансов и време-

ни стать богатым, знаменитым и любимым больше нет. У писателей причина надлома иная. В тридцать пять, тридцать семь, тридцать девять лет многие из них заболевают недугом, имя которому творческий кризис, и начинают совершать безумные, саморазрушительные поступки: пускаются в авантюры, стреляются на дуэли, просто стреляются. Большинство литераторов благополучно преодолевают опасный порог, но немало таких, кто, выжив, утрачивает способность творить и в дальнейшем пишет хуже и меньше. Или вовсе не пишет. Об этом синдроме мы поговорим более подробно в главе «Творческий кризис», сейчас же нас занимает тот особенный возраст, когда почти каждый ощущает себя творческой личностью, а стало быть, почти на всякого человека распространяются жестокие законы расплаты за повышенную восприимчивость к тому, что Ясперс называл «трансцендентными знаками бытия». В психиатрии существует термин «метафизическая интоксикация», обозначающий отравление юношеского сознания вечными вопросами бытия. Всякий юный человек, если у него развиты ум и чувства, в период взросления неминуемо становится философом. В сочетании с юношеской склонностью к аффектации и принятию скоропалительных решений это образует гремучую смесь, чреватую экзистенциальным взрывом.

Для того чтобы сорокадевятилетний человек наложил на себя руки, у него должна быть какая-то основательная причина: крах семьи или карьеры, банкротство, утрата близкого человека. В семьдесят девять резон тоже найдется — немота, физические страдания, одиночество. Но в восемнадцать убивают себя с невероятным легкомыслием, часто вовсе без каких-либо внятных причин. Виноваты гормоны, пробуждающаяся самостоятельность мышления. Мир пе-

рестает быть понятным, или, наоборот, кажется, что все в нем слишком понятно, да и понимать-то особенно нечего.

Ранняя пора взросления ставит человека в положение первооткрывателя. Пусть он открывает давно открытую Америку, а изобретает трехколесный велосипед — неважно. Открывательство и изобретательство — занятия творческие. В юности всякий переживает период спонтанного творчества. Многие, кому предстоит прожить приземленную, далекую от всякой креативности жизнь, в 16 лет пишут стихи, философствуют или хотя бы выступают в самодеятельности.

Кавабата Ясунари считал, что истинной способностью видеть и понимать прекрасное человек обладает лишь в пору «первого» и «последнего взгляда», то есть на пороге жизни и в преддверии смерти. Причем если дар «последнего взгляда» дается немногим избранным, то «первый взгляд», ясный и зоркий, естественным образом достается всякому подростку. Образцом чистоты литературного стиля Кавабата называл сочинения учеников начальной школы, потому что эти тексты искренни, точны и избавлены от каких бы то ни было излишеств.

Обычный человек довольно легко расстаётся с раннетворческим периодом своей жизни, устремляясь к иным, более практическим интересам и занятиям. Но для некоторых «первый взгляд» становится и последним, потому что был он слишком уж требовательным и бескомпромиссным. Юношеский максимализм, экстремизм, а более всего то, что еще не выработалась привычка жить, — вот главные причины раннего суицида.

Если говорить о людях пишущих, то куда более опасным выглядит погубивший столько литераторов «синдром 37 лет», но так ли это на самом деле?

Вполне возможно, что драматичнее всего ряды будущих гениев редуют на 20-летнем рубеже, а современники и потомки остаются в неведении, так и не узнав, как безгранично талантлив был очередной юный самоубийца, какой потенциальный заряд творческой энергии был в него заложен. Возможно, «метафизическая интоксикация» для того и существует, чтобы доля творческих людей не получалась слишком высокой. Происходит своего рода естественная фильтрация, защищающая наш предприимчивый и прагматичный биологический вид от ненужного перекоса. Бог весть сколько несостоявшихся Байронов, Рафаэлей и Эйнштейнов ежегодно теряет человечество из-за юношеских самоубийств. Лишь в единичных случаях нам становится известно, какой редкостный талант утрачен — да и то, как правило, уже задним числом. Время от времени литературоведы вдруг открывают новое имя среди тех, кто уничтожил себя, еще не успев толком войти в литературу.

Так, например, произошло со швейцарской писательницей Лорой Бергер (1921—1943), которая при жизни напечатала лишь несколько рассказов и детских сказок. Уже после того, как Лора утопилась (кажется, из-за несчастной любви), вышел ее роман «Башня на холме», высоко оцененный Германом Гессе, расхваленный критиками и вошедший в золотой фонд швейцарской литературы.

Через много лет после смерти была замечена и оценена по достоинству австрийская поэтесса Герта Крефтнер (1928—1951). Стихи девушки, отравившейся несколько десятилетий назад (разумеется, тоже из-за любви), вошли в моду, и теперь Крефтнер считается одним из самых ярких имен послевоенной австрийской поэзии.

Посмертно осенила слава и хрестоматийного самоубийцу «с рассудка», юного философа Отто Вейнингера (1880—1903), который вбил себе в голову (и даже талантливо обосновал), что еврею жить на свете преступно и невозможно.

Но и ранняя прижизненная слава не всегда становится якорем, помогающим литературному подростку зацепиться за грунт и переждать экзистенциальную бурю опасного возраста. Французские драматурги Виктор Эскус и Огюст Лебра проснулись знаменитыми после шумного успеха их пьесы «Мавр Фаррук». Первому из соавторов было восемнадцать лет, второму пятнадцать. Театральная критика превозносила юных гениев до небес, однако две последующие пьесы были встречены куда более холодно, и этого вполне обыденного для пишущего человека обстоятельства оказалось достаточно, чтобы мальчики решили уйти из жизни. В соответствии с романтическими веяниями эпохи они умерли (отравились утарным газом), держась за руки и оставив письменные декларации. Эскус (1813—1832) написал: «Я желаю, чтобы газеты, которые известят публику о моей смерти, непременно напечатали следующее: «Он убил себя, потому что ему здесь было не место; потому что у него не хватило сил идти вперед или пятиться назад; потому что его душой в недостаточной степени владела жажда славы — если душа вообще существует». Лебра (1816—1832) в предсмертной записке был менее велеречив: «...Умираю, но не оплакивайте меня: моя участь должна вызывать не сожаление, а зависть».

Еще одна причина, по которой смерть в раннем возрасте так легка, состоит в том, что юный человек, все существо которого наполнено набирающей силу жизнью, на самом деле не верит в свою смертность. Многие юные

самоубийцы могли бы повторить вслед за 12-летним японским поэтом Синдзи Ока (1962—1975), спрыгнувшим с крыши, чтобы посмотреть — «что будет»:

Я, наверно, умру.

Да нет же, не умру я!

На самом деле многим из них хочется не умереть, а поиграть в смерть. Охотнее всего они поприсутствовали бы на собственных похоронах, послушали, как обсуждают их отчаянный поступок окружающие, а потом воскресли бы и вернулись к жизни. Самоубийство для них — хэппенинг, акт творчества. Поэтому юные суициденты так красноречивы в предсмертных посланиях. А некоторые даже заранее описывают, как именно отзвонятся знакомые об их смерти.

Посмотрите, как похожи тексты, написанные двумя юными литераторами, которые принадлежат двум совершенно непохожим культурам.

Первый текст — отрывок из сценария «Человек умер», написанного 19-летним Геннадием Шпаликовым (1937—1974). В сценарии описан разговор студентов ВГИКа, обсуждающих самоубийство сокурсника по имени Геннадий Шпаликов.

«Возле доски объявлений — несколько человек. Они что-то жуют. Голоса — совсем спокойные.

— Как это его уторазило?

— Говорят, повесился.

— Повесился?

— Ага, в уборной.

— Некинематографично. Лучше бы с моста или под поезд. Представляешь, какие ракурсы?! (...)

Злотверов. Не понимаю, что он этим хотел сказать. Но вообще — это в его духе. Цветочки, ландыши... Сентимент. Достоевщина, в общем. Я бы лично в принципе так не поступил.

Кривцов. Жаль.

Шунько. Мне тоже.

Кривцов. Я не хочу, понимаете, повторяться. Мы об этом до четырех утра ругались в общежитии. Дежурная, понимаете, дважды приходила. Я знаю одно: сам я пока не вешался и ничего определенного сказать не могу.

Бекаревич. Кому как, а мне это нравится. Не будем вульгарны, как говорил Шиллер. Я бы сам давно сделал что-нибудь похожее — времени не хватает...»

Шпаликов тогда не повесился — это произошло позднее. Возможно, театрализация собственного самоубийства и последующих, уже посмертных событий выполняла для юного поэта функцию психотерапевтического сеанса, на время привившего отвращение к суицидальным мыслям. Но японскую поэтессу Кавасаки Сумико (1931—1952), писавшую под комичным для русского уха псевдонимом Кусака Ёко, горькая самоирония не спасла, хотя описанный ею разговор знакомых не менее безжалостен по отношению к самоубийце, чем в сценарии Шпаликова.

«А. сказал:

— В ней был какой-то душевный изъян. Все было очень просто: стояла на перроне, услышала шум подъезжающего поезда, и вдруг брякнуло в голову: «А не умереть ли?»

В. буркнул:

— Бедняжка. Это она из-за меня. Я на ней жениться не захотел... Жаль, конечно, что умерла. Но с такой раз-

ве можно связываться? Она что угодно выкинуть может. Еще самого прикончила бы.

С. рассмеялся:

— Да бросьте, никакое это не самоубийство. Просто несчастный случай. Она жадная была. Уронила что-то на рельсы и хотела достать, пока поезд не раздавил. Спрыгнуть спрыгнула, а вылезти не успела.

Д. (грустно):

— Какая разница — самоубийство, несчастный случай. Человека-то больше нет.

Е.:

— Попала в передрыгу и не сумела из нее выбраться. Такое с каждым может случиться.

Прошла неделя. Об умершей уже никто не говорил. О ее маленькой жизни все забыли».

Через несколько дней поэтесса и в самом деле бросилась под поезд. После этого о ее «маленькой жизни», конечно же, не забыли, и речи над могилой звучали совсем другие — те самые, которые ей хотелось бы услышать.

Для юного литератора, который чувствует, что доставшийся ему творческий дар — ноша слишком тяжкая, не по плечу и не по силам, существует возможность спасения: совершить самоубийство писателя, сохранив жизнь человеку. То есть перестать писать и зажечь жизнью, которая представляется нормальной молодому человеку, испуганному и раздавленному своим даром. Однако если заряд творческой энергии был по-настоящему силен, жить «нормальной жизнью» такой человек вряд ли сможет. Примеров предостаточно. Хрестоматийный — Артю́р Рембо, прекративший писать стихи в 19 лет, однако так и не ставший добропорядочным гражданином и все равно умерший молодым. Менее известна история Жан-Пьера Дюпре

(1930—1959). Мальчик из провинции рано стал поэтом. Он все делал слишком рано: рано ушел из родительского дома, рано женился, рано начал печататься, рано прославился. К 20 годам написал три книги стихотворений, а потом вдруг бросил поэзию. Молчание поэта продолжалось девять лет. Потом оно, очевидно, стало невыносимым: Дюпре написал еще один, последний цикл стихотворений и в день, когда его закончил, повесился.

Столь высокий градус творческого пламени, обрекающий на всеожжение не только душу, но и тело, к счастью, довольно экзотичен. Но когда изучаешь биографии великих писателей и поэтов, становится не по себе: многие из обитателей пантеона мировой литературы — *да почти все* — в юности были опасно близки к самоубийству: всерьез готовились к нему или даже предпринимали попытки суицида. В этой книге я не пишу обо всех подобных случаях — иначе, вероятно, пришлось бы пересказать всю историю всемирной литературы.

Лев Толстой, «Исповедь»: «Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни».

«В смерти моей прошу винить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце», — написал 19-летний цеховой А.Пешков, прострелил себе грудь и умер бы, если бы в нижегородской больнице для бедных работал менее искусный хирург.

«В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне «отвлеченны» и ничего общего с «человеческими» отношениями не имеют...» — такая не вполне искренняя записка лежала в кармане у 20-летнего Александра Блока, когда 7 ноября 1902 года он отправился на студенческий бал в Дворянское собрание, чтобы потребовать от Любы Менделеевой решительного ответа. К счастью, объяснение закончилось благополучно. Ответ Люба иначе, и Блок вошел бы в историю русской литературы как еще один безвременно погибший поэт, который оставил несколько талантливых стихотворений, — вроде Всеволода Князева (1891—1913), безнадежно влюбленного в О.Глебову-Судейкину.

Или юного поэта Владимира Полетаева (1951—1970), которому в подобной ситуации повезло меньше, чем студенту Блоку. И вряд ли на отравленных метафизикой мальчиков и девочек подействует оставленное Полетаевым предостережение:

*А где-то шестнадцатилетний,
неосторожный человек
идет моим неверным следом —
неверным следом — белым светом.
Кому-то станет первым снегом,
быть может, мой последний снег...*

Старость

..Доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!»

Экклезиаст



о сих пор толком неизвестно, что такое старение. Симптомы — да, те известны. Гистологические: уменьшение содержания воды в тканях и увеличение доли оформленного вещества. Соматические: уменьшение регенерационной способности костного вещества и кожных покровов, пониженная сенсомоторика и прочее, и прочее, прочее. Говоря о том, что человек «совсем состарился», мы имеем в виду, что он стал невосприимчив к новому, что у него сузился круг интересов, что его недостатки и особенности характера приобрели утрированный вид, что он стал быстро уставать, медленно двигаться, что у него ослабела память. Все знают, что после зрелости (впрочем, в разные эпохи возрастные параметры пика жизни определялись по-разному¹) физические и интеллектуальные способности начинают идти под уклон. Невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему.

Все это вроде бы так, но на самом деле провести научное различие между старением и развитием невозможно.

¹ Достоевский пишет про 43-летнюю мать Раскольникова, что она сохранила «ясность духа, свежесть впечатлений и честный, чистый жар сердца до старости». Столетие спустя 43-летнего президента Кеннеди будут называть «вундеркиндом».

Человек начинает стариться одновременно с рождением. Даже раньше, еще на стадии зародыша. Например, первичные почки, развитые у эмбриона, к моменту выхода из утробы вырождаются и редуцируются. Взяв старт, человеческая жизнь начинает дорогу к финишу — и когда набирает скорость при разбеге, и когда несется во весь мах, и когда, устав, замедляет бег.

Сегодня старость не в моде. Стариков стало много, больше, чем в любую из предшествующих эпох, однако они пребывают в маргинальной зоне общественного внимания. Наблюдается парадокс: все хотят дожить до глубокой старости, но при этом никто не хочет быть стариком.

Так было не всегда. В исторической перспективе отношение к старости менялось — эту пору жизни можно воспринимать или как увядание, то есть как зло, или как итог развития, то есть как благо.

В сегодняшнем мире, тон в котором задает динамичная и нетерпеливая западная цивилизационная модель, безусловно преобладает первая из этих двух позиций. Именно поэтому старость так мало изучена и вызывает так мало интереса. Современный человек гонит от себя мысль о будущем угасании своих сил и способностей — перспективе, избежать которую можно лишь посредством преждевременной смерти.

Наша цивилизация боится старости, которая вызывает у людей деятельного возраста ужас и отвращение. При этом, как уже было сказано, человек изо всех сил, даже в самой безвыходной ситуации, старается выжить, то есть любой ценой достичь того самого состояния, которого так страшится. Для этой цели иногда приходится проявлять чудеса изворотливости, порой даже совершать подлости и преступления и уж во всяком случае ограни-

чивать себя в удовольствиях — отказываться от приятных, но вредных привычек вроде курения или поедания свежих булочек с маслом. Это тем более странно, что, кого ни спроси, все мечтают умереть в одночасье от инфаркта, а не доживать век овощем на альдгеймеровской грядке. Поистине человек — существо странное. Ради чего он мучает себя гимнастикой и диетой? Ради того, чтобы как можно дольше продлить свою старость, то есть обречь себя на длительное и все более усугубляющееся одиночество, беспомощность, духовную изоляцию, быть всем в тягость. «Несчастный друг! среди новых поколений докучный гость и лишний, и чужой», — пишет Пушкин, обращаясь к самому последнему лицеисту, который переживет всех остальных¹.

Старики оксидентальному обществу не нужны и не интересны. Их никто не слушает, а им есть что рассказать. Извечная роль старика трагична и вместе с тем комична — рассыпаться перед новыми поколениями бисер накопленной мудрости и опыта, а поросята беспечно бегают по драгоценным дарам крепкими копытцами, равнодушно похрюкивая. В своем предсмертном эссе «О чем я думаю, умирая» японец Сюсаку Эндо с горечью пишет: «Если вы заглянете в любую писательскую биографию, то увидите, что там подробнейшим образом рассказывается о годах, когда литератор был молод и полон сил, однако почти ничего о его мыслях и чувствах на пороге смерти. В последнее время я очень остро ощущаю эту несправедливость».

¹ Главным лицейским долгожителем, как известно, оказался знаменитый князь А.М. Горчаков, но и этот незаурядный, достигший вершин могущества человек окончил свои дни «докучным гостем», полузабытым еще при жизни и носившим звание канцлера лишь номинально.

Но к старости можно относиться и иначе. Это важный, вероятно, даже главный этап жизни. Человек, доживший до старости, состоялся. В некотором смысле старик — это совершенный, то есть законченный, человек. Человек, осуществившийся целиком, с начала и до конца. Очевидно, именно поэтому старики меньше боятся, а то и вовсе не боятся смерти. Так задумано Богом/Природой: жизнь уходит сама, по капле, и по капле же входит смерть.

Однако чувство собственного достоинства, самый ценный из продуктов эволюции, протестует против замысла Бога/Природы. Оно говорит: хорош «совершенный человек», делающий под себя и скалящий фальшивые зубы в дрожащей маразматической улыбке! Это и есть венец моего жизненного пути?

В сегодняшнем мире старики добровольно уходят из жизни гораздо чаще, чем молодые. Многие из этих стариков некогда потратили массу усилий и времени на укрепление сердечной мышцы и суставов, но до конца воспользоваться плодами своей предусмотрительности не хотят.

Если человек в глубокой старости решает поставить точку самостоятельно — что это значит? Только одно: он защищает свое достоинство, свое «я». Иными словами — свой разум. В XX веке разум ценится выше веры.

Ницше писал:

«Если отвлечься от требований, которые ставит религия, то позволительно спросить: почему для состарившегося человека, ощущающего упадок сил, должно быть достойнее терпеть свое медленное истощение и разрушение, чем совершенно сознательно положить ему конец? Самоубийство есть в этом случае вполне естественное и

напрашивающееся само собой действие, которое, как победа разума, должно было бы возбуждать наше уважение; и оно действительно возбуждало его в те времена, когда старейшины греческой философии и храбрейшие римские патриоты имели обыкновение умирать через самоубийство. Напротив, стремление посредством боязливого совещания с врачами и мучительнейшего образа жизни влачить существование изо дня в день, не имея силы приблизиться к подлинной цели жизни, заслуживает гораздо меньшего уважения».

Древние философы — стоики и эпикурейцы — рекомендовали жить только до тех пор, пока ты не в тягость себе и другим. Многие старые люди следуют этой рекомендации, даже если никогда не читали философской литературы. В 1965 году газеты сообщили о самоубийстве 115-летнего пуэрториканца Эухенио Марто. Он повесился, сказав, что ему *надоело ждать смерти*. Когда человек в таком возрасте оказывается способен на столь решительные поступки, да еще проявляет нетерпение, это впечатляет. Рамзес II, согласно Геродоту, умертвил себя в день своего столетия, но у фараона была более веская причина — от старости он ослеп.

Ветхий Завет трактует долголетие иначе: как дар Божий, как проявление Высшей милости. Праведники там живут сотни лет, а когда, наконец, умирают, то отходят как колос ко снопу — то есть кончают свой век полностью созревшими. *«Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было сто семьдесят пять лет; и скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему»*.

Что ж, отношение к преклонному возрасту как к «старости доброй» и бесспорному благу логичнее, чем харак-

терный для нашей эпохи культ молодости, продлеваемой всеми правдами и неправдами.

Старости не нужно бояться, ибо у нее есть свои благословенные преимущества. И ослабление страха смерти, мучающего человека на протяжении предыдущих жизненных фаз, не главное из них. Старость, если она «добрая», может быть по-настоящему прекрасной. Человек физически слаб и не может, как прежде, предаваться радостям плоти, но зато он свободен от их диктата, а это помогает избавиться от суеты, в которой проходило его предыдущее существование. Он скован телесной немощью и в то же время почти свободен от телесности, *более духовен*. Если человек в старости достиг мудрости — он добр, терпим и снисходителен к слабостям молодых, потому что уже ни с кем не соперничает, «насыщен жизнью». «Способности угасают, — пишет Ясперс, — и их заменяют обширные богатства накопленного опыта. Сдержанность, житейская упорядоченность, самообладание придают духовному существованию оттенок чего-то приглушенного, незыблемого». Разумеется, обрести этот блаженный покой дано немногим из стариков, но подчас, повинувшись какому-то причудливому, непостижимым законам бытия, он осеняет людей, проживших мутную, грешную жизнь и все же достигших очищения на пороге смерти.

Некоторым счастливым из числа творческих людей в старости достается бесценный дар — тот самый «последний взгляд», о котором писал Кавабата. Накануне расставания с миром старые глаза художника обретают духовную ясность, позволяющую видеть земную жизнь в печальном, но умиротворенном, по-особенному красивом освещении, которое, вероятно, и является истинным. «Свойственные юности качества — такие, как

творческое внутреннее становление и забывчивость, сменяются памятью зрелого возраста и возможным катарсисом старости» (Ясперс). Разве ради этого возможного катарсиса не стоит «длить дни свои» до положенного предела?

Но тихие радости преклонного возраста, открывающиеся мудрецу, плохо соответствуют типическому складу творческой личности. Любой художник, и уж в особенности писатель, есть *гордый человек*. Ему чуждо умиротворение догорающей свечи. И смириться с угасанием своих способностей литератору труднее, чем обычному человеку. Старые писатели чаще, чем старые не-писатели, задумываются о самоубийстве и чаще его совершают.

Традиция *самоубийства от гордости* восходит к философам античности, которые верили в волю и разум больше, чем в смирение и покорность судьбе.

Мудрецы, возглавлявшие стоическую школу, отличались завидным долголетием, но при этом почти все они ушли из жизни добровольно, не дожидаясь, пока их оставят последние силы и угаснет разум. Основатель учения Зенон Китионский (ок. 335—ок. 262 до н.э.) в старости с нетерпением ждал знака, который известил бы его о том, что пора оборвать опостылевшее существование. Согласно преданию, он споткнулся и, чтобы удержаться на ногах, коснулся земли пальцем. Это прикосновение было истолковано Зеноном как зов земли, и он немедленно поспешил откликнуться — пошел и удавился.

Его преемник Клеанф (331/330—232/231 г. до н.э.) не дожил до ста лет всего одного года. Рассказывают, что врачи прописали старцу воздержание от пищи, чтобы излечить его от нарыва на десне. Он два дня ничего не ел и

поправился, однако жить далее не пожелал — так и заморил себя голодом.

Сменивший Клеанфа Хрисипп (ок. 280 — ок. 204 до н.э.) избрал более приятный способ избавиться от старческой немощи: он упился неразбавленным вином, что для древних греков почему-то было смертельно.

Следуя уже укоренившейся в стоической школе традиции, покончил с собой и 80-летний Антипатр Тарсийский (ок. 210 — ок. 130 до н.э.), ощутивший, что силы его на исходе. Отвергавший богатство киник Антисфен (ок. 445 — ок. 336 до н.э.) в глубокой старости закололся кинжалом. А материалист Демокрит (ок. 460 — ок. 370 до н.э.) проявил удивительную безмятежность по отношению к собственной смерти. Решив, что пожил достаточно, он перестал есть. К умирающему от истощения и слабости философу пришла племянница и попросила его повременить со смертью, чтобы не омрачать приближающийся праздник. Демокрит благодушно согласился понюхать принесенные ею горячие лепешки, что продлило его жизнь еще на три дня, а потом скончался, сохранив разум и достоинство до последней минуты своей жизни.

В эпоху расцвета христианской этики старческое самоубийство от гордости расценивалось как самоубийство от гордыни, то есть дважды смертный грех, и перестало рассматриваться в качестве альтернативы дряхлению. Старики вверяли свою судьбу Богу и воспринимали предсмертные тяготы как духовное испытание перед встречей с Вечностью. Однако с возрождением агностицизма и материализма феномен старческого суицида воскрес и в последние сто лет становится все более распространенным.

Пример последовательно материалистической жизни и смерти, послуживший своего рода прологом к последую-

щему нарастанию суицидальной волны у людей преклонного возраста, подали супруги Лафарги. Публицист и литературный критик Поль Лафарг (1842—1911), которого Ленин назвал «одним из самых талантливых и глубоких распространителей марксизма», был зятем Карла Маркса, великого материалиста, передавшего атеистические убеждения и своим детям. Две дочери основоположника — Элеонора и Лаура — покончили жизнь самоубийством. Первая была склонна к аффектам и в 43 года выпила синильной кислоты, предварительно зачем-то нарядившись во все белое. Лаура же уговорилась с мужем, что они не станут дожидаться невзгод старости и доверяться милостям судьбы. Супруги заранее решили, что уйдут из жизни вместе и сделают это прежде, чем им исполнится семьдесят. Так они и поступили, проявив завидное самообладание и редкостную силу воли. В предсмертной записке Поля говорится: «Я здоров душой и телом. Ухожу из жизни, пока жестокая старость не отняла духовные и физические силы, не лишила меня радости жизни... Я умираю с радостной уверенностью, что дело, которому я посвятил вот уже 45 лет, восторжествует. Да здравствует коммунизм, да здравствует международный социализм!» Что ж, это красивая смерть.

Однако в XX веке изящное бесстрашие древних и идеологическая ангажированность Лафаргов у стариков не в чести. Обычно они уходят из жизни в молчании, не оставляя записок. Все и так уже сказано прожитой жизнью. Даже старые писатели в наше время умирают тихо, без пафоса, ничего не пытаясь своей смертью доказать.

Так поступил Тибор Дёри (1894—1977), переживший за свою долгую жизнь немало политических увлечений и

разочарований. Для него «зовом земли» стал перелом шейки бедра — Дёри перестал принимать пищу и через несколько дней умер.

Безмолвно ушел и жизнелюбивый, остроумный Богумил Грабал (1914—1997), выбросившийся из больничного окна. Ему наверняка пришлось бы по вкусу официальная версия случившегося: выпал из окна, кормя крошками голубей. Почему бы и нет?

Китайский мудрец Ли Чжи (1527—1602) на старости лет был помещен в тюрьму за еретические сочинения, что, впрочем, не грозило ему особенно суровыми карами. Однако старый монах перерезал себе горло и упал на пол, истекая кровью. «Зачем вы это сделали?» — участливо спросил вбежавший стражник. Ли Чжи не мог говорить и написал на ладони кровью: «Что еще остается после семидесяти?»

Нужда

За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было.

Ф.М.Достоевский.

«Преступление и наказание»



тот некрасивый, прозаический, даже скучный мотив довел до самоубийства многих. Усталость, безнадежность и отчаяние — вот неизменные спутники нищеты, делающие жизнь невыносимой.

Писательство — ремесло заведомо некоммерческое. Во всяком случае, если говорить о настоящих литераторах, а не о профессионалах массовой беллетристики. От чернильницы с гусиным пером до суммы (как, впрочем, и до тюрьмы) рукой подать.

Типический литератор — это непрактичный человек сомнительных (с точки зрения доходности) занятий, да к тому же еще и много о себе понимающий. Гордость и самомнение плохо сочетаются с тощим кошельком. Нужда кроме всего прочего еще и унижительна, а для творческого человека хуже унижения ничего нет.

При этом бедность, то есть материальные лишения, не доведенные до последней крайности, литератор переносит легче, чем средний обыватель. В обмен на читательское внимание и хвалу критиков писатель готов отказаться от благополучия. Именно это сегодня и происходит с писательским сообществом в нашей стране. Пока в СССР литераторы составляли привилегированную касту, в «инженеры челове-

ческих душ» рвалось немало деловых, расчетливых людей, которые могли бы с еще большим успехом реализовать себя на государственном или предпринимательском поприще. Теперь же, когда серьезные занятия литературой сулят лишь скудный, нерегулярный гонорар, когда круг читателей многократно сузился, а тиражи некоммерческой прозы составляют в лучшем случае несколько тысяч экземпляров, пропорция практичных и дальновидных людей в писательском цехе резко сократилась. Но все равно пишут, и много пишут, не боясь гарантированной бедности — природа продолжает исправно поставлять все новые и новые когорты молодых людей, инфицированных творчеством. То же происходит и в богатых странах. Преуспевающих писателей, живущих на одни только гонорары, там считанные единицы, а остальная пишущая братия живет скуднее норм среднего класса, но на бедность не жалуется, благо есть преподавание на курсах creative writing¹, да и гранты с феллоушипами время от времени перепадают.

Однако волшебное слово «грант» возникло в писательском лексиконе недавно, а до этого в течение долгих столетий страшный призрак не «честной бедности», а самой настоящей лютой нужды постоянно витал над литератором — если, конечно, ему не повезло родиться в состоятельной семье. Настоящая нужда, в отличие от бедности, разит творческого человека насмерть.

В истории писательских самоубийств нищета обычно присутствует в качестве одного из компонентов ситуации, приведшей к трагическому исходу. Нужда — общий фон, задник суицидной декорации. Не столько истинная причина самоубийства, сколько прелюдия к «последней кап-

¹ Букв. «творческое письмо» (англ.) — семинары для тех, кто хочет стать литератором.

ле», которой может стать какое-нибудь вызванное нищетой унижение, потрясение, болезнь.

Случаи, когда обнищание стало единственной или, по крайней мере, главной причиной самоубийства, встречаются в писательской среде гораздо реже, чем у прочих слоев населения.

И все же такие примеры были.

Один из литераторов умер от голода в самом буквальном смысле. Английского поэта и публициста Александра Бирни (1826—1862) литературные занятия довели до полного финансового краха. Ради них он оставил священнический сан, стал издавать газету, но разорился. Ввергнутый в полную нищету, он бродяжничал, а когда душевные и физические силы иссякли, лег в поле в стог сена и две недели умирал, делая записи в дневнике. Нашли его слишком поздно и вернуть к жизни не смогли.

Совсем иной уровень нужды свел в могилу другого англичанина — сэра Джона Саклинга (1609—1642). Тот не голодал, а всего лишь лишился богатства. Он был одним из самых блестящих кавалеров при дворе Карла I, владельцем обширных поместий и известным игроком, а пьесы и стихи писал исключительно для собственного развлечения. Впрочем, эти произведения, продолжавшие шекспировскую традицию, были вовсе не дурны и занимают почтенное место в истории английской литературы. Особенно хорошо удавались «величайшему галанту своей эпохи» изящно-циничные любовные стихотворения:

*Три дня от любви я пылал,
Любви, ни на что не похожей.
Останься погода погожей,
Подольше любовь бы была.*

После начала революционных неприятностей Саклинг примкнул к роялистской партии, участвовал в заговоре с целью спасения опального королевского министра графа Страффорда, однако, как и во всех прочих своих серьезных начинаниях, потерпел крах, после чего был вынужден бежать за границу. Биограф-современник пишет: «Он отправился во Францию и через малое время, опустошив свой кошелек, стал сетовать на бедственное и отчаянное положение, в кое был ввергнут, ибо не имел более никаких средств для пропитания. Воспользовавшись тем, что проживал в доме аптекаря, он принял яд и умер самым жалким образом, исходя рвотой».

Если уж перелистывать историю английской литературы, то нельзя не вспомнить и несчастного Генри Кэри (1687—1743), одну из первых жертв литературного пиратства. Внебрачный сын маркиза Галифакса, он прославился как драматург и автор песен (в том числе ему приписывают авторство гимна «Боже, храни короля»). Однако издатели и печатники беззастенчиво обкрадывали песенника, пользуясь отсутствием закона об авторском праве, и он, слыша, как повсюду распевают его баллады, не получал ни гроша. Кэри повесился, не вынеся лишений.

Чтобы у читателя не создалось впечатления, что самоубийство от бедности — чисто британская причуда, назовем еще несколько имен.

Австралийский поэт Адам Гордон (1833—1870) покончил с собой после того, как разорился и увяз в долгах. Последней надеждой на спасение для него была судебная тяжба из-за наследства. Проиграв процесс, Гордон застрелился.

Венгерский писатель граф Янош Майлот (1786—1855), разоренный революцией 1848 года, лишился воз-

возможности содержать семью и утопился вместе с дочерью.

Португальский поэт Марио де Са-Карнейро (1890—1916), измученный вечным безденежьем, отравился в мрачном, придавленном войной Париже.

Молва винила Н.А.Некрасова в самоубийстве одного из постоянных авторов «Современника» И.А.Пиотровского, который, доведенный до последней крайности нуждой, наложил на себя руки после того, как Некрасов отказал ему в выдаче аванса¹.

Сполна хлебнули нужды и русские эмигранты первой волны, у которых к горечи разлуки с родиной прибавилась самая настоящая, жестокая нищета. Писательница Нина Петровская (1879—1928), прототип мистической Ренаты из брюсовского «Огненного ангела», в свое время слывшая музой московских символистов, стрелявшая в Андрея Белого и сделавшая морфинистом В.Брюсова, в эмиграции жила на подачки, временами даже просила милостыню. Невыносимость существования дважды заставила ее предпринять страшные попытки самоубийства. Сначала она выбросилась из окна, но не разбилась, а лишь охромела. Затем пробовала заразиться трупным ядом — уколола себя в руку булавкой, предварительно воткнутой в мертвое тело сестры. Рука опухла, но потом зажила. Третья попытка стала окончательной. «В ночь на 23 февраля 1928 года в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская». Этой фразой начинается книга В.Ходасевича «Некрополь». Конец жизни Петровской, пожалуй, был

¹ Как известно, Некрасов расплачивался со своими авторами довольно щедро, но Пиотровский выбрал для просьбы неудачный момент: издатель ехал в клуб играть в карты и, согласно игроцкому суевию, не мог никому давать ни копейки, чтобы не накликал проигрыш.

еще кошмарней, чем финал брюсовской Ренаты, погибающей в застенках инквизиции.

Самый же известный, досконально изученный и многоголосо воспетый случай писательского самоубийства из-за бедности — смерть Чаттертона. После романтизации этого события в европейской литературе юный поэт — «чудесный мальчик, спящая душа, погибающая в расцвете лет» (слова Уордсворта) — стал символом литератора, загубленного равнодушным и враждебным обществом. Очищенная от позднейшей романтической позолоты история жизни и смерти «бледной розы» (слова Шелли) выглядит буднично и жалко — только так и может выглядеть участь поэта, задавленного тяжелой нуждой. В этой грустной повести примечательны только два обстоятельства — рано проявившийся талант и ранняя смерть самоубийцы.

Томас Чаттертон (1752—1770), сын рано умершего школьного учителя, вырос в бедности и мальчиком был отдан в ученики к бристольскому нотариусу, у которого научился мастерски изображать любой почерк. Эта наука пригодилась 16-летнему подмастерью, когда он затеял дерзкую мистификацию: подделал манускрипты некоего Томаса Роули, выдуманного им поэта XV века. Стихи Роули, якобы обнаруженные юным бристольцем, получили высокую оценку самого Хораса Уолпола, с которым Чаттертон вступил в переписку. Окрыленный юнец признался блестящему литератору в розыгрыше и сообщил, что хочет посвятить себя писательскому труду, но Уолпол поставил мальчишку на место, ответив ему, что поэзия — занятие для джентльменов, а не для простолюдинов. Более уязвить самолюбивого юношу, страдающего от своего униженного положения, было невозможно. Чаттертон стал посылать свои произведения в литературные журналы. Сэмюэл Джонсон впоследствии

скажет: «Это самый необычный молодой человек из всех, мне известных. Поразительно, как может судий щенок писать подобные вещи». Стихи охотно печатали, но ни денег, ни славы это не давало. По условиям контракта Чаттертон был обречен на многолетнюю кабалу у своего работодателя. Чтобы обрести свободу, он пошел на хитрость. Сочинил «Последнюю Волю и Завещание» — предлинный документ с сатирическими куплетами в адрес бристольских ханжей и торгашей, составленный в виде предсмертного письма перед самоубийством. Свое сочинение Чаттертон оставил на виду, и оно попало в руки к хозяину. Устрашенный нотариус отпустил мальчишку на все четыре стороны и даже выплатил его долги. Так сбылась мечта юного честолюбца — теперь он мог все свое время отдавать литературе. Однако писательский хлеб оказался горек.

Чаттертон уехал в Лондон, где писал все подряд: сатирические стихи, политические статьи, памфлеты, поэмы. Платили ему мало или вообще ничего, но первое время он кое-как умудрялся сводить концы с концами. Самый большой гонорар — пять гиней — Чаттертон получил за проданную в театр оперетту. Скудный источник дохода иссяк, когда в Лондоне начались гонения на газеты и журналы. Печататься стало негде, а зарабатывать физическим трудом Чаттертон почитал ниже своего достоинства. В последние дни он жил на одной воде и, дойдя до последнего предела, отравился. Весь пол его каморки был завален обрывками рукописей, которые никому и в голову не пришло собирать и склеивать. Похоронили оборванца в могиле для нищих. Он не дожил до своего восемнадцатилетия трех месяцев.

Чаттертон не смог жить, как джентльмен, так хоть умер по-джентльменски: не вульгарно, от голода, а аристокра-

тично, от яда. На последние гроши он купил не хлеба — мышьяку.

Ведь в восемнадцатом веке уже было хорошо известно, что

*«Самоубийство — аристократ
среди смертей».*

(Дэниел Стерн)

Утрата

Ромео:

*О смерть с ненасытимой утробой,
Ты съела лучший из плодов земли!
Но вот тебе я челюсти раздвину
И брюхо новой пищею набью¹.*

В.Шекспир. «Ромео и Джульетта»



Писатель нечасто бывает счастлив в личной жизни и еще менее умеет дарить счастье тем, кто его любит. Творческая деятельность неотделима от индивидуализма, а стало быть, и от эгоизма. То, что происходит между поэтом и его музой, часто кажется ему неизмеримо более важным, чем то, что происходит между ним и его женой. Чтобы всецело отдаваться творчеству, поэт должен быть царем и жить один.

Есть и другое обстоятельство, мешающее хорошему литератору быть хорошим семьянином, а хорошему семьянину быть хорошим литератором: довольство жизнью — не

¹ Пер. Б.Пастернака.

та почва, из которой произрастают мощные произведения. Куда лучше пишется, когда автор не удачлив/обожаем/благодушен/обласкан/сыт, а несчастлив/нелюбим/раздражен/гоним/голоден.

Одиночество, столь губительное для обычного человека, литератор переживает легче, оно для него естественное состояние. В сущности, тому, кто одержим творчеством, близкие люди не очень-то и нужны. Скорее, отношения с ними мешают, отвлекают от главного.

Однако все эти профессиональные личностные особенности не вооружают писателя иммунитетом против одного из самых страшных испытаний, уготованных человеку, — потери того, кого любишь. Боль утраты — одна из основных причин, по которым люди решают уйти из жизни. Так было с незапамятных времен, так, очевидно, будет и впредь — при любом строе и при сколь угодно высоком уровне развития общества.

Да, типический литератор эгоистичен в личных связях, но от боли утраты это его не спасает. Сосредоточенность на собственных переживаниях, с одной стороны, делает его черствым по отношению к чувствам близких, но, с другой стороны, способна превратить в трагедию вселенского масштаба даже какое-нибудь малозначительное потрясение. Что уж говорить о настоящей трагедии?

Писатель подобен ламартиновскому Рафаэлю, всерьез озабоченному лишь состоянием собственного сознания. Если он любит, то для того, чтобы иметь возможность размышлять о своей любви; если горюет, то для того, чтобы упиваться своей скорбью.

Неспособность справиться с горем и жить дальше на фрейдистском языке называется аффектной фиксацией на травматической ситуации. «Случается, что травматичес-

кое событие, потрясающее все основы прежней жизни, останавливает людей настолько, что они теряют всякий интерес к настоящему и будущему и в душе постоянно остаются в прошлом...» — утверждает Фрейд в «Общей теории неврозов». При этом потеря оценивается как невозполнимая, лишаящая дальнейшее существование всякого смысла. Непреодолимая боль утраты, по Фрейду, это патологическая форма печали, ведущая «к такому сильному увеличению раздражения, что освобождение от него или его нормальная переработка не удастся, в результате чего могут наступить длительные нарушения в расходе энергии». Добавим от себя: настолько длительные, что переживший утрату может вовсе не захотеть «расходовать энергию» в дальнейшем и предпочтет умереть.

Чаще всего, говоря о трагической утрате, имеют в виду смерть любовного партнера (прошу извинения за неживой термин, но другого в русском языке пока не придумано). Это самая болезненная из утрат, потому что, теряя любимого супруга или возлюбленную / возлюбленного, человек лишается половины себя.

Однако нередки и случаи, когда «патологическая форма печали» фиксируется на потере близких родственников.

Тяжелее всего пережить смерть собственных детей. Злоязыкий, саркастический Иоганн-Генрих Мерк (1741—1791), ставший одним из духовных вождей движения «Буря и натиск», был прототипом гётевского Мефистофеля, однако закончил свою жизнь совсем не по-сверхчеловечески: у него один за другим умерли дети, и убитый горем отец застрелился.

Гораздо реже встречаются (но все же встречаются) случаи саморазрушительно сильной любви детей к родителям — так сказать, комплекс Офелии.

Сирийский писатель Джамиль Хатмаль (1956—1994), живший и писавший в эмиграции, выбросился из окна парижской больницы, когда из Дамаска пришла весть о смерти его отца, известного художника Альфреда Хатмала.

Иногда объектом патологической фиксации становится утрата не близкого человека, а некоего предмета или качества, обладавшего в глазах утратившего особой важностью. Объективная ценность потери тут несущественна. Низложенные монархи убивали себя, потому что не могли жить без короны, а вот известный парижский кулинар Ален Жак в 1966 году покончил с собой из-за того, что в ресторанном рейтинге «Мишлен» у его заведения отобрали одну звездочку.

Для писателя таким сверхценным объектом, естественно, являются его произведения. Хрестоматийный пример — легендарное самоубийство римского комедиографа Публия Теренция по прозвищу Африканец (190—159 до н.э.). Вольноотпущенник Афер, любимый поэт аристократии, придал низменному жанру комедии благородство и элегантность. До нашего времени дошли шесть его пьес, однако их было гораздо больше. Согласно легенде, плывя на корабле в Грецию, драматург был застигнут бурей, во время которой утонул сундук со всеми его рукописями. От горя Теренций бросился в море, вслед за своими комедиями.

Но это все же случай экзотический, а может быть, и вовсе выдумка позднейших биографов. Обычно убивают себя все-таки не из-за ресторанной звездочки и не из-за рукописи, а из-за смерти любимого человека.

Английская поэтесса Адела Флоренс Николсон, писавшая под псевдонимом Лоренс Хоуп (1865—1904), была женой блестящего офицера, личного адъютанта королевы Виктории, принадлежала к высшему обществу и

занималась поэзией для собственного удовольствия, однако ее стихи были не безделицей праздной светской дамы, а новым, дерзким словом в английской поэзии. Адела очень любила своего мужа, генерал-лейтенанта Малколма Николсона, и когда он умер, пережила его всего на два месяца. Поэтесса умерла, приняв яд.

Шарль Барбара (1817—1866), автор популярных социальных романов и еще более популярных детективов, от которых ведет свою генеалогию французский полицейский роман, перенес двойную утрату — лишился и жены, и сына. Помещенный в больницу, где его тщетно пытались излечить от депрессии, писатель выбросился из окна.

В сентябре 1910 года друзья и знакомые Буссенара получили приглашения с текстом, отпечатанным типографским способом: «Луи Буссенар имеет честь пригласить Вас на его гражданскую панихиду, которая состоится (далее следовал адрес). Не в силах пережить смерть своей жены, он уходит на шестьдесят третьем году жизни». Знаменитый беллетрист, путешественник и бонвиван, проживший яркую и шумную жизнь, овдовев, перестал принимать пищу и умер, но перед этим сам решил, кто будет присутствовать на его похоронах.

Агония жизни без любимого человека может затянуться на годы, но такое *отсроченное самоубийство* происходит лишь при исключительных обстоятельствах. Японский писатель и поэт Хара Тамики (1905—1951), лишившись жены, сказал, что проживет еще один год, чтобы посвятить ее памяти книгу «грустных и красивых стихов», а потом тоже умрет. Дело было в 1944 году, а жил Хара в городе Хиросима. Когда назначенная им отсрочка почти истекла, на город упала атомная бомба, и зрелище массового горя на время заслонило личную драму. Писатель счел своим

долгом рассказать миру о случившемся, на что ушло еще шесть лет. Исполнив эту общественную обязанность, Хара вернул себе право распоряжаться собственной жизнью и поставил в ней точку. Годы не смягчили боль утраты.

Впрочем, утрата любимого — это не всегда смерть. Для того, кто страстно, до обсессии, влюблен, не менее горька ситуация, в которой любовь заканчивается разрывом. Самоубийства такого рода были особенно характерны для пылко́го XIX столетия, обяза́нного своим сангвиническим темпераментом прежде всего литературе. Воспе́вая романти́ческие прелести абсолю́тной любви, литераторы были готовы отвечать за свои слова, в том числе и собственной жизнью.

Испанский писатель Хосе Мариано де Ларра (1809—1837) всю жизнь упивался любовными несчастьями. Сначала страстно влюбился в женщину, оказавшуюся любовницей его отца. Затем был катастрофически неудачный брак. Долгая и мучительная связь с замужней дамой закончилась тем, что Ларра был отвергнут. После тщетных попыток вернуть взаимность писатель романтично застрелился: сидя перед зеркалом, пустил себе пулю в горло.

Немецкая романти́ческая поэтесса Каролина фон Гюндероде (1780—1806), благородная бесприданница, жила в дворянском пансионе и предавалась меланхолическим мечтам о титанической любви и прекрасной смерти. Объект возвышенной любви она выбрала крайне неудачно: гейдельбергский профессор Фридрих Крейцер был человеком, во-первых, семейным, а во-вторых, благоразумным. Напуганный чрезмерной экзальтированностью «новой Сафо», Крейцер решил с ней расстаться. Из осторожности, чтобы избежать неприятных очных объяснений, профессор известил влюбленную девицу о разрыве в

эпистолярной форме, причем роковое письмо было адресовано даже не самой Каролине, а ее подруге.

Исход драмы был подсказан романтическим духом эпохи, литература которой очень любила такие истории и неоднократно описывала финал подобной коллизии. Например, так:

«Мне нельзя жить, — думала Лиза, — нельзя!.. О, если б упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную... Нет! Небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!»

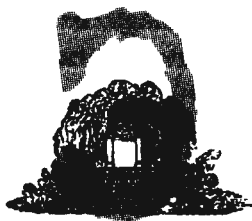
Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда...»

(Н.Карамзин. «Бедная Лиза»)

Любовь

*...Окончить муку любви неутоленной,
Еще горшую муку любви утолненной.*

Т.С.Элиот. «Пепельная среда»



та глава тесно связана с предыдущей, но в качестве главного мотива для добровольного ухода из жизни здесь рассматривается не утрата объекта любви, а сама любовь. Сильнейшее из доступных человеку переживаний, как известно, может быть источником и высшего счастья, и глубочайшего несчастья. Причем самоубийством чреваты крайности обоих этих состояний.

Любовь — самая тривиальная и в то же время самая поэтическая из причин, по которым люди убивают себя. Осо-

бенно восприимчивы к возвышенному трагизму любви литераторы обоего пола. По складу личности и характеру деятельности они более простых смертных склонны к суицидальному выходу из подлинно (или воображаемо) драматической любовной ситуации. О связи Эроса и Танатоса написано так много, что, вероятно, нет смысла углубляться в эту тему — достаточно отметить, что кроме всего прочего две эти могучие силы еще и являются главными двигателями творчества. Писателю легче, чем кому бы то ни было, запутаться в мудреных переплетениях Любви и Смерти. Эта глава неслучайно длиннее предыдущих. На пересечении Эроса и Танатоса писатель (как, впрочем, и вообще человек) раскрывается наиболее ярким и впечатляющим образом.

Как уже было сказано, суицидальным исходом грозят две разновидности любви: абсолютно несчастная, то есть неразделенная, и абсолютно счастливая, то есть разделенная до такой степени, что слиянность любящих распространяется не только на жизнь, но и на смерть.

Поэтому глава о любви содержит две контрастирующие части, у каждой из которых свое заглавие. Первую, разумеется, следует назвать

Страдания молодого (и не очень молодого) Вертера

*Луга, цветы к чему мне без нее?
Все царства мира и всё злато?
Да и сам мир к чему?*

Жоржи Артур

Несчастливая любовь — отличный стимул для литературного творчества, гораздо более эффектив-

ный, чем любовь счастливая. Страдания неутоленной страсти подарили человечеству куда больше шедевров, чем сытое мурлыканье любви благополучной. Однако безответная любовь для литератора не только возбуждающее средство, но и безжалостный убийца, на кровавом счету которого не один десяток писательских смертей.

В качестве эпиграфа к этой главке взяты строки из предсмертного стихотворения португальского романтического поэта Ж.Артура (1811—1849). Он утопился из-за несчастной любви, прижимая к груди ленту, вышитую той, которая не пожелала ответить ему взаимностью. Целиком стихотворение длиннее, однако поэт вполне мог бы ограничиться одним этим трехстишьем, краткостью и выразительностью удивительно похожим на японское хайку. Главное здесь сказано — и о себе, и о всех других влюбленных страдальцах, кому жизнь стала немилла (на языке психоанализа это называется менее романтично: «фиксация на фетишизированной идее»).

Утопился и испанец Анхель Ганивет (1865—1898). Писатель и литературный критик, он был дипломатом и служил консулом в Риге. Неразделенная любовь ввергла Ганивета в черную меланхолию, и он бросился с парохода в воды Двины, был вытасцен, но вскоре повторил попытку, и на сей раз спасти его не смогли.

Триада Эрос-Смерть-Вода заслуживает отдельного разговора, но поскольку это увело бы нас слишком далеко от темы, отметим лишь, что неудачливые влюбленные еще со времен Сафо, бросившейся в море из-за холодности прекрасного Фаона, отдава-

ли явное предпочтение именно этому способу самоубийства.

Предыдущая глава закончилась историей утопленницы Каролины фон Гюндероде, которую называют немецкой Сафо. Была своя Сафо и в Швеции — писательница и поэтесса Хедвиг Норденфлихт (1718—1763). Безнадежно влюбившись в молодого литератора Фишерстрема, стареющая покровительница искусств бросилась в зимнее озеро, и хоть была извлечена из воды, но все равно умерла от простуды.

Еще мрачнее был финал другой шведской писательницы Виктории Бенедиктсон (1850—1888), подписывавшей романы именем Эрнст Альгрэн. Предметом ее обожания стал блестящий датский критик Георг Брандес. Любовь была заведомо обреченной, поскольку Бенедиктсон, не слишком юная и не слишком красивая, кроме того, еще и была инвалидом: во время своего раннего неудачного брака она пыталась совершить самоубийство, но не умерла, а лишь подорвала свое здоровье. На сей раз писательница выбрала верный, но неромантический и совсем неженский способ, под стать своему мужскому псевдониму: перерезала себе горло бритвой в копенгагенской гостинице.

Конечно, в XVIII и XIX веках из-за несчастной любви убивали себя чаще, чем в нашем несентиментальном и сексуально раскрепощенном столетии, но окончательно эта почтенная, воспетая всеми видами искусства традиция не пресеклась. Были в XX веке жертвы любви и среди литераторов.

Недостаточная любовь Вероники Полонской, несомненно, стала одной из причин, побудивших Маяковского взяться за револьвер. Из-за любви застрелился Всеволод Князев и зарезался эгофутурист Иван Игнатьев, однако в двух последних случаях, видимо, еще и сыграла роль гомосексуальная предыстория обоих поэтов, а это особая тема, которой отведена следующая глава книги.

Но крупнейший итальянский поэт и писатель XX века Чезаре Павезе (1908—1950) умер именно из-за неразделенной любви, других явных причин для самоубийства у него не было. Произошло это в период творческого подъема — в последний год жизни он написал свои лучшие произведения. Литературная слава Павезе была в зените, он только что получил престижную премию «Стрега». Вообще-то в столь эйфорические этапы биографии писатели себя не убивают. «Никогда еще я не чувствовал себя таким живым и таким молодым», — писал Павезе всего за несколько дней до смерти. Но любовная травма оказалась сильнее жизненных и творческих соблазнов. Писателя заворожил «женщина, которую принес мартовский ветер», — американская киноактриса Констанс Даулинг. Привлеченная модой на неореалистическое кино, она приехала сниматься в Италию, и бедный Павезе совсем потерял голову. Он, прежде с утра до вечера просиживавший за письменным столом, послушно таскается за Констанс из города в город, заказывает себе элегантные костюмы, активно участвует в светской жизни. Чтобы сблизиться с предметом страсти, знакомится с кинорежиссерами, пишет сценарии фильмов, в которых она могла бы

участвовать. В конце концов Павезе делает актрисе предложение. «Я люблю тебя, — пишет он. — Дорогая Конни, я знаю вес этих слов, за которыми ужас и чудо, и говорю их почти совсем спокойно. Я так редко и так скверно произносил их на протяжении всей моей жизни, что они звучат для меня почти совсем как новые». Предложение руки и сердца не вызвало у Даулинг ни малейшего энтузиазма, и вскоре она уехала. Павезе отправился в туринской гостинице. Его последние стихи написаны по-английски. Название сборника «Смерть придет, и у нее будут твои глаза». Когда вокруг самоубийства Павезе поднялся газетный шум, актриса удивилась: «Я и не знала, что он был такой знаменитый».

Во второй части главы речь пойдет о другой крайности — любви *чересчур* разделенной. Брачного обета любить друг друга до тех пор, пока «смерть нас не разлучит», таким влюбленным оказывается недостаточно, они не желают расставаться и в смерти. Это тип самоубийства, в котором человек пытается одержать заведомо невозможную победу как над смертью, так и над предельностью своего «я», сломав перегородку между двумя раздельно существующими вселенными.

Двойные самоубийства любящих известны с незапамятных времен. Они неизменно волновали воображение современников, обрастали легендами и надолго сохранялись в памяти потомков. Такими историями, в частности, изобилует римская литература. В соответствии со стоическими воззрениями эпохи римские писатели делали упор не на любовь, а на чувство долга, но в случаях, когда суицидная инициатива исходила от женщин, даже сквозь сдержанные строки ла-

коничной латыни можно ощутить несомненное дыхание истинной любви — той самой, которая сильнее смерти. Вообще надо отметить, что в двойном самоубийстве почти всегда главной героиней, проявляющей чудеса храбрости и самоотверженности, оказывается женщина. Любовь — это ее территория, и женщина в любви почти всегда решительнее и безогляднее, чем мужчина.

Некоторые из подобных историй приведены в «Письмах» Плиния Младшего и затем пересказаны Монтенем с куда более эмоциональными, чем в оригинале, комментариями. Плиний, например, рассказывает о своем соседе, который страдал от тяжелой и неизлечимой болезни. Любящая жена сказала, что желает прекратить его страдания и уйдет из жизни вместе с ним. Супруги обвязались веревкой и бросились в море.

Хрестоматийна история консула Цецины Пета и его жены Аррии. Император Клавдий приговорил Пета к самоубийству, но тот страшился смерти и медлил. Тогда Аррия выхватила у мужа кинжал и нанесла себе смертельный удар в живот, произнеся знаменитую фразу: «Paete, non dolet» («Пет, не больно»). «Совершив этот высокий и смелый подвиг единственно ради блага своего мужа, — комментирует Монтень, — она до последнего своего вздоха была преисполнена заботы о нем и, умирая, жаждала избавить его от страха последовать за ней. Пет убил себя тем же кинжалом; мне кажется, он устыдился того, что ему понадобился такой дорогой, такой вознаграждаемый урок».

В постантической западной литературе немного примеров двойного самоубийства влюбленных — сказывалась табуированность темы. История Ромео и Джульетты скорее является исключением, да и в строгом смысле относится к иной категории — самоубийства из-за утраты. Ведь Ромео отра-

вился, уверенный, что Джульетта умерла. Если бы фра Джованни оказался порасторопней, юные влюбленные жили бы дальше, даже не помышляя о трагическом конце.

Но есть культура (и, соответственно, литература), в которой самоубийству разделенной любви отведено важное и почтенное место. Речь, конечно же, идет о Японии.

Как поступил бы в двадцатом, да и любом другом веке женатый европейский профессор философии, закрутивший роман с собственной студенткой, то есть попавший в банальнейшую из ситуаций? Развелся бы с женой или, на худой конец, стал бы вести двойную жизнь. Однако известный японский эссеист Номура Вайхан (1884—1921) решил сложную проблему иначе: профессор и студентка сбежали из города на лоно природы, две недели предавались любви, а потом утопились. И никого из современников такой не адекватный ситуации исход не удивил.

Здесь я возвращаюсь к теме синдзю, которой коротко коснулся в японской главе географического раздела. Синдзю — явление настолько яркое, что о нем стоит рассказать поподробнее. Напомню, что само слово, состоящее из двух иероглифов («сердце» и «середина»), буквально означает «внутри сердца» или «единство сердец». Уже из самой краткости японского слова в противоположность неуклюжим европейским конструкциям вроде «двойного самоубийства влюбленных» или «самоубийства по сговору» ясно, что японцы с этим трагическим явлением знакомы лучше и чувствуют себя с ним гораздо уютней. Именно этим термином я и буду пользоваться в дальнейшем, даже когда речь пойдет о совершенно «неяпонских» самоубийствах западных писателей.

Слово «синдзю» не всегда означало непременно смерть. В 1678 году был опубликован трактат «Большое зеркало

Иродо», излагавший поведенческий кодекс служительниц Иродо, «Любовного пути». В Японии к морали относились серьезно, без нее не могло существовать ни одно сословие: у самураев — Бусидо, у куртизанок — Иродо. В трактате обозначены пять степеней синдзю, под каковым в XVII веке понимались «доказательства любви». К этому средству жрица любви должна была прибегнуть, чтобы продемонстрировать, до какой степени ее сердцу дорог возлюбленный. Первая ступень — татуировка (ну, это, впрочем, знакомо и нам, хотя в большей степени распространено у подростков, матросов и уголовников). Далее по возрастающей следуют обрезание волос, написание любовной клятвы, обрезание ногтей и наивысшее из неистовств — отрезание мизинца. О самоубийстве в трактате ни слова. У средневекового писателя Ихары Сайкаку в первой истории знаменитого цикла «Пять женщин, предавшихся любви», описан сердцеед Сэдзюро, у которого в девятнадцать лет уже была собрана коллекция из нескольких тысяч клятв и целая шкатулка с обрезанными ногтями влюбленных девушек.

Новым грозным смыслом слово «синдзю» наполнилось на рубеже XVII и XVIII веков, когда в моду вошли спектакли Кабуки и театра марионеток о самоубийствах влюбленных, которые из-за жесткой социальной структурированности японского общества не могли соединиться и предпочитали расставанию смерть. В наследии Тикамацу Мондзаэмона, которого называют «японским Шекспиром», по меньшей мере полтора десятка пьес, построенных на самоубийстве влюбленных. Подобно «Вертеру» в Европе, пьесы порождали новые самоубийства, и вскоре синдзю стало неотъемлемой частью японской традиции.

Синдзю подразделяется на истинное и ложное, то есть совершенное против воли одного из участников. Обычно

инициатором такого убийства/самоубийства бывают мужчины, действующие по принципу «не доставайся же ты никому». Только в Японии Карандышев, убив Ларису, не кричал бы: «Что я, что я... Ах, безумный!», а тут же наложил бы на себя руки, и тогда какой-нибудь японский Островский написал бы пьесу для театра кукол, в которой Карандышеву досталась бы куда более завидная роль, чем в «Бесприданнице».

«Ложное синдзю» для Запада не новость. Случалось ступать на эту скользкую (от крови) дорогу и писателям. Правда, женщину, которая не желает соединяться с влюбленным в смерти, убить оказывается не так-то просто. Во всяком случае, такому нескладному существу как литератор. Французский писатель Эрнест Кордеруа (1825—1862) решил уйти из жизни вместе с женой, гонялся за ней по саду с пистолетом, но догнать не сумел и был вынужден умереть в одиночестве. Упомянутый чуть выше Иван Игнатьев тоже не хотел погибать один — после первой брачной ночи набросился на жену с бритвой, однако она вывернулась, и тогда он перерезал себе горло. И уж совсем некрасивое синдзю получилось у Такэути Масаси (1898—1922), японского публициста и критика, который неудачно посватался за девушку из консервативной семьи, ответившей несолидному человеку отказом. Такэути хотел зарезать себя и свою любимую, но та проявила ловкость и убежала, после чего несостоявшийся жених в бешенстве убил ее родителей, а потом себя.

Настоящее синдзю — такое, когда гоняться друг за другом с бритвой или пистолетом не приходится. Настоящее синдзю встречается не так уж редко и в жизни, и в литературе, и в жизни литераторов. Подобные драмы вызывают у нас, живущих, волнение особого рода: тут одновременно и мороз по коже, и странное чувство гордости за челове-

ство. Есть трогательная патетичность в попытке доказать, что любовь важнее смерти. И действительно, синдзю заслоняет смерть, словно бы отодвигает ее на второй план. Происходит победа Эроса над Танатосом, причем на его собственной территории и на доступном ему языке.

В историях о двойных самоубийствах писателей, где бы те ни жили и где бы ни умерли, ощутим истинно японский привкус *серьезной* любви, любви не на жизнь, а на смерть. Поэтому последнюю часть главы, посвященную примерам истинного синдзю, я назову на японский лад, в духе новелл Ихары Сайкаку:

**Пять писателей,
предавшихся любви**

*И если наши мертвые тела —
Добыча коршунов...
Я верю,
В загробном мире наши две души
Сольются в странствии одном.
И в ад, и в рай
Войдем мы вместе, неразлучно!'*

Тикамацу Мондзаэмон.
«Самоубийство влюбленных
на острове Небесных Сетей»

Немецкого писателя Генриха фон Клейста (1777—1811) почитали своим предтечей литераторы самых различных, даже противоположных направлений — и реалисты, и экспрессионисты, и шовинисты. Нена-

¹ Пер. В.Марковой.

видящий войну офицер, разочаровавшийся в науке студент, несостоявшийся чиновник, неудачливый издатель, он, вероятно, все равно рано или поздно пришел бы к самоубийству, но встреча с Генриеттой Фогель ускорила финал и придала ему мрачно-романтическую окраску, которой Клейст в значительной степени и обязан своей большой посмертной славой. Он не имел средств к существованию, был не признан современниками, отвергнут великим Гёте, его родина была повержена в войне с Наполеоном. А госпожа Фогель жила с нелюбимым мужем и была смертельно больна. Союз Генриха и Генриетты был идеальным, а страсть болезненно интенсивной. Идея совместного самоубийства принадлежала женщине. Клейст был потрясен и восхищен. Он писал приятелю: «...Я обрел подругу, чей дух парит, как молодой орел — подобной я не встречал еще никогда в жизни — ей внятна моя печаль, она видит в ней нечто высокое, глубоко укоренившееся и неизлечимое и потому, хотя ей по силам осчастливить меня здесь, на земле, жаждет со мной умереть... Теперь ты понимаешь, что сейчас единственная моя отрадная забота — отыскать достаточно глубокую пропасть, чтобы вместе с нею броситься туда».

Влюбленные сняли номер в гостинице возле Потсдама, пошли гулять в лес, к берегу озера Ванзе. Генрих прострелил Генриетте сердце, потом выстрелил себе в рот. В гостинице были оставлены предсмертные письма. В том, что написано женщиной, звучит спокойное, небоязливое довольство: «Всего вам доброго, дорогие друзья, вспоминайте в радости и печали двух необычных людей, которых вскоре ждет великое путешествие в неведомое».

В разгар второй войны, в другом лесу, окончил свою жизнь еще один не слишком удачливый литератор, тоже обретший большую славу лишь после смерти. Был сентябрь 1939 года. Польский драматург и прозаик Станислав Виткевич (1885—1939) бежал от наступающих немцев на восток. С Виткевичем была женщина, много моложе его, которую он любил. С востока навстречу немецким танковым колоннам двинулись дивизии Красной Армии. Бежать стало некуда. Влюбленные удалились в лес, чтобы покончить с собой. У писателя был пузырек с люминалом. Таблетки он отдал женщине, сам же решил воспользоваться бритвой. Женщина проглотила все таблетки и погрузилась в сон. Виткевич пытался перерезать себе вены, а когда не вышло, рассек шейную артерию и истек кровью. На рассвете женщина очнулась — то ли люминала было недостаточно, то ли ее молодой организм был слишком силен. А, может быть, ей на самом деле не хотелось умирать. Во всяком случае, она осталась жива и потом жила долго.

И еще одно синдзю в лесу — смерть японского писателя Арисимы Такэо (1878—1923) и его подруги Хатано Акико. Очевидно, лес обладает для участников двойного самоубийства некой подсознательной привлекательностью: не только образ возвращения в райский сад, но и символ мира, все население которого состоит только из двух человек.

Арисима, знаменитый писатель и уважаемый мэтр литературного сообщества, школьный друг правящего императора Тайсё, полюбил эмансипированную 26-летнюю журналистку, которая была одержима суицидальным комплексом. Писатель и

сам в своих произведениях воспевал смерть во имя любви. Акико убедила Арисиму воплотить свое кредо в жизнь. Последней каплей стало вымогательство, к которому прибег муж Акико, вознамерившийся получить от Арисимы денежную компенсацию за нанесенный моральный ущерб. Щепетильный и чувствительный писатель был до глубины души оскорблен пошлостью создавшейся ситуации. Влюбленные уехали в горы и там покончили с собой. В предсмертном письме другу Арисима писал: «...Я нисколько не жалею о своем решении и совершенно счастлив. Акико испытывает то же самое... Ночь миновала. В горах льет дождь. Мы долго гуляли, вымокли до нитки. Последние приготовления сделаны. Нас окружает величественный пейзаж — мрачный, трагический, а мы чувствуем себя, как заигравшиеся дети. Раньше я не знал, что смерть абсолютно бессильна перед любовью. Наверное, наши тела найдут, когда они уже истлеют». Так и произошло. Разложившиеся трупы самоубийц, свисавшие с потолка горной хижины, были обнаружены лишь месяц спустя.

Синдзю не всегда становится финалом драмы страстей. Весьма распространенное явление — самоубийство немолодых супругов, совершенное отнюдь не по романтическим мотивам. Но дело ведь не в страсти, дело в любви, а она не сводится к неистовству гормонов.

Стефан Цвейг (1881—1942) был именит, состоятелен и в самый разгар мировой войны жил в спокойном раеобразном пригороде Рио-де-Жанейро. Рядом была любящая молодая жена Лотта, ранее работавшая у Цвейга секретаршей. Никаких личных

причин для самоубийства у писателя не было. Но после Пирл-Харбора и падения Сингапура он вообразил, что в мире окончательно восторжествовали силы зла, и, отчаявшись, решил уйти из жизни. Преданная жена не противоречила и была готова разделить его участь. Перед смертью супруги написали 13 писем. Оправдывая свой поступок, Лотта не очень убедительно написала, что смерть станет для Стефана освобождением, да и для нее тоже, потому что ее замучила астма. Цвейг был более красноречив: «После шестидесяти требуются особые силы, чтобы начинать жизнь заново. Мои же силы истощены годами скитаний вдали от родины. К тому же я думаю, что лучше сейчас, с поднятой головой, поставить точку в существовании, главной радостью которого была интеллектуальная работа, а высшей ценностью — личная свобода. Я приветствую всех своих друзей. Пусть они увидят зарю после долгой ночи! А я слишком нетерпелив и ухожу раньше них». Цвейги отравились снотворным. Фотография их тел, прильнувших друг к другу даже в смерти, обошла все газеты.

Похожая история приключилась сорок лет спустя в Лондоне, где отравились снотворным Артур Кестлер (1905—1983) и его жена Синтия, по возрасту годившаяся автору «Полуденной тьмы» в дочери. Мертвый Кестлер был обнаружен сидящим в кресле с бокалом коньяка в руке. Синтия лежала на диване, рядом на столике — бокал виски. В пишущей машинке торчала записка для горничной с просьбой вызвать полицию.

Писатель был стар и смертельно болен: болезнь Паркинсона, лейкемия, расстройство речи, галлюци-

нации. При вскрытии в паху обнаружили метастазную опухоль. Синтия была молода, здорова и полна сил. Кестлер оставил письмо, адресованное друзьям. Оно было приготовлено еще за 9 месяцев до смерти. К последнему шагу писатель готовился основательно — привел в порядок дела, вступил в общество «Экзит» («Общество за право умереть с достоинством»), где его проинструктировали, как нужно правильно, наверняка уходить из жизни. Судя по письму, Кестлер собирался умереть один («...я не могу не думать о боли, которую причину моим немногим еще живущим друзьям и прежде всего моей жене Синтии»), однако она рассудила по-своему. Утром того самого дня отвезла на усыпление собаку, к длинному письму мужа сделала короткую приписку: «...Я не могу жить без Артура, хоть у меня еще и остаются внутренние силы». Свидетелей их последнего объяснения нет, а может быть, никакого объяснения и не было, и Синтия приняла барбитурат, когда муж уже потерял сознание. Так или иначе, прозвучавшие в прессе посмертные обвинения в адрес Кестлера, якобы подчинившего любящую жену своей воле, вряд ли обоснованы.

В прощальном послании писателя, который на склоне лет увлекался парапсихологией и вообще слыл изрядным чудаком, в частности, говорится: «Я хочу, чтобы мои друзья знали: я покидаю их в мире и покое, не без робкой надежды на некую деперсонифицированную жизнь после смерти — без ограничений пространства, времени и материи, за пределами нашего разумения. Это «океаническое чувство» часто поддерживало меня в трудные минуты; поддерживает оно меня и сейчас, когда я пишу эти строки...»

Влюбленным острова Небесных Сетей умирать было легче — они не робко надеялись, а совершенно твердо знали:

*Мы возродимся мужем и женой.
О, и не только в будущем рождение,
Но в будущем... и в будущем... и дальше —
В грядущих возрождениях всегда
Мы будем неразлучны!*

Однополая любовь

Моя боль сказала мне: «Ты не человек. Тебя нельзя и близко подпускать к другим людям. Ты — грустное и ни на что не похожее животное».

Мисима Юкио. «Исповедь маски»



выделяю гомосексуализм в отдельную главу из-за того, что эта вариация любовных отношений особенно опасна суицидальным финалом. Если уж «обычная» любовь делает любящего беззащитным и эмоционально уязвимым, то страсть гомосексуальная обнажена вдвойне и, с точки зрения большинства, нагота эта уродлива. Гомосексуалист прежних дней терзался ощущением своей виновности, страшился осуждения (а то и агрессии) со стороны общества, а самое горькое, что, в отличие от «обычной», однополая любовь не сулит хеппи-энда в духе «они жили долго и счастливо». Даже в современной литературе, подчеркнута толерантной

по отношению к так называемым сексуальным меньшинствам, мне не удалось обнаружить ни одного произведения, в котором гомосексуальная связь заканчивалась бы «гимном ликующей любви». Гомосексуализм изначально трагичен, потому что почти всегда обрекает человека на одиночество. А писатель-гомосексуалист одинок в квадрате, ведь творчество и без того неотрывно от изолированности, непохожести, отщепенства.

Гомосексуалисты всегда были, да и сейчас остаются группой повышенного суицидального риска. Причиной тому не только более высокая ранимость и эмоциональная возбудимость, но и внешние обстоятельства. Раньше таковыми были остракизм или страх разоблачения; в наши дни — СПИД, который, с точки зрения религиозных фанатиков, стал карой Божьей за «воплъ Содомский и Гоморрский», расшатавший устои нравственности. Безжалостней всего СПИД ударил по творческому сословию, в котором процент гомосексуалистов и бисексуалов во все времена был очень высок. В 80-е и 90-е годы многие литераторы умерли от нового морового поветрия. Были и такие, кого СПИД подтолкнул к суициду.

Например, французского писателя Ива Наварра (1940—1994), долгие годы бывшего лидером движения за юридические права и социальную адаптацию сексуальных меньшинств. Или кубинца Рейнальдо Аренаса (1943—1990), который у себя на родине сидел в тюрьме за «извращенность» и распространение «подрывной литературы», а в эмиграции за свободу любить и писать как хочется заплатил смертельной болезнью и самоубийством. «Куба будет свободной. А я уже свободен», — написал он в предсмертной записке.

В нашем столетии многие задавались вопросом, почему

среди людей творческих профессий всегда было так много бисексуалов и гомосексуалистов. Версий более чем достаточно. В бисексуальности многих прославленных литераторов обоего пола, возможно, проявилось подсознательное стремление к андрогинности: вобрать в себя оба пола, испытать ощущения, не предназначенные тебе природой, почувствовать себя человекобогом. Преодолеть предел обычного человеческого существования — один из главных и самых древних стимулов литературного творчества.

Что же касается гомосексуальности, то здесь, очевидно, соединились два потока: ведущий от творческого склада личности к девиантной сексуальной ориентации и, наоборот, тот, что ведет от врожденной аномалии к творчеству.

В первом случае речь может идти о стремлении творческого человека к неординарности, к тому, чтобы не быть таким, как все, о стимулирующем воздействии «запретности» и парийности. Все большее распространение гомосексуальности в развитых странах свидетельствует о прогрессирующей усложненности цивилизации, о растущей дистанцированности от природы и первобытной естественности. С развитием энтропических процессов неминуемо будет происходить «стирание грани между полами», сопровождаемое не только социально-ролевой, но и сексуальной перетасовкой половых функций. Все это в определенном смысле — плоды человеческого творчества.

Во втором случае имеется в виду несомненная творческая восприимчивость «естественных гомосексуалистов». Быть не таким, как остальные, — это развивает фантазию. Инакость психофизического устройства легко преобразуется в неординарность мышления и воображения, из чего, собственно, и складывается склонность к творчеству.

Были и такие авторы, кому роль нарушителя табу, эпатазирующего общественную мораль, была необходима для вдохновения. К числу подобных литераторов, впоследствии нареченных «проклятыми поэтами» и «цветами зла», относится целая плеяда изгоев, всячески афишировавших свою ненормативную сексуальность: де Сад, Байрон, Рембо и их разнообразные последователи.

Общество платило святотатцам неприятием и враждебностью. Особенной непримиримостью к осквернителям нравственности отличалась чопорная Англия — страна, в которой из-за традиционной системы закрытых школ для мальчиков гомосексуализм был необычайно развит. Но предаваться «содомскому греху» следовало втайне, а не открыто. Нарушителей благопристойности британское общество безжалостно карало. В 1784 году из страны был изгнан писатель Уильям Бекфорд, уличенный в пристрастии к юношам (и впоследствии покончивший с собой). А когда Англию навсегда покинул Байрон, приличное общество проводило великого барда вздохом облегчения, поношениями и проклятиями. Газета «Морнинг кроникл» напечатала по этому поводу брезгливую балладу:

*...Он едет прочь, дабы искать в заморской мути
Разврат под стать своей порочной сути.*

Английский закон до 1861 года карал однополую любовь смертной казнью, а затем — пожизненным заключением. Апофеоз английской гомофобии — расправа над Оскаром Уайльдом, сведшая безобидного любителя крашенных ромашек в преждевременную могилу.

Однако общественное мнение не везде относилось к сексуальным меньшинствам столь же сурово. На Востоке го-

мосексуализм и вовсе не считался пороком. Например, в японской классической литературе немало романтических историй, воспевающих однополую любовь. У Ихары Сай-каку можно даже встретить описание гомосексуального синдзю. Герой новеллы, 15-летний юноша, узнает от матери, что самурай, которого он любит всем сердцем, некогда убил его отца. Мать требует мести, заявляя, что долг чести выше любви. Любовник с этим не спорит и готов принять смерть от руки мальчика. Но тот не уступает ему в великодушии и требует честного поединка. Растроганная борьбой двух благородных сердец, мать смягчается и позволяет влюбленным провести ночь вместе, отложив трудное решение до утра. Но на завтра она находит два трупа: смерть примирила любовь с долгом.

Представить себе подобный сюжет в западной литературе, прямо скажем, трудно, хотя персонажей-гомосексуалистов (и тем более писателей) в Европе и Америке не меньше, чем на Востоке. Нет, я не собираюсь пускаться в перечисление литераторов, известных склонностью к гомосексуализму, — список получился бы длинным, при этом все равно неполным, а во многих случаях основанным на сплетнях или домыслах. Сексуальная ориентация писателя для моей темы существенна лишь тогда, когда приводит к суицидному исходу.

Примеров косвенной связи гомосексуализма с самоубийством довольно много: У.Бекфорд, В.Князев, И.Игнатьев, Х.Крейи, Н.Кассиди, Ю.Мисима и т.д. (читайте «Энциклопедию литературицида»). Прямая же причинно-следственная связь чаще наблюдается не у мужчин, а у женщин.

Возможно, дело в том, что в глазах общества, этику и мировоззрение которого определяли мужчины, лесбиянки были еще преступнее мужеложцев. Традиционное представ-

ление о «жрицах сафической любви», нашедшее отражение и в литературе, рисовало жестокое, распутное, сексуально ненасытное, но при этом эмоционально холодное, а главное, непозволительно умное существо. Это настоящий образ врага, воплотивший все те качества, которых мужчины больше всего боятся и не любят в женщинах.

При этом пресловутая эмоциональная холодность женщин, «которым не нужны мужчины», — выдумка сильного пола. Наоборот, гомосексуальные женщины обычно обладают повышенной эмоциональностью и особенной обнаженностью нервов, что нередко и приводит к самоубийству. Кроме того, для них, в отличие от мужчин, духовная сторона любовной связи значит больше, чем плотская, чувства преобладают над чувственностью.

Французская поэтесса Рене Вивьен (1877—1909), сейчас почти забытая, а в начале века почитавшаяся «самой загадочной поэтессой Прекрасной Эпохи» и, разумеется, «современной Сафо», была хозяйкой парижского артистического салона, где бывали Сара Бернар, Коlette и многие другие знаменитые женщины. Своего пристрастия к однополой любви поэтесса не скрывала. Ее салон славился гастрономическими изысками, однако умерла Вивьен от голода: брошенная любовницей, она перестала принимать пищу и угасла.

Хрупкий, почти бестелесный любовный треугольник, в котором не нашлось места для мужчины, — история смерти крупнейшей шведской поэтессы XX века Карин Бойе (1900—1941). Путь к осознанию своего гомосексуализма для нее был долгим, и его отправной точкой, видимо, послужила не столько физиология, сколько изначальное стремление к неограниченной личной свободе вопреки любым запретам и преградам. Однополая лю-

бовь несомненно давала Бойе мощный заряд творческой энергии — этой теме посвящены многие ее произведения. Конечно же, круг ее интересов, как у любого значительного литератора-гомосексуалиста, не сводился только к однополой любви. Страстная и увлекающаяся, Бойе не раз меняла убеждения и взгляды: сначала это был буддизм, потом христианство, потом социализм, а в последний период жизни — фрейдизм. Ее роман «Каллокаин», наряду с «1984» Дж.Оруэлла и «Дивным новым миром» О.Хаксли, считается одной из классических антиутопий, разоблачающих тоталитаризм.

Но главной жизненной коллизией Бойе была не политика и не литература, а любовь. Карин разрывалась между двумя женщинами, которых любила долгие годы. Первая из них, немецкая эмигрантка Марго Ханель, с которой Бойе жила одной семьей, изводила писательницу ревностью и эмоциональным вампиризмом. Карин пыталась с ней расстаться, но не хватило жестокости. Марго была на двенадцать лет моложе, болезненна, беспомощна и, очевидно, вызывала у Карин еще и материнские чувства. Однако сердце писательницы было отдано другой женщине, Аните Натхорст. Любовь эта была платонической и безнадежной, поскольку Анита испытывала к Карин лишь дружеские чувства и к тому же умирала от рака. Разрываясь между чувством вины перед Марго и обреченной любовью к угасающей Аните, Карин ушла от сердечных мук — ушла в прямом смысле: однажды апрельской ночью покинула дом и больше не вернулась. Ее нашли в лесу несколько дней спустя. Бойе выпила пузырек снотворного, легла на землю и умерла от переохлаждения. Через месяц безутешная Марго Ханель отравилась газом. Еще три месяца спустя умерла Анита Натхорст.

Не странно ли, что одно из самых глубоких высказываний о любви принадлежит поэтессе, которая не умела любить так, как задумано природой?

«Я верю, что любящий получает за свою любовь ровно столько, сколько дает, — но не от того, кого любит, а от самой любви».

(Карин Боје)

Болезнь

*Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и
стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего
я ужасался, то и постигло меня; и чего я бо-
ялся, то и пришло ко мне.*

Иов 3:24-25



то мотивация, перед которой пасуют даже самые непримиримые противники суицида. Когда речь идет о мучениях тяжело и неизлечимо больного, отстаивать священность жизненного дара и напоминать о бесконечном милосердии Всевышнего становится как-то даже не очень красиво — особенно, если мучается другой, не ты. Страх, испытываемый современным человеком перед болезнью, это не просто боязнь боли и смерти — это еще и (а у человека с развитым чувством достоинства даже в первую очередь) страх перед унижением и прижизненной потерей своего «я». Унизительно вопить от боли и быть в тягость близ-

ким. И уж совсем ужасно утратить власть над своим разумом, превратиться в какое-то иное, непохожее на себя существо. Раненный на дуэли Пушкин умирал долго и трудно. «Это была настоящая пытка, — читаем у И.Т.Спасского. — Физиономия Пушкина изменилась, взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели... Большой испытывал ужасную муку». Пушкин терпел, сколько было сил: «Не надо стонать; жена услышит; и смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил; не хочу» (В.И.Даль). Когда «вздор» все-таки пересилил, велел лакею принести пистолет. Пистолет, конечно, отобрали и дали Пушкину домочитаться до конца.

Сам Бердяев, идейный борец с суицидом, делал для этого разряда самоубийств исключение: «Когда человек убивает себя, потому что его ждет пытка и он боится совершить предательство, то это в сущности не есть даже самоубийство». Для многих капитуляция перед недугом воспринимается как худшее из предательств — измена самому себе. Лучше уж быстрая смерть от собственной руки.

Истинно верующий христианин скажет: любое страдание — испытание от Бога. Кого Он больше любит, того строже и испытывает; вспомни Иова многострадального: «Тело мое одето червями и пыльными струпями; кожа моя лопается и гноится». Неужто тебе хуже, чем Иову? Страдание не бывает бессмысленным, даже если за ним заведомо последует не облегчение и выздоровление, а смерть.

Но такая вера не для XX века. Если страдание благо, то, стало быть, любое обезболивание и наркоз — от Сатаны? И как быть, если близкий человек, долго и страшно умирающий от болезни, хочет уйти с достоинством? Слушать его мольбы и шептать молитву? Умирающий от

чахотки Ипполит из романа «Идиот» говорит, имея в виду Бога: «Неужели там и в самом деле кто-нибудь обидится тем, что я не захочу подождать двух недель?» Вряд ли кто-нибудь из живущих знает, как ответить на этот вопрос. Разве что вопросом же из Книги Иова: «*Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?*»

Как бы там ни было, самоубийство, причиной которого стала тяжелая болезнь, отвергать трудно, а осуждать невозможно. Да и суеверие не позволяет.

Современная психиатрия различает несколько стадий душевного состояния человека, который неизлечимо болен: от отрицания идеи о смертельности болезни (denial), через гнев на несправедливость судьбы (anger), торговлю с судьбой (bargaining) и подавленность (depression) к принятию своей участи и проистекающей отсюда умиротворенности (acceptance). Самоубийством чаще всего кончают на предпоследней стадии, когда надежды уже нет, а страх кончины и предсмертных страданий еще не преодолен. Давно известно, что ожидание боли — физической или душевной — во сто крат хуже самой боли. И еще на предпоследней, депрессивной стадии умирания больному делается невыносимо страшно оттого, что он *перестанет быть собой*.

С особенным упорством держится за свое достоинство и свою неповторимую индивидуальность человек творческий. И часто предпочитает уйти сам, если сохранить свое «я» становится невозможно. Это самый распространенный мотив суицида у литераторов.

Вот несколько взятых из разных эпох примеров того, как писатели сочли смерть меньшим злом, чем физические и нравственные страдания, вызываемые болезнью.

В дохристианские времена человеку, решившемуся на самоубийство, не приходилось мучиться из-за греховности своих намерений. Это был вопрос только мужества, только предела личного терпения. Знаменитый александрийский филолог Аристарх Самофракийский (II век до н.э.), который считается родоначальником всех благожелательных литературных критиков (в отличие от Белинского, Писарева и большинства современных российских рецензентов, произошедших от злоязыкого Зоила), в 72 года заболел водянкой, почитавшейся неизлечимым недугом, и уморил себя голодной смертью.

Так же поступил римский писатель, откупщик и эпикуреец Тит Помпоний Атик (109—32 до н.э.), измученный тяжелой болезнью. Утратив надежду на исцеление, Атик перестал есть и через четыре дня испустил дух.

Пример древних вдохновил исследователя античности, переводчика римской поэзии Перро д'Абланкура (1606—1664) предпочесть голодную смерть терзаниям мочекаменной болезни. Для Франции XVII века столь языческая твердость духа была в диковину и произвела большое впечатление на современников.

Польский франкоязычный писатель Ян Потоцкий (1761—1815), автор знаменитого романа «Рукопись, найденная в Сарагосе», был человеком странным, придерживался неортодоксальных верований и из жизни ушел неординарно. Этот масон и мальтийский рыцарь в последние годы жил отшельником в своем поместье и очень страдал от жестоких мигреней, в конце концов доведших его до самоубийства. Граф, кажется, не верил в Спасителя, однако верил в нечистую силу. Обычной пули ему показалось недостаточно: он застрелился серебряным шариком с крышечки на сахарнице, предварительно освятив его у ксендза — «на случай, если Бог все-таки есть».

Потоцкий по духу и стилю жизни еще принадлежал XVIII столетию, а в новом веке, в связи с кризисом веры и общим ростом гордыни, писательские самоубийства из-за физиологических причин перестали быть чем-то исключительным. Французский писатель Альфонс Рабб (1784—1829) был убежденным апологетом *mors voluntaria* и умер в полном соответствии со своими воззрениями. В молодости он был очень хорош собой, однако заболел сифилисом, который в ту пору лечить еще не умели, и со временем болезнь его обезобразила. В последние годы жизни Рабб почти не выходил из дому. Один из современников, видевший писателя незадолго до смерти, пишет: «Его зрачки, ноздри, губы были изъедены болезнью; борода выпала, зубы почернели. Сохранились лишь пышные светлые волосы, ниспадающие на плечи, и всего один глаз...» Писатель гнил заживо пять лет, а затем отравился смертельной дозой кокаина.

Страшной была смерть классика австрийской литературы Адальберта Штифтера (1805—1868). Он страдал от цирроза печени, и приступы были так мучительны, что однажды Штифтер не вынес боли и полоснул себя бритвой по горлу. Сделал он это столь неловко, что умер не сразу, а только через два дня.

Дрогнула рука и у португальца Антеро Кентала (1842—1891), страдавшего болезнью позвоночника. Он стрелялся на городской площади, возле монастырской стены, на которой по горькой иронии судьбы было начертано слово «Надежда». Первый выстрел в голову не был смертельным, но у Кентала хватило сил нажать на спусковой крючок еще раз — благо пистолеты в конце XIX века уже были многозарядными.

Совсем по-другому — тихо, без публики и шума ушла из жизни английская писательница Маргарет Барбер

(1869—1901), чьи повести и рассказы одно время были очень популярны. Это была добрая, самоотверженная женщина альтруистического склада, который у писателей встречается нечасто. В ранней молодости она работала сестрой милосердия в лондонских трущобах, а после того, как тяжелая, прогрессирующая болезнь позвоночника приковала ее к постели, устроила из своего дома нечто вроде благотворительного центра для нищих и бродяг. Прислугой у Маргарет были дряхлая старуха и умственно отсталая девушка, которым вряд ли дали бы работу в каком-нибудь другом доме. Биографию писательницы можно было бы назвать образцово-христианской — в пору канонизировать, если б не предосудительный с церковной точки зрения финал: ослабевшая от приступов боли, почти парализованная, Маргарет перестала принимать пищу. Ее голодовка продолжалась девять дней, и все это время писательница диктовала свою последнюю книгу. Эта книга («Дорожных дел мастер») вышла в свет лишь тридцать лет спустя и выдержала не один десяток изданий.

В нашем столетии водянку, мочекаменную болезнь и сифилис научились лечить, однако осталось достаточно недугов до такой степени мучительных и безнадежных, что им нередко предпочитают быструю смерть.

К числу этих болезней, во-первых, конечно, относится рак.

Аргентинская поэтесса Альфонсина Сторни (1892—1938), в отличие от Маргарет Барбер, была совсем непохожа на святую. Страстная, непримиримая, задиристая, она начинала актрисой бродячего театра, а потом стала писать эротические стихи, принесшие ей шумную, с оттенком скандала славу одной из первых латиноамериканских феминис-

ток. Сторни покончила с собой, когда врачи обнаружили у нее неоперабельную злокачественную опухоль. Поэтесса бросилась в море, оставив коротенькую записку, в которой красными чернилами на голубой бумаге так и было написано: «Я бросилась в море». И больше ни слова.

Американский писатель и общественный деятель Гарри Кодилл (1922—1990) пал жертвой другого страшного недуга — болезни Паркинсона. Когда Кодилл решил застрелиться, тремор был таким сильным, что пришлось держать пистолет обеими руками.

О писателях, пришедших к самоубийству из-за заболевания СПИДом, я рассказывал в предыдущей главе. Эта болезнь, которая «недавно нам подарена», уже унесла немало талантливых людей, и, как это ни печально, список ее жертв, в том числе суицидных, неизбежно будет пополняться.

Но временами на бедных литераторов обрушиваются и экзотические хвори. Японку Кобаяси Миёко (1917—1973) поразила недуг, ставший в XX веке раритетом, — проказа. Убедившись, что болезнь неумолимо прогрессирует, Миёко разошлась с мужем, прервала все личные связи. Последние месяцы, уйдя из лепрозория, она ни с кем не встречалась, писала автобиографическую повесть «Женщина-кокон». В книге есть такие слова: «Я одинока, моя единственная верная подруга — болезнь. Она сама мне подскажет, когда пора умирать». Болезнь подсказала, что пора, и Миёко Кобаяси отравилась снотворным. Соседи обнаружили тело через две недели.

Для того, чтобы писатель принял решение поставить точку в своей жизни, болезнь вовсе не обязательно должна быть смертельной. Вполне достаточно, если она покушает-

ся на полноценность жизни и, в особенности, на способность к творческой работе. Кошмаром для литераторов всех времен — еще большим, чем для обычных людей, — была слепота, то есть невозможность *наблюдать жизнь* и писать о ней.

Первым из писателей, кому вечный мрак оказался милее мрака незрячести, был Эратосфен Киренский (ок. 276—194 до н.э.), древнегреческий поэт и астроном. Ему, хранителю Александрийской библиотеки, была невыносима мысль о том, что он больше не сможет читать. Устрашившись слепоты, убили себя швейцарец Шарль Дидье (1805—1864), португалец Камило Кастело-Бранко (1825—1890), американка Френсис Ньюмен (1888—1928).

Сравнительно недавний пример летального «страха слепоты» — трагический конец Анри де Монтерлана (1896—1972). Знаменитый писатель и драматург, убежденный антидемократ, ницшеанец и певец мужественности на склоне лет стал терять зрение. Сначала ослеп на один глаз, потом под угрозой оказался второй. Монтерлан решил, что лучше застрелиться. В предсмертной записке причина самоубийства указана с предельной ясностью: «Я ослеп и убиваю себя».

Закончить главу о суициде из-за болезни, одну из самых грустных в моей и без того невеселой книге, я хочу обаятельными строками немецкой писательницы Сандры Паретти (1935—1994). Узнав о диагнозе (рак), она ушла из жизни, не дожидаясь последней фазы болезни. Перед тем как умереть, отправила в газету извещение о собственной кончине и прощальное стихотворение. Это одновременно и беспافосная автоэпитафия, и утешение живущим, и просьба о прощении:

нас в основном крепкие напитки. Как известно, национальные культуры кроме всего прочего еще и подразделяются по типу потребления алкоголя. Согласно классификации ВОЗ, национальный алкоголизм бывает двух видов: французский, итальянский или грузинский пьяница пьет некрепкие вино и пиво, но зато каждый день и помногу. «Сорокаградусный» пьяница пьет реже и меньше, но восполняет литраж градусом. В первом случае проблема алкоголика в том, что он не может воздержаться от спиртных напитков; во втором — что, начав, не может остановиться. А поскольку русский национальный характер вообще не в ладах с чувством меры, то в условиях фактической массовой безработицы и социальной дезинтеграции до самоубийства допиваются очень многие — не только в России, но и в соседних постсоветских странах. Вот и получается, что примерно у каждого восьмого суицидента в сегодняшнем мире родной язык — русский.

Главная причина «алкогольных» самоубийств проста и общеизвестна: такое похмелье, что жить не хочется. Вносит свой вклад в суицидную статистику и так называемое сумеречное патологическое опьянение, которое проявляется в актах необузданной и немотивированной агрессии, направленной иногда против других людей, а иногда против себя. Ну и еще, разумеется, нельзя забывать о белой горячке, при которой самоубийство происходит вследствие галлюцинаций и аффекта страха.

Современная психиатрия считает алкоголизм классической формой «хронического самоубийства» наряду с курением, употреблением наркотиков, перееданием и прочими вредными привычками. Классическая же психология делит алкоголиков на 4 типа: *Genusstrinker* — те, кто пьет для удовольствия и «за компанию»;

Erleichterungstrinker — те, кто посредством опьянения хочет вытеснить неприятные мысли или воспоминания и обычно делает это в одиночестве; Betaeubungstrinker — «оглушающие себя» пьянством, чтобы уйти от жизни с ее проблемами; наконец, Rauschtrinker — пьющие ради самого опьянения, которое и является для них самым комфортным, квазинормальным состоянием. К последней категории относятся люди с психическими патологиями, невротики и — очень часто — творческие личности.

Литераторы во все времена пили много, а некоторые из них слишком много. Причины понятны: чрезмерно развитый индивидуализм и эгоцентризм, ведущие к ослаблению семейных, корпоративных, социальных связей. Много среди литераторов и акцентуированных личностей — неуравновешенных, малоприспособленных для размеренной, обывательской жизни. Безусловно играет роль и фатальная зависимость писателя от «внешней силы» — вдохновения, которое невозможно вызвать в себе волевым усилием. Визионерский оттенок, свойственный мировосприятию многих литераторов, мешает установлению нормальных контактов с реальностью, а это, как установлено наркологической наукой, — один из основных психологических источников алкоголизма.

Однако у пьяницы-литератора, в отличие от обычного алкоголика, в жизни есть и высший смысл, поэтому самоубийств на почве одного только пьянства среди героев моей книги не так уж много. Но в качестве сопутствующего фактора, одной из составляющих трагедии, алкоголизм встречается очень часто. Особенно в периоды творческого кризиса, когда «высший смысл», помогающий удерживаться на плаву, кажется навсегда утраченным.

Из наиболее известных случаев писательского запойного суицида в России лишь про Н.Успенского можно сказать, что его погубило в первую очередь безудержное, а-ля Мармеладов, пьянство, а уж потом — скверный характер и личное горе (смерть любимой жены). У С.Есенина кроме пьянства были и другие не менее серьезные причины для самоубийства — политика, психологический надлом, творческий кризис. А.Фадеева погубила комбинация водки, нечистой совести и опять-таки утраты творческой потенции. Сильно пивший Г.Шпаликов был с юных лет одержим суицидальным комплексом, да к тому же ему еще и не повезло с эпохой и профессией: трудно делать кино в стране, где «завинчивают гайки».

Связь суицидальности с пьянством явственней всего прослеживается в судьбе классика японской литературы Дадзая Осаму (1909—1948), к сожалению, мало переведившегося на русский язык. Всю свою жизнь Дадзай был занят только одним: с редкостным упорством предавался всевозможным саморазрушительным занятиям. Отпрыск аристократического рода, он с мазохистским упоением погружался все ниже и ниже, на самое дно общества. Лучше всего он чувствовал себя в компании горьких пьяниц и проституток. Обаятельный, талантливый, Дадзай хотел оставаться слабым и инфантильным в мире, которым правят сильные и взрослые. От страха перед жизнью он избавлялся лишь в состоянии опьянения — да и то до поры до времени. Пять раз Дадзай пытался покончить с собой, но даже с этим ему не везло. В 21 год он впервые затеял двойное самоубийство с официанткой из бара — она умерла, он выжил. Однако от идеи синдзю он не отказался и в конце концов добился своего: утопился вместе с собутыльницей в резервуаре для дождевой

воды. Вряд ли это им удалось бы, если бы они не были мертвецки пьяны.

Японец среди самоубийц-алкоголиков — скорее исключение. Тут мало обитателей «винно-пивных» регионов (куда относится и родина сакэ), все больше жители стран, где предпочтение отдается крепким напиткам. А это означает, что, кроме русской, наибольший урон должны были понести англоязычная и польская литературы.

Так и есть. Жертвы англосаксонского виски: Х.Крейн, Дж.Берримен, М.Лаури. Жертвы славянской водки: Р.Воячек, М.Хласко, Э.Стахура. Оба списка можно бы и расширить.

Американский близнец Дадзая Осаму поэт Харт Крейн (1899—1932) тоже родился в привилегированной семье, тоже был редкостно талантлив, тоже старательно предавался медленному самоуничтожению и тоже утопился. Правда, в отличие от Дадзая, он был еще и гомосексуалистом, но главным его времяпрепровождением все же было пьянство. Запой с непременными шумными скандалами начинался всякий раз, когда Крейну казалось, что его навсегда покинуло вдохновение. Во время одного из таких депрессивных запоев, приключившегося во время плавания на пароходе, Крейн всю ночь пил и дебоширил, а потом кинулся в воды Карибского моря.

Очевидно, в сумеречном сознании алкоголика, пытающегося утопить свои страхи в вине, идея окончательного утопления возникает самым естественным образом. Примеру Дадзая и Крейна хотел последовать американский поэт Джон Берримен (1914—1972), бросившийся с моста в Миссисипи. Самоубийству предшествовала долгая и безрезультатная борьба с хроническим алко-

лизмом. Однако утопиться Берримену не удалось — спяну он не заметил, что в природе наступила зима, и разбился о лед замерзшей реки.

В самоубийстве пьяницы нет ничего красивого, да и не думает он о красивости: лишь бы поскорей, лишь бы на-верняка. Даже литератор, по самому складу личности склонный верить в то, что прах в заветной лире его переживет и тленья убежит, под воздействием алкоголя убивает себя безобразно, безо всякой мысли о биографах и потомках. Как Есенин в «Англетере», как Успенский на Смоленском рынке, как польский поэт Эдвард Стахура (1937—1979), сначала положивший на рельсы руку, а затем сунувший в петлю голову.

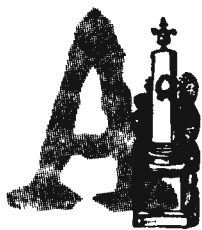
Поэтично сказано у Бодлера:

*«Кто не изведал вас,
глубокие радости вина?»*

Наркотики

*Итак, вот перед вами источник счастья!
Оно вмещается в чайной ложке, это счастье,
со всеми его восторгами, его безумием и ребяче-
ством! Вы можете без страха проглотить его:
от этого не умирают.*

Шарль Бодлер. «Искания рая»



Алкоголизм и наркомания — явления одного ряда. Строго говоря, алкоголь тоже наркотик, и его постоянное употребление в больших дозах подпадает под категорию токсикомании так же, как привычка к морфию, кокаину или опиуму. Если я выделяю неалкогольную токсикоманию в отдельную главу, то лишь следуя установившейся традиции. Человечество дольше и лучше знакомо с пьянством, чем с наркоманией, больше привыкло к нему и меньше его пугается.

Есть и еще одно различие, имеющее для творческого человека, а значит, и для этой книги, принципиальное значение: если спиртное притупляет мысль и чувство, то наркотик, наоборот, обычно их возбуждает. На начальной стадии он даже способен стимулировать художественную фантазию. Наркотик может подстегнуть, а то и заменить вдохновение, если оно не приходит естественным образом. «Скажите по совести, вы, судьи, законодатели, люди общества, все те, которых счастье делает добрыми... — восклицает Де Квинси в «Исповеди английского опиомана». — Скажите, у кого из вас хватит жестокой смелости осудить человека, вливающего в себя творческий дух?»

Множество художников, творивших в разных сферах искусства, погибли из-за нетерпения или неверия в собственный талант. А скольких писателей в XIX веке сделала наркоманами обросшая легендами история о том, как несчастный в любви Эдгар По решил отравиться опиумом, но не умер, а обрел божественный дар слова!

Разве можно сравнить этот волшебный эликсир с примитивным хмелем? «Там грубая скотская страсть, — утверждает Де Квинси, — а здесь высшее развитие самых возвышенных, чистейших способностей душевных».

Существует целое направление в искусстве, основанное на наркотических видениях, — психеделика. В большей степени это относится к живописи, музыке и иным видам невербального искусства. Но есть и психеделическая поэзия (например, значительная часть текстов рок-музыки), и проза. Английская писательница Анна Каван (1901—1968) даже написала психеделический роман «Лед», получивший премию за лучшее произведение в жанре фантастики¹.

В учебниках по наркологии говорится, что наркомании особо подвержены мечтатели и фантазеры. К этой категории можно без ошибки причислить большинство литераторов. Человеку, который ощущает себя уютнее не в мире человеческих отношений и материальных предметов, а в мире творческого воображения, наркотик дает шанс вкушать альтернативного бытия, дает иллюзию *другой реальности*. Когда же подлинная реальность не желает отступать и делается невыносимой, наркотик милосердно предоставляет возможность уйти от нее навсегда. В смерть.

¹ Вскоре после этого А.Каван покончила с собой, приняв смертельную дозу героина.

Так поступил Георг Тракль (1887—1914), австрийский поэт, убежавший от ужасов реальности в вечное блаженное забытие. Фармацевт по образованию, после начала мировой войны он был призван в армию и направлен в полевой госпиталь. Вид человеческих страданий, крови, грязи и смертей потряс поэта до такой степени, что он попытался покончить с собой, был отправлен на психиатрическое освидетельствование и, не дожидаясь комиссования, отравился кокаином.

Наркомания несравненно летальнее алкоголизма. Она быстрее убивает и гораздо реже выпускает из своих вязких объятий того, кто в них угодил. Суицидальная опасность наркомании заключается в прогрессирующем распаде личности, в непредсказуемости галлюцинаций (сколько было тех, кто вообразил, будто может летать, и бросился из окна!), в сильных приступах депрессии. Для писателя же опаснее всего творческое рабство, в которое он попадает, ввераясь стимулирующему действию наркотика.

«Кто станет прибегать к яду, чтобы мыслить, вскоре не сможет мыслить без яда. Представляете ли вы себе ужасную судьбу человека, парализованное воображение которого не может более функционировать без помощи гашиша или опия?»

(Де Квинси)

При том что нетрезвый (и даже весьма нетрезвый) образ жизни вели очень многие литераторы, а наркоманы среди них встречались не так уж часто, в «Энциклопедии литературицида» самоубийств на почве наркомании гораздо больше, чем на почве алкоголизма. Бывает трудно провести черту между смертью из-за случайного превышения

дозы и намеренным самоубийством. Впрочем, наркомания больше всех прочих вредных пристрастий близка к понятию «медленного суицида»; вопрос лишь в том, сколько времени понадобилось человеку, чтобы умертвить себя, — пять часов или пять лет. И все же к разряду самоубийств я отношу лишь те случаи, когда имеются либо прямые доказательства суицидального намерения, либо серьезные косвенные подтверждения (например, убийственно резкое повышение дозы наркотика в сочетании с общим угнетенным состоянием духа в предсмертный период).

А.К.Толстого (1817—1875) не принято причислять к самоубийцам, а между тем обстоятельства его смерти недвусмысленны. Граф стал одной из многочисленных жертв медицинского невежества: врачи той эпохи еще плохо представляли себе пагубные последствия привычного употребления возбуждающих средств и часто прописывали морфий или опиум в качестве обычного лекарства. На поверхностный взгляд, Толстой был баловнем судьбы, истинно легким человеком, которому удавалось все, за что бы он ни брался. Он блистал и при дворе (флигель-адъютант, егермейстер), и на охоте (в одиночку ходил на медведя), и в литературе (преуспел во всех жанрах от романа до пародии). Однако писание давалось графу мучительно, и он начал принимать для вдохновения морфий. Это привело к обычным симптомам абстиненции — нервным припадкам, мучительным головным болям, депрессии. В последний период жизни у графа даже началось раздвоение личности. Хозяйство пришло в упадок, бывшая популярность сменилась изоляцией, физическое состояние катастрофически ухудшалось. Умер Толстой из-за того, что однажды взял и выпил до дна целый пузырек морфия. Что же это, если не самоубийство?

Явным самоубийством была и смерть поэта-эмигранта Бориса Поплавского (1903—1935). Он жил в Париже, вел богемный образ жизни, его называли «русским Рембо» и сулили ему (не без оснований) великое литературное будущее. Поплавский считал, что поэт не должен работать, а должен писать. И он не работал, жил в крайней нужде, а когда появлялись деньги, тратил их на кокаин и героин. Умер «русский Рембо» от передозировки. Многие современники выражали сомнение в том, что Поплавский, человек глубоко религиозный, мог покончить с собой. Однако незадолго до смерти поэт записал в дневнике: «Глубокий, основной протест всего существа: куда Ты меня завел? Лучше умереть».

Особый вид медикаментозной зависимости, обычно даже не причисляемый к наркомании, — болезненная привычка к снотворному. Бессонница — вечная спутница писателя, переживающего депрессию или творческий кризис. Постоянное, превосходящее все нормы увеличение дозы барбитуратов — веронала, люминала и прочих — надломило и привело к самоубийству целый ряд выдающихся литераторов нашего столетия. Особое коварство токсикомании этого типа состоит в том, что человек сам не замечает, как превращается в раба пилюли.

Кавабата Ясунари (1899—1972) лишился сна и покоя после получения Нобелевской премии. Высокая награда, а еще в большей степени жадное внимание прессы парализовали творческую энергию интровертного певца тихой грусти и неброской красоты. Борясь с изнурительной бессонницей, Кавабата принимал горы таблеток. Потом, как водится, таблетки перестали действовать. В таких случаях жажда сна делается столь непреодолимой,

что человек готов уснуть навечно, лишь бы уснуть. В конце концов Кавабату усыпил газ.

Американец Рэндалл Джаррелл (1914—1965) попал в замкнутый круг: от сильнодействующих лекарств к невралгии, депрессии и бессоннице, от бессонницы к еще более радикальным препаратам. Находясь в психоневрологической лечебнице, Джаррелл перерезал себе вены, был спасен, но от мучений это его не избавило. Улучив момент, он выбрался за пределы больничной территории, вышел на шоссе и бросился под автомобиль.

Американская поэтесса Энн Секстон (1928—1974) из-за хронической бессонницы попала в тяжелую медикаментозную зависимость. Существование стало настолько невыносимым, что Секстон несколько раз пыталась покончить с собой и в конце концов своего добилась — отравилась в гараже выхлопными газами.

Я закончу главу стихотворением Секстон. Оно не про наркотики и даже не про бессонницу, но помогает понять, почему писателя часто губит то, что обычному человеку нипочем.

*Пишущая женщина слишком
остро чувствует.
О, трансы и предзнаменования!
Словно мало ей месячных,
детей и островов,
Мало соболезнавателей,
сплетен и овощей.
Ей кажется,
что она может спасти звезды.
Писатель по натуре — шпион.
Любимый, это обо мне.*

Пишущий мужчина

слишком много знает,
О, заклятья и фетиши!
Словно мало ему эрекций,
конгрессов и товаров,
Мало машин, галеонов и войн.
Из старой мебели
он делает живое дерево.
Писатель по натуре — мошенник.
Любимый, это о тебе.

Мы никогда не любили себя,
Мы ненавидели даже собственные
шляпы и башмаки,
Но мы любим друг друга, милый, милый.
Наши руки голубы и нежны,
В наших глазах страшные признанья.
А когда мы поженимся,
Наши дети брезгливо уйдут.
У нас слишком много еды, и нет никого,
Кто съел бы все это нелепое изобилие.

Политика

— Да! Чуть было не забыл, — вскричал Азавелло, — мессир передавал вам привет, а также велел сказать, что приглашает вас сделать с ним небольшую прогулку, если, конечно, вы пожелаете. Так что ж вы на это скажете?

— С большим удовольствием, — ответил Мастер.

М.Булгаков. «Мастер и Маргарита»



олитика и литература издавна неравнодушны друг к другу. У первой — сила прямого действия и физическая власть; у второй — сила эмоционального воздействия и власть духовная. Политике нужен инструмент влияния на умы; литература мечтает об инструменте воплощения своих идей и фантазий в жизнь. В истории человечества неоднократно были периоды, когда слово начинало играть гипертрофированную роль, оно становилось, если калькировать удачное английское выражение, *больше жизни*. Почти всегда подобное состояние общества связано с той или иной формой политического нездоровья: революционной ситуацией, социальными потрясениями, диктатурой. В последнем случае чрезмерный рост авторитета литературы, особенно художественной, — реакция общества на ущемление свободы слова. Когда писатель, существо в общем-то инфантильное и безответственное, обретает роль Учителя Жизни, это верный признак: прогнило что-то в

Датском королевстве. Для писателя такое повышенное внимание со стороны читателей и властей с одной стороны лестно, с другой опасно.

Тоталитарная власть стремится прибрать литературу к рукам, посадить писателя в золотую клетку, сделать живого соловья механическим. А тех, кто не хочет, подвергает преследованиям и казням. Литераторы — порода психически хрупкая и тонкокожая, поэтому в условиях открытой агрессии со стороны внешнего мира многие из них убивают себя сами.

Часть писателей пытаются противиться власти насилия, видя в ней дьявольскую силу (каковой подобная власть безусловно и является). Такие литераторы сознательно подвергают себя смертельной опасности.

Другие предпочитают заигрывать с дьяволом: встают на сторону власти, служат ее интересам с большей или меньшей искренностью и в меру отпущенного им таланта. Тут дело не в трусости или корысти, дело обстоит сложнее. Сатана — он ведь еще и Демон, покровитель творчества и гордыни, поэтому писатель к харизме прямого действия неравнодушен. Диктатор, сильная личность, вершитель истории предстает перед художником в виде эдакого Воланда, вызывая не только страх, но и сладостное замирание сердца; не только отвращение, но и восхищение. Однако близость к власти, *которая много и легко убивает*, тоже таит в себе немалую опасность. Писатель-царедворец слишком зависим от капризов кесаря, да к тому же еще и совесть не чиста. Временами так и тянет в петлю.

Но и те литераторы, кто держится в стороне от политики — не борется с дьяволом и не служит ему, — тоже в опасности. Потому что власть насилия — это вообще

опасно для жизни граждан. В статистику показательных акций устрашения, без которых *злой власти* не продержаться, наряду с прочими категориями населения попадают и аполитичные писатели, причем гораздо чаще, чем представители многих иных профессий: к пишущему человеку в таком государстве относятся с особой настороженностью. Что это он там такое царапает по ночам? Почему не несет к цензору? Надо разобраться. Писатель, нервный человек, часто воспринимает отеческую строгость власти неадекватно: ерепенится, пугается, или просто проникается отвращением к действительности.

Писатели, доведенные до самоубийства политикой, легко делятся на три группы, которые я обозначу так: «противившиеся дьяволу», «заигрывавшие с дьяволом» и «жертвы статистики».

Противившиеся дьяволу

Писателями-самоубийцами этого разряда человечество и история литературы могут гордиться. В XX веке таких было немало, поскольку тоталитарные режимы новейшего времени отличались небывалой мнительностью по отношению к любым проявлениям творческой и политической независимости.

Я уже приводил длинный суицидный мартиролог литераторов-антифашистов. Одни покончили с собой, чтобы избежать неминуемого ареста, — как это сделал Эгон Фридель (1878—1938), выбросившийся из окна своей венской квартиры, когда на лестнице уже гремели эссовские сапоги. Другие убили себя в знак протеста против насилия и массового безумия — как Менно тер Браак (1902—1940), которого называли «совестью голландс-

кой литературы». Он принял яд в тот самый день, когда немецкие войска вторглись в Нидерланды.

Среди наших соотечественников нельзя не вспомнить поэта Николая Дементьева (1907—1935). Комсомолец-энтузиаст, которому Багрицкий адресовал свое знаменитое стихотворение («Где нам столкнуться! Вы — другой народ...»), не выдержал столкновения романтических социальных фантазий с грубой реальностью чекистского *modus operandi*. Согласно широко распространенной версии, Дементьев выбросился из окна, не желая становиться доносчиком.

Спасительное окно, мистический аварийный выход в иной мир, где нет предательства и страха, выручило многих, кому умереть было легче, чем капитулировать. Недаром в окна следственных кабинетов научились вставлять особенные непробиваемые стекла. Но в больницах окна обыкновенные, чем и воспользовался Галактион Табидзе. Старый поэт упал на асфальт, прямо под ноги мучителям, которые требовали, чтобы он подписал письмо, клеймящее Пастернака.

В самый глухой период брежневской эпохи, сломленный отступничеством единомышленников — как раз шел показательный процесс, где каялись бывшие единомышленники, — покончил с собой поэт-правозащитник Илья Габай (1935—1973). Строки его последней поэмы проникнуты отчаянием и безнадежностью.

*...Я в сомкнутом, я в сдавленном кольце.
Мне остается пробавляться ныне
Запавшей по случайности латынью
Memento mori. Помни о конце.
Какие сны и травы? — Не взыщите!*

*Какая благодать? — Лживый, малый сон.
И нету сил! (И где мой утешитель?)
И худо мне! (И чем утешит он?)*

Если худо и нету сил, можно умереть. Но играть с дьяволом в поддавки нельзя.

Заигрывавшие с дьяволом

Тут спектр куда как разнообразней.

Были такие, кого, подобно Маяковскому и Фадееву, политическая ангажированность завела в жизненный и творческий тупик.

Были и просто поставившие не на ту карту, погибшие вместе с силой или партией, к которой примкнули. Философ Исократ (436—338 до н.э.) жил в Афинах, но был сторонником македонского царя Филиппа. Когда македонцы и афиняне, не придя к соглашению, вступили в войну, престарелому Исократу по античной логике полагалось умереть, что он и сделал.

Французский драматург Себастьян Шамфор (1741—1794) не поладил с соратниками по якобинской партии и, оказавшись перед угрозой ареста, не захотел умирать на гильотине — избрал добровольную смерть свободного человека.

Шамфора, автора знаменитого лозунга «Мир хижинам, война дворцам», не очень жалко — в конце концов, поднявший меч обычно своей смертью не умирает. Однако история смерти другого республиканца, прекрасного маркиза Кондорсе (1743—1794), поистине грустна и притчеобразна. Блестящий энциклопедист и ученый, еще в ранней молодости принятый в члены Академии, он был

за свободу, равенство и братство, но против террора и кровопролития. После поражения умеренной жирондистской партии, к которой принадлежал Кондорсе, ему пришлось скрываться от полиции. Под конец маркиз прятался в каменоломнях, отощал и дошел до последней крайности, но не расстался с томиком Гомера. Из-за него и погиб. Местные патриоты распознали по ученой книжке «аристократа» и торжественно препроводили в тюрьму, где философу-маркизу оставалось только отравиться.

И опять хочется обратить внимание читателя на символическое значение способа смерти, который выбирает самоубийца. Потерпевшие поражение революционные, партийные и государственные литераторы почему-то чаще всего отдают предпочтение яду. Весной 1945 года среди писателей-коллаборационистов прокатилась целая волна отравлений: Бёррис фон Мюнхаузен в Германии, Йозеф Вайнхебер в Австрии, Пьер Дрие ла Рошель во Франции; были и другие, менее именитые. Может быть, горечь яда лучше всего сочетается с горечью поражения? Или с горьким осадком худшего из возможных для писателя злоупотреблений — употребления во зло своего дара. Дрие ла Рошель перед смертью написал в дневнике: «Писатель должен понимать, что отвечает за свои слова жизнью».

Еще одно роковое заблуждение, жертвой которого с легкостью становится творческий человек, — возведение в ранг золота того, что ярко блестит. Сколько было их, радужных мотыльков, из честолюбия или просто любопытства слишком приблизившихся к огню Большой Власти и сгоревших в нем дотла.

Хрестоматийный пример — царствование Нерона, покровителя искусств и поэтов. Об опале и самоубийстве Сенеки, бывшего наставника и чуть ли не соправителя

капризного кесаря, я уже писал в разделе «Философия». Племянник Сенеки 25-летний поэт Марк Анней Лукан утратил расположение Нерона из-за того, что писал слишком хорошие стихи, — у императора так не получалось. Певец стоического самоубийства, в жизни Лукан проявил себя человеком малодушным. Надеясь заслужить пощады, он донес на собственную мать, но и это его не спасло — пришлось-таки вскрыть себе вены.

Через год был вынужден умереть еще один великий римлянин, опальный фаворит Гай Петроний, также имевший неосторожность вызвать зависть Нерона, да еще и участвовавший в придворных интригах. «Арбитр изяществ», в отличие от Лукана, ушел из жизни с подобающей эlegantностью: во время пиршества, под музыку и песнопения, он по капле выпустил себе кровь и постепенно погрузился в сон.

Жертвы статистики

Это те самые щепки, которые летели во все стороны, когда злая власть валила лес Великих Свершений. Особенно много писателей — как репрессированных, так и доведенных до самоубийства — на счету масштабного и длительного исторического эксперимента, проведенного в нашей стране.

Грустнее всего то, что загонщиками в предрестной и предсуицидной травле почти во всех случаях были собратья по перу. Они же часто выступали и в роли первоначальных доносчиков.

В годы, предшествовавшие массовым чисткам, обходилось без прямого участия государственной машины, которую эффективно подменяли рапповские и лэфовские «проработки».

Андрею Соболю (1888—1926) левая критика вменяла в вину недостаток оптимизма и рефлексии. Когда писатель поступил и вовсе пессимистично — застрелился, — лефовский журнал вместо эпитафии написал, что Соболю «ушел в пассивное созерцание».

Комсомольский вождь Виктор Дмитриев (1905—1930) неосторожно подпал под влияние Юрия Олеши и был разоблачен товарищами по РАППу. Он покончил с собой после того, как его исключили из рядов Ассоциации и признали «идеологически чуждым».

Леонид Добычин (1896—1936) держался в стороне от литературно-политических свар и стал мишенью инспирированной сверху кампании по наведению страха на творческую интеллигенцию в общем-то по случайности. Нужен был козел отпущения, и писательские функционеры выбрали человека, который не умел оправдываться и каяться. После собрания, на котором его критиковали за «объективизм» и «политическую близорукость», Добычин раздал долги, написал письмо («Меня не ищите, я отправляюсь в дальние края») и бесследно исчез. Хотя тела не нашли, люди, хорошо знавшие Добычина, были совершенно уверены, что он не скрылся, а именно покончил с собой. «Его самоубийство, — пишет В.Каверин, — похоже на японское харакири, когда униженный вспарывает себе живот мечом, если нет другой возможности сохранить свою честь».

Картечью из охотничьей двустволки застрелился ожидавший ареста Паоло Яшвили (1892—1937). Произошло это в разгар репрессий, когда карательные органы действовали оперативнее общественных организаций, предоставляя им возможность осуждать «врагов народа» уже после их разоблачения.

С 1939 года империя начала внешнюю экспансию, поглотив сначала запад Украины и Белоруссии, потом Прибалтику, потом всю Восточную Европу. На вновь завоеванных землях бодро застучали чекистские топоры, обильно полетели щепки.

Писатель Юрий Галич (1877—1940) не успел вовремя покинуть Ригу. После первой же, пока ознакомительной, беседы в еще как следует не развернувшемся НКВД Галич понял, что ему, бывшему генералу белой армии, на снисхождение новой власти рассчитывать не приходится, и повесился.

Но, как мы уже знаем, чаще всего от неминуемой тюрьмы писателей спасает не петля, требующая времени и подготовки, а распахнутое окно. Одно мгновение, и палачи остаются с носом. Именно таким образом избежал от истязаний и унижений чешский писатель Константин Библ (1898—1951), оказавшийся недостаточно ортодоксальным коммунистом.

Прошло еще полтора десятилетия, и на другом конце света в роли «щепки» оказался Лао Шэ (1899—1966), в свое время обласканный властью и достигший высокого ранга главного китайского писателя. Но времена переменились, и литература, даже самая верноподданническая, коммунистам стала не нужна. Оскорбительнее всего для живого классика, вероятно, было то, что его приговорили к уничтожению не из опаски, не как оппонента курсу Культурной революции, а просто выбрали в мальчики для битья, дабы дать острастку всей интеллигенции. Отданный на глумление хунвейбинам, писатель утопился в пруду.

В разделе «География» я уже писал, что печальное лидерство России и Германии в «Энциклопедии литературы» объясняется прежде всего обилием политически

мотивированных самоубийств среди литераторов двух этих стран. Двенадцать лет интенсивного террора в Германии и семьдесят лет волнообразных репрессий в Советском Союзе увеличили суицидный мартиролог по меньшей мере на четыре десятка писательских имен.

Однако психика творческого человека устроена таким несчастным образом, что нанесенные ей раны плохо поддаются излечению временем. Художник мало приспособлен для выживания, в экстремальных условиях он гибнет одним из первых. А хуже всего то, что, даже если писатель чудом остался жив, уцелел в невозможных, нечеловеческих условиях, то вместо того, чтобы потом жить сто лет и радоваться своему невероятному везению, он раздирает себе душу страшными воспоминаниями, всё копается, копается в прошлом, и в конце концов жизнь — та самая жизнь, которую он с таким трудом сохранил, — становится ему не мила.

Этот уникальный психологический феномен напрямую связан с особым типом самоубийства. Он называется

Лагерный синдром

Этот термин появился после второй мировой войны, когда выяснилось, что количество самоубийств среди бывших узников нацистских концлагерей значительно превышает среднестатистические суицидные показатели. Вряд ли кто-то проводил аналогичные исследования среди выживших зеков ГУЛАГа, но резонно предположить, что результат был бы таким же. Унижения, физические страдания и, что хуже всего, неизбежные этические компромиссы, на которые пришлось пойти, чтобы выжить, — вот компоненты тяжелой нравствен-

но-психической травмы, подтачивающей души бывших узников. Обычно жертвами лагерного синдрома становятся люди думающие, тонко чувствующие, с высоко развитым чувством собственного достоинства. Эта мина замедленного действия может взорваться в любой момент под воздействием обстоятельств, хотя бы частично воссоздающих обстановку перенесенного кошмара. Когда травмированному лагерным синдромом человеку кажется, что *все это* может повториться вновь, смерть — и та выглядит предпочтительней. В одной из предыдущих глав я писал о том, как рассерженный вельможа пригрозил Радищеву повторной Сибирью. В условиях либеральной эйфории начала Александрова царствования эти слова, конечно же, были пустым сотрясанием воздуха, но писатель содрогнулся, вспомнив о цепях, повозке с жандармом, казематах. Содрогнулся — и наложил на себя руки.

Ничем кроме лагерного синдрома нельзя объяснить и относительно недавнее самоубийство Примо Леви (1919—1987), которому в возросшей активности итальянских ультраправых примерещилась угроза фашистского реванша — и это в демократической, сытой, толерантной Италии 80-х! Тень Освенцима накрыла всю жизнь писателя и настигла его через сорок с лишним лет.

Впрочем, бикфордов шнур у этой мины бывает разной длины. Немецкому поэту Альфреду Вольфенштейну (1888—1945), чудом вырвавшемуся из гестаповского застенка, жизненных сил хватило всего на несколько месяцев. Он убил себя в январе последнего года войны — уже после выхода из подполья, но еще до победы.

Тадеуш Боровский (1922—1951), один из первых литераторов, рассказавших безжалостную правду о погиб-

ших и выживших в лагерях, спасся от газовой камеры лишь для того, чтобы через несколько лет вернуться в нее добровольно: он отравился газом на собственной кухне.

У Пауля Целана (1920—1970), автора знаменитой лагерной «Пути смерти», летальный нарыв вскрылся через четверть века после войны. Все эти годы пережитый ужас не оставлял его, по капле отравляя ему жизнь. «Общение с этим крайне измученным человеком было нелегким, — вспоминал М.Чоран. — К людям он относился с предубеждением, держался за свою недоверчивость, и тем настойчивей, чем сильнее был его болезненный страх оказаться уязвленным. Его ранило все. Малейшая бестактность, пусть даже непреднамеренная, его добивала... Не хочу утверждать, будто он видел в каждом человеке потенциального врага, но то, что он жил в паническом страхе разочароваться или обмануться, несомненно. Его неспособность к отстранению или к цинизму превратила его жизнь в кошмар». Кошмар закончился тем, что поэт утопился в Париже — на том самом месте, где

Как жизнь, постепенно

Под мостом Мирабо исчезает Сена¹.

Другая поздняя жертва войны — австрийский философ Жан Америк (1912—1978). Участник Сопротивления, он вынес и пытки, и лагерь, а воспоминаний не вынес. Война стала для него и главной темой творчества, и смертельной болезнью.

Почему у этих людей яд пережитого не рассосался в крови, а пропитал всю душу, сделал жизнь невозможной?

¹ Пер. М. Яснова.

Автор «Колымских рассказов» объясняет это так:

*«Каждая минута лагерной жизни —
отравленная минута.
Там много такого, чего человек не должен
знать, не должен видеть, а если видел —
лучше ему умереть».*

(В.Шаламов)

Безумие

*Мне сказала в пляске шумной
Сумасшедшая вода:
«Если ты больной, но умный —
Прыгай, миленький, сюда!»*

Саша Черный



Безумие располагается где-то неподалеку от творчества, в том же самом ландшафте. То едва различимой черной точкой на горизонте, то вдруг огромной черной тучей, заполняющей весь небосклон. Что такое психическая нормальность — никому не ведомо. Это абстрактное понятие, вроде доли ВВП на душу населения. И уж никак не назовешь «нормальной» ту душу населения, которая использует в качестве источника и инструмента для профессиональной деятельности свои мысли и переживания. Прав был Ницше, написавший: «Поэты бесстыдны по отношению к своим переживаниям: они эксплуатируют их». Да, бесстыдны, но и

беспечны. Творческий человек слишком безоглядно снимает урожай со своей души. Тут самая плодородная почва, и та истощится.

И наоборот: лишь тот, кто не бережет своей души, может стать настоящим творцом. Во всяком случае, настоящим писателем. Впрочем, «ненастоящих» писателей в «Энциклопедии литературицида» вы обнаружите немного, ибо они мало кому интересны, и потомки быстро их забывают.

Разумеется, среди литераторов полным-полно неврасцеников. Вероятно, даже большинство. В судьбе многих писателей-самоубийц психическое нездоровье сыграло свою зловещую роль, подготовив почву для трагического финала. Но в этой главе речь пойдет не об эксцентричных, неуравновешенных или истеричных писателях, не сумевших совладать с депрессией, а о тех страшных примерах полного, всеохватного безумия, которое поглощает душу без остатка, вытесняет все прочие черты личности и становится главной причиной самоубийства. Что здесь отправной пункт, а что следствие — бог весть. То ли творческий дар становится порождением психической аномалии, причудливым цветком, расцветшим на патологической почве; то ли безумие обращается расплатой за чрезмерную творческую вибрацию души.

Самые страшные самоубийства происходят в так называемом состоянии раптуса, острого эмоционального состояния, выливающегося во взрывной суицидальный импульс, когда под воздействием некоей болезненной идеи жизнь становится мучительно невыносимой. И тогда безумец уничтожает себя с мстительной жестокостью. Путем самокастрации, как сумасшедший французский поэт Арман Барте (1820—1874). Проглотив железный ключ

от сундука, в котором хранились рукописи, — как другой французский поэт, Никола Жильбер (1750—1780). Или застрелившись возле писсуаров, как аргентинский поэт Франсиско Мерино (1904—1928).

Писатель, даже сходя с ума, остается верен себе и записывает свои ощущения — иногда в тщетной попытке удержать ускользающий рассудок, как Лозина-Лозинский; а бывает, что и в предостережение, как Гаршин.

На Алексея Лозину-Лозинского (1886—1916) последний, предсмертный приступ безумия навалился так стремительно, что писатель успел накоплять лишь несколько расплывающихся строчек. В конце почерк становится трудночитаемым: «...Я живу безумием. У меня холодеют ноги; чтоб не сойти с ума — я пишу. Слабеют руки. Я умираю. Молчи. Теперь я уверен, что меня не погребут. Погребут, а не похоронят. Я сластена, я осьминог! Я люблю свое безумие. Я хохочу в темный мрак — ха-ха-ха! Мне не стыдно. Я всем отдам свое безумие на показ! В газету! (Холодеют руки)». Дальше будет смертельная доза морфия и бесстрастная, уже без судорожных «ха-ха-ха», запись своих предсмертных ощущений.

Всеволод Гаршин (1855—1888) в промежутке между периодами помрачения написал пугающе красивый рассказ «Красный цветок», в котором описал процесс распада сознания, *увиденный изнутри*.

Пациенту сумасшедшего дома представляется, что цветок, растущий в больничном саду, является средоточием всего мирового Зла. Борьба с цветком требует невероятной концентрации духовных и физических сил, преодоления массы реальных и воображаемых препятствий. Но больной считает себя спасителем человечества, на которого возложена великая, ему одному понятная миссия. Он

жертвует собой во имя Добра. Гаршин писал о самом себе — его тоже одолевали видения подобного рода. Первый приступ психической болезни он перенес в семнадцать лет и впоследствии рассказывал об этом так: «Однажды разыгралась страшная гроза. Мне казалось, что буря сметет весь дом, в котором я тогда жил. И вот, чтобы этому воспрепятствовать, я открыл окно, — моя комната находилась в верхнем этаже, — взял палку и приложил один ее конец к крыше, а другой — к своей груди, чтобы мое тело образовало громоотвод и, таким образом, спасло все здание со всеми его обитателями от гибели». Что ж, благородный человек благороден даже в безумии.

Сумасшествие играло с Гаршиным в кошки-мышки: то прижмет к земле, то выпустит погулять — доучиться в университете, отправиться добровольцем на Турецкую войну, стать известным писателем, обзавестись семьей. Потом прыжок, взмах когтистой лапы — и снова смирительная рубашка, зарешеченное окно скорбного дома.

Это был обреченный человек. Наследственностью — взбалмошная мать, у отца явные психические отклонения, старший брат застрелился. Обнаженностью нервов — происходящие в мире жесткости и злодеяния воспринимал как личную трагедию. Крестом писательства — по собственному признанию, оно подтачивало его душевные силы и сводило с ума: «Хорошо или плохо выходило написанное, это вопрос посторонний; но что я писал в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови, то это, право, не будет преувеличением» (из письма другу за 3 месяца до самоубийства). Предсмертный приступ был особенно тяжел — бессонница, бред, лихорадочное бормотание непонятных слов.

Выбежал из квартиры, бросился в лестничный пролет. Сильно расшибся, но умер не сразу, а только через пять дней. Все повторял: «Так мне и нужно, так мне и нужно».

Если Гаршин явно совершил самоубийство в состоянии раптуса, то американская писательница и поэтесса Сильвия Плат (1932—1963) использовала суицидную ситуацию как средство борьбы с подступающим безумием. В своем знаменитом романе «Колба» она детально описала один из приступов заболевания с попыткой самоубийства и последующим выздоровлением. Кризис происходил с периодичностью в десять лет, и каждый раз, намеренно ставя свою жизнь под угрозу, но в то же время оставляя и шанс на спасение, Плат «обманывала» безумие. Избежав смерти, она переходила к новому рождению и новой творческой фазе. Плат писала:

Смерть —
Искусство не хуже других.
В совершенстве я им овладела.
Умираю ловко до невероятности —
Ощущение, лишённое приятности.
Я — мастер своего дела.

И еще:

Я это сделала снова.
Раз в десять лет
Я выкидываю этот номер —
Что-то вроде чуда...
Мне только тридцать.
У меня, как у кошки, девять смертей.
Эта вот — номер три.

Первый раз, в ранней юности, Плат приняла снотворное и спряталась в подвале. Ее долго искали, нашли и вернули к жизни. Во второй раз она вывернула руль на автостраде, врезалась в ограждение и снова чудом осталась жива. В третий раз ей, очевидно, не очень-то хотелось умирать: она знала, что к ней должны прийти и вовремя ее обнаружить, — перед тем, как сунуть голову в духовку, положила на видное место бумажку с телефоном своего врача. Но из-за рокового стечения обстоятельств ее нашли слишком поздно. У Сильвии Плат, в отличие от кошки, оказалось не девять смертей, а только три.

Безумие пишущего человека — это совершенно особый род сумасшествия. Очень легко из одной выдуманной реальности, литературной, перенестись в другую, еще более иллюзорную — психопатологическую. При этом в больной голове писателя все три реальности скручиваются в один перепутанный клубок, так что и нам, читателям, бывает трудно разобраться, где здесь правда, где художественный вымысел, а где бред.

Гаршин жаловался, что в больнице ему все льют по капле на голову холодную воду. То ли правда лили, следуя допотопной психиатрической гипотезе, то ли бедному Всеволоду Михайловичу примерещилось из «Записок сумасшедшего» — запись от 349 февраля: «Боже, что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внимают, не видят, не слушают меня. Что я им сделал?» Эта проклятая книга словно преследует всех скорбных духом литераторов. Начиная с самого Гоголя. «Нет, я больше не имею сил терпеть, — пишет в конце повести Поприщин. — Боже! Что они делают со мной!.. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится передо мною... Матушка, спаси сво-

его больного сына!» Сравните со строками из письма, которое написал матери через 18 лет после «Записок сумасшедшего» морящий себя голодом Гоголь: «Думал я, что всегда буду трудиться, а пришли недуги — отказала голова... Бедная моя голова! Доктора говорят, что надо оставить ее в покое... Молитесь обо мне, добрейшая моя матушка». Накануне самоубийства о Гоголе думает больной Акутагава: «Он вспомнил, что Гоголь тоже умер безумным, и неотвратимо почувствовал какую-то силу, которая поработила их обоих» («Жизнь идиота»). Да и последние строки новеллы Акутагавы «Зубчатые колеса», в которой с медицинской дотошностью описан процесс нисхождения в ад безумия, звучат совсем по-поприщински: «Писать дальше у меня нет сил. Жить в таком душевном состоянии — невыразимая мука. Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?»

И Лозина-Лозинский, и Гаршин, и Гоголь, и Акутагава умерли из-за того, что боялись надвигающегося безумия. Но были и такие писатели, кто изначально существовал в мире бредовых, патологических фантазий: и жизнь, и творчество этих литераторов иначе как через призму психической болезни понять невозможно. Если же случались периоды просветления, то весьма относительного и очень далекого от пресловутой среднестатистической нормальности.

Как тут не вспомнить романтического и кроткого Жерара де Нерваля (1808—1855), так плохо приспособленного для жизни и так страшно ее окончившего. Для Нерваля сконструированный им причудливый трансцендентный мир был гораздо реальнее окружающей действительности. В центре нервалевой вселенной находилась

Вечная Женщина, вокруг которой вращались все звезды и светила. На рисунке, сделанном в сумасшедшем доме, писатель наглядно изобразил эту космогонию. У Вечной Женщины лицо второсортной водевильной актриски Дженни Колон, которую сумасшедший писатель благоговейно обожал — с почтительного расстояния. Все доставшееся ему по наследству состояние Нерваль потратил на букеты, театральные бинокли и дорогие трости, которые ломал об пол, восторженно приветствуя каждый выход Колон на сцену. Он купил для своей несостоявшейся возлюбленной баснословно дорогую кровать, якобы некогда принадлежавшую фаворитке Людовика XIV, и снял для этого ложа специальное помещение, хотя сам дома не имел и жил то у друзей, то в лечебницах. Когда Колон умерла, Нерваль отождествил ее с Девой Марией. Себя же он считал богом, обладающим великой и чудодейственной силой. Когда ему взбрело в голову «сбросить земные одежды» посреди улицы и полицейские повели его в участок, Нерваль думал только об одном — как бы неосторожным движением не испепелить кого-нибудь из блюстителей порядка. Еще он собирался спасти человечество от нового потопа, а в сумасшедшем доме возлагал руки на других больных, чтобы даровать им исцеление. Как и Гаршин, он был поистине величествен в своем сумасшествии.

Умер Нерваль так.

Среди ночи явился к приятелю возбужденный, заявил, что должен немедленно скупить по нумизматическим лавкам все монеты с изображением римского императора Нервы, ибо не может допустить, чтобы руки черни касались лика его знаменитого предка. При этом у него не было ни гроша, да и император его предком быть никак

не мог, хотя бы потому, что настоящая фамилия писателя — Лабрюни, а «Нерваль» — псевдоним. Отказавшись остаться на ночь, сумасшедший пошел к себе в ночлежку. Из-за позднего времени ему не открыли дверь. Декабрьская ночь выдалась морозной, верхнего платья у Нерваля не было. Он немного побродил по ночному Парижу и перед рассветом повесился на уличной решетке. Долго не мог умереть, сипел и задыхался на глазах у зевак. Потом, наконец, затих.

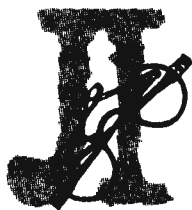
*Но в тихий зимний день, когда
от жизни бренной
Он позван был к иной,
как говорят, нетленной,
Он, уходя, шепнул:
«Я приходил — зачем?»¹
(Жерар де Нерваль. «Эпитафия»)*

¹ Пер. В. Брюсова.

Странности характера

Я странен? А не странен кто ж?

А.Грибоедов. «Горе от ума»



людей с акцентуированным складом личности иначе называют «абнормальными личностями» или «индивидами с личностными нарушениями». На бытовом языке, с различной степенью толерантности, — «чудаками», «большими оригиналами», «эксцентричными», «взбалмошными», «полоумными» и т.д. Это люди со странностями, не страдающие явным психическим заболеванием, но проявляющие несомненную склонность к аффектной неустойчивости и истероидному поведению, то есть к неординарным, экстравагантным и часто саморазрушительным действиям.

Иметь дело с такими людьми тяжело. Без них на свете было бы скучно.

Я уже писал об относительности понятия «нормальный человек». По мнению немецкого психиатра К.Вильманса, если счесть нормой не усредненную, а умственно и творчески развитую личность, то «так называемая нормальность — не что иное, как легкая форма слабоумия». Впрочем, даже если согласиться с этой нестандартной точкой зрения, придется признать, что «легкая форма слабоумия» в смысле суицидопредрасположенности безопасней.

С точки зрения психиатрии, к группе высокого суицидального риска относятся четыре девиации: душевнобольные; токсикоманы; акцентуированные личности;

практически здоровые, но склонные к острым ситуационным реакциям. Провести разницу между третьей и четвертой категориями очень трудно.

В предыдущей главе говорилось о том, что многие из писателей-самоубийц страдали тяжелыми психическими недугами. Что уж говорить о писателях со странностями. Большая часть фигурантов «Энциклопедии литературицида» были людьми несносными, безответственными, непредсказуемыми, антиобщественными, истеричными, склонными к неприличной веселости и непонятной мрачности, губившими жизнь себе и своим близким — в общем, публикой сомнительной и ненадежной.

Эта особенность творческой элиты отмечена еще Дюркгеймом, писавшим: «В утонченном обществе, живущем высшей умственной жизнью, неврастеники составляют своего рода духовную аристократию». Чрезмерно чувствительные нервы и слишком развитая фантазия в равной степени способствуют как развитию творческих склонностей, так и поведенческим аномалиям. «Я живу в мире воспаленных нервов, прозрачный, как лед», — так ощущал себя акцентуированный Акутагава.

Для литераторов, как и для представителей иных творческих профессий, в высшей степени характерен суицидальный тип поведения. Эта модель далеко не всегда приводит к реальному самоубийству, но часто проявляется в попытках суицида, приступах суицидального настроения, пристрастии к «неразумным» поступкам, вредным привычкам — в общем, как сказали бы в советские времена, к нездоровому и антиобщественному образу жизни.

Безумства и чудачества литературных людей могли бы стать темой обширного и увлекательного исследования.

Однако избранная тема заставляет ограничиться описанием лишь тех «акцентуаций», которые закончились самоубийством. Я не стану пересказывать хрестоматийные истории этого типа (Сергей Есенин, Марина Цветаева, Клаус Манн, Джек Лондон), а лучше возьму писательские судьбы, мало известные русскому читателю.

Станным, а с точки зрения церковных властей, и крайне подозрительным человеком был итальянский философ и математик Джироламо Кардано (1501—1576). Он отличался неординарными привычками и предосудительными сексуальными пристрастиями, к тому же еще был чернокнижником и астрологом, твердо убежденным в магической силе звезд. До поры до времени его спасала от инквизиции только репутация знаменитого медика — Кардано врачевал и государей, и князей церкви. Однако главным делом своей жизни автор знаменитого трактата «О тонкости вещей» все-таки почитал астрологию. Страшным ударом для его репутации стала скоропостижная смерть английского короля Эдуарда II (того самого, которого все мы знаем по «Принцу и нищему») — Кардано как раз перед этим предсказал юному монарху долгую и счастливую жизнь. Тогда астролог решил восстановить свой престиж самым безошибочным образом: составил собственный гороскоп и объявил, что ему суждено умереть в день своего 75-летия. На всякий случай, перед назначенной датой он перестал принимать пищу и подтвердил правоту звезд собственной смертью¹.

¹ В «Энциклопедии литературоведения» есть еще один литератор, до такой степени увлекшийся астрологией, что повторил судьбу Дж. Кардано, — англичанин Роберт Бертон (1577 — 1639).

Английский поэт и драматург Томас Беддоус (1803—1849) принадлежал к той редкой и обычно несчастной породе людей, кто начинает умственно развиваться очень рано, поражая всех яркими дарованиями, но впоследствии не оправдывает возлагавшихся надежд и всю оставшуюся жизнь любыми, какими угодно способами пытается возродить угасший интерес окружающих к своей персоне. В XX веке это явление получило название «синдрома вундеркинда» — как известно, из чудо-детей нечасто получаются великие ученые и творцы.

Беддоус с раннего возраста проявил блестящее литературное дарование. В 18 лет он издал свою первую книгу, восторженно встреченную критиками и публикой, а Оксфорд окончил, уже будучи литературной знаменитостью. Вся дальнейшая творческая деятельность Беддоуса была сплошной чередой неудач и разочарований, сопровождаемых буйными выходками, скандалами, постоянной сменой места жительства и занятий, попытками самоубийства. В странностях натуры Беддоуса несомненно играла роль и наследственность — его отец, знаменитый врач, изобретатель ингаляционной терапии Томас Беддоус-старший, тоже славился неординарными поступками: однажды он разместил в палате чахоточного больного корову, утверждая, что ее дыхание благотворно скажется на его состоянии.

Беддоус-младший Англию не любил, предпочитал жить на континенте, а когда навещался на родину, то непременно устраивал какую-нибудь сенсацию. То пожелает сыграть в шекспировской пьесе и ради этой цели снимет на одно представление весь театр; то попытается поджечь театр Друри-лейн горячей пятифунтовой банкнотой. Всю жизнь Беддоус был заморожен одной идеей

— постижением природы смерти. Ради этого стал анатомом, ради этого много лет писал, переписывал, дорабатывал (но так и не закончил) главную книгу своей жизни «Собрание анекдотов о смерти». Способ самоубийства Беддоус выбрал оригинальный, под стать стилю жизни: вскрыл артерию на левой ноге, рассчитывая умереть от потери крови. Не умер, но подхватил инфекцию, из-за которой ногу пришлось ампутировать. Полгода спустя Беддоус принял яд, оставив записку следующего содержания: «Я только и гожусь, что на пищу для червей... Я много кем мог стать, в том числе и хорошим поэтом. А жить на одной ноге, да и то паршивой, — слишком скучно».

Не менее необычный, но более эффективный способ самоубийства выбрал другой чудака, поэт Пьер Борель (1809—1859), предводитель французских «младших романтиков». Под псевдонимом Ликантроп (Человек-волк) он бичевал пороки буржуазного общества, воспевал добровольную смерть и даже предлагал учредить фабрику самоубийств. Последние годы жизни провел в Алжире, жил в выстроенном по собственному проекту готическом замке, слыл у колонистов человеком несносным и сумасбродным. В разгар африканского лета Борель, к ужасу соседей, встал на самом солнцепеке с непокрытой головой и принялся ждать, когда его хватит солнечный удар. В ответ на уговоры сказал: «Не нужна мне шляпа. Природа сделала то, что могла, и мне не пришлось ее исправлять. Если она пожелала лишить меня волос, то, стало быть, ей угодно, чтобы мое темя было обнаженным». И вскоре упал мертвый.

Поль Массон (1849—1896) совмещал работу по судебному ведомству с литературной деятельностью, что

само по себе уже необычно. Любитель скандалов и мистификаций, он частенько устраивал рискованные выходы — например, чуть не вызвал франко-германскую войну, когда издал якобы найденные (а на самом деле сочиненные им) юношеские дневники Бисмарка. Как это часто бывает с людьми подобного склада, уходя из жизни, Массон тоже проявил фантазию. Вот как описывает его смерть знаменитая Колетт, близкая подруга писателя: «Это был классический финал выдумщика. Стоя на берегу реки, он вдохнул эфир, упал и утонул на глубине в один фут».

Поэт-космополит Артур Краван (1887—1920) — то ли британец, то ли швейцарец, то ли француз, то ли американец — любил не только литературные, но и вполне бытовые скандалы: жил по фальшивым паспортам, изображал из себя моряка, грабителя, заклинателя змей. Главным удовольствием для Кравана, любимца дадаистов, было эпатировать приличную публику. Однажды он сорвал открытие чинной художественной выставки в Нью-Йорке, устроив дебош со стриптизом. Иные мистификации обходились ему дорого: как-то раз Краван, объявив себя великим боксером, вызвал на бой чемпиона мира в тяжелом весе — с очевидными (и неблагоприятными для своего здоровья) последствиями. Решив уйти из жизни, он сел в лодку, уплыл в открытое море и не вернулся. Это было явное самоубийство, но мертвым неутомонного Кравана никто не видел.

Американская поэтесса Сара Тисдейл (1884—1933) всю жизнь совершала непоследовательные, противоречивые поступки. Молодость она отдала поэзии, достигла известности и признания, но в тридцать лет вдруг круто изменила судьбу: отказавшись выйти замуж за

другого поэта (и будущего самоубийцу) Вэчела Линдсея, предпочла ему обычного, ничем не примечательного бизнесмена. Пятнадцать лет поэтесса тихо прожила в провинциальном Сент-Луисе, а потом спокойный ритм добропорядочного семейного существования ей наскучил, и она снова ринулась в нью-йоркскую поэтическую жизнь. Эмоциональная, подверженная быстрой смене настроений, Тисдейл была болезненно мнительна, а больше всего страшилась инсульта — ее брат был парализован ударом и двадцать лет провел в инвалидном кресле. На всякий случай поэтесса запаслась внушительным запасом барбитуратов, и когда на руке у нее лопнул кровеносный сосуд, решила, что паралич неминуем. Боясь опоздать, она немедленно отравилась. Как подобает богемной поэтессе, Тисдейл завещала развеять свой прах над морем, но ее похоронили на респектабельном кладбище — как добропорядочную домохозяйку.

Вот последнее стихотворение из ее предсмертного сборника «Странная победа»:

*Мир, покой. Сияет луна
Над засыпанной снегом крышей.
Будет отдых и тишина.
Песнь безмолвия я услышу.*

*Дивный мир предо мной предстал,
Я его непременно найду.
Я возьму покоя кристалл,
И слеплю из него звезду.*

Раздел II

Не как у людей

Творческий кризис

...И поступают люди так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.

Л.Н.Толстой. «Исповедь»



главе «Юность» я коротко коснулся темы возрастного кризиса, который свойствен всем людям, но у человека творческого имеет несколько иную хронометрию и совершенно специфическую окрашенность. Обычный человек переживает пору психологической и мировоззренческой ломки сначала перед двадцатилетним рубежом, затем перед пятьюдесятью (так называемый *midlife crisis*) и еще раз на пороге старости, которая, как известно, у всех наступает в разные сроки. Этот трехпиковый кризис соответствующим образом отражается

на суицидной статистике. Трижды на протяжении жизненного пути происходит опасное соединение разнородных факторов, заставляющих человека взглянуть на свое существование новыми глазами и часто прийти к неутешительным выводам. Физиологический стресс (половое созревание, преодоление пика телесного развития, гормональное увядание) накладывается на психологический (взросление, осознание своей смертности, осознание близости финала) и экономический (бедность и зависимость юности, крах надежд на благополучие среднего возраста, беспомощность и нищета старости).

Всем этим общечеловеческим напастям в полной мере подвержен и художник, но у него к перечню уязвимых участков прибавляется еще один, возможно, самый болезненный — творческая потенция. Художник всю жизнь испытывает страх однажды проснуться и вдруг ощутить, что волшебный дар, составлявший главное содержание его бытия, безвозвратно ушел. Когда творческий человек попадает в один из вышеназванных возрастных капканов, страх этот многократно усиливается: художник, чувствуя, что в нем происходят перемены, боится, что одновременно с физической метаморфозой произойдет и креативная: вдохновение останется по ту сторону — в миновавшей юности, молодости, поре расцвета, что оно не *преодолеет этого барьера*. Отличие человека искусства от обычных людей тут состоит еще и в том, что кризис середины жизни у творца происходит лет на десять раньше, с окончанием телесной и ментальной молодости — так называемый «синдром 37 лет». Именно этот рубеж становится для литераторов главным возрастным испытанием.

Но прежде чем разобраться, почему именно порог сорокалетия так обилён писательскими самоубийствами, по-

«Если я совершу самоубийство, то не для того, чтобы себя разрушить, а для того, чтобы себя собрать. Самоубийство станет для меня единственным средством насильно отвоевать себя, грубо вторгнуться в мое естество, предварить неизбежное приближение Бога».

Антонен Арто

пытаемся разобраться в самой природе «творческого» суицида. Мне кажется, что суть этого трагического происшествия почти всегда — в отсутствии смирения и истинной религиозности, то есть в сознательном или неосознанном соперничестве художника с Богом.

У литератора это происходит так. Все, что он изображает при помощи слов, субстантивируется, превращается в вещь, в прикноп-

ленный к бумаге предмет. В работе «Литература и право на смерть» Морис Бланшо пишет, что, сделав своей задачей подмену реальных вещей словами, литература не может остановиться, пока не изгонит бытие из всего мира, пока не добьется его тотального разрушения. Я бы сформулировал эту мысль несколько иначе: начав подменять реальные вещи словами, литература не остановится, пока не назовет все вещи словами, то есть пока не создаст полную копию реального мира. Так возникает иллюзия власти над миром. Флобер писал, что автор творит свой собственный мир подобно Богу. Что ж, писатель и в самом деле властелин в созданной им вселенной, он там — всемогущий творец, и как таковой вступает в соперничество с тем Творцом, который придумал мир, где существует сам писатель. Вот почему писатели так любят сочинять романы о писателях: автор сам становится Творцом, дергающим за ниточки другого творца — вымыш-

ленного писателя, и, должно быть, при этом воображает, что Бога, его собственного Творца, тоже вполне может дергать за ниточки некий еще более могущественный Писатель.

Для человека искусства самоубийство часто становится попыткой сравниться с Творцом, отнять у него главную власть — власть над своей жизнью. «Если кто-то сумеет обладать собой вплоть до смерти, сквозь смерть, — пишет Бланшо, — то он возобладает и над тем всемогуществом, что настигает нас в смерти, сделает его не более чем мертвым всемогуществом. Таким образом самоубийство Кириллова оказывается смертью Бога». Я бы даже сказал — *убийством* Бога.

Богоборческая подоплека мук творческого кризиса не всегда осознается самим писателем, и тогда он определяет мотивацию своего суицидального намерения иначе. Он пишет и говорит о желании «убежать от мук творчества», жалуется на смертельную усталость от *иссушения души*. Насчет души проверить трудно, но мозг творческого человека, кажется, и в самом деле может преждевременно стариться. Вскрытие тела Байрона обнаружило в его мозгу и сердце явные признаки старения — это в 36-то лет.

Когда Дар покидает художника или пугает, что хочет покинуть, откуда ни возьмись возникает воспетый Брюсовым «Демон самоубийства» (обратим внимание на многозначительную датировку этого стихотворения: «Ночь 15/16 мая 1910»)...

*Он в вечер одинокий — вспомните, —
Когда глухие сны томят,
Как врач искусный в нашей комнате,
Нам подает в стакане яд.*

*Он в темный час, когда, как оводы,
Жужжат мечты про боль и ложь,
Нам шепчет роковые доводы
И в руку всовывает нож...*

*В лесу, когда мы пьяны шорохом
Листвы и запахом полян,
Шесть тонких гильз с бездымным порохом
Кладет он молча в барабан...*

Только демон этот вовсе не похож на воспетого Брюсовым черноглазого «пленительного юношу» со «странно-длительной улыбкой» — это для молоденьких, чувствительных поклонниц вроде Надежды Львовой (1891—1913), с которыми мэтр играл в демонизм.

Писательский демон самоубийства некрасив, неулыбчив, полубезумен, с воспаленными от бессонницы глазами. Это другая ипостась демона творчества, пришедшего получить причитающееся по счету.

Иногда расплата наступает очень рано, в самом начале жизненного пути: у бурно расцветшего таланта дыхание оказывается жарким, но коротким. Литераторы-«спринтеры» (чаще всего поэты), исчерпавшие свой дар прежде, чем вошли в зрелую пору, воспринимают творческий кризис не так уж болезненно. Талант не был выстрадан ими, а достался как бы сам собой; еще не прожитая, едва пригубленная жизнь, кажется, таит столько иных, не менее острых, чем творчество, ощущений! Восемнадцатилетнему Рембо или девятнадцатилетнему Дюпре, должно быть, мнилось, что они вполне смогут прожить и без поэзии. Но это, увы, иллюзия — для «нормальной» жизни рано отцветшие дарования обычно оказываются совершенно непригодны: не так, как все, живут, не так, как все, умирают.

Тристан¹

*Кто взглянул на красоту однажды,
Предан смерти тайно и всецело;
Будет изнывать от вечной жажды,
Но страшиться смертного удела —
Кто взглянул на красоту однажды.
Боль любви в нем будет вечно длиться,
Ибо лишь глупца надежда манит,
Что желанье это утолится.
Тот, кто красоты стрелою ранен —
Боль любви в нем будет вечно длиться.*

*Как родник по капле иссякает,
Пьет отраву в дуновеньи каждом,
Смерть из каждого взвстка вдыхает:
Кто взглянул на красоту однажды —
Он, как ключ, по капле иссякает.*

Август фон Платен

И все же самоубийства из-за творческого кризиса у литераторов-«спринтеров» крайне редки. Как, впрочем, и у «стайеров», которым дара хватило почти до самой финишной черты — вдохновение окончательно ушло лишь в старости, когда главное уже написано и сделано.

Самая многочисленная категория «самоубийц от творчества» — это, если продолжить спортивную метафору, бегуны на среднюю дистанцию. Те, кого Муза соблазнила и покинула посреди жизненной дороги. На этом рубеже творческая потенция иссякла у многих людей искусства, и вовсе

¹ Пер. И.Эбаноидзе.

не только из литературного цеха. Разумеется, не все они сунули голову в петлю. Подавляющее большинство жили дальше и даже пытались творить, но все созданное ими было лишь бледной тенью прежнего волшебства. Кольридж, например, перестал писать в тридцать, а прожил до шестидесяти пяти. У Уордсворта промежуток между творческой и физической смертью растянулся больше, чем на сорок лет.

Но истощение дара — это не преждевременный выход на пенсию, как у 35-летней балерины, а страшная трагедия для того, кто поставил на карту творчества всю свою жизнь. Симптомы недуга удручающе одинаковы.

«...Меня мучает ужасная мысль, что каждый день надо писать и писать», — сказано в предсмертной записке 35-летнего японского драматурга Като Митио.

36-летний Леонид Андреев жаловался в письме: «Началась бессонница. Все не сплю — в голове клейстер. Вдруг сразу начинает отказываться вся машина. Видимых причин как будто и нет. Невидимые — где-то глубоко в душе. Все болит, работать не могу, бросаю начатое». После этого прожил еще 12 лет, но «машина» так и не заработала.

«Вся машина разладилась. Боюсь утратить желание к работе», — гласит последняя записка венесуэльского поэта Х.А.Рамоса Сукре (1890—1930), который предпочел простою проклятой «машины» добровольную смерть.

Денис Иванович Фонвизин, утратив способность писать, стал инвалидом в самом буквальном смысле слова — заболел, лишился способности ходить и несколько лет спустя умер. «Разбитого параличом Фонвизина возили в колясочке, — рассказывает М.Зощенко в книге «Возвращенная молодость», — причем он не раз приказывал лакею остановить свою коляску на набережной, около Академии наук, и, когда студенты выходили из университета, Фонвизин махал ру-

кой и кричал им: «Не пишите, молодые люди, не пишите. Вот что сделала со мной литература».

Ярчайший пример того, как демон творчества полностью подчинил себе писателя, высосал из него все жизненные соки, а потом оставил, тем самым приговорив к отчаянию, сумасшествию и самоистреблению — Акутагава Рюноскэ (1892—1927). По этому японцу вообще можно изучать типические черты, характерные особенности и повадки особого подвида *homo sapiens* под названием *homo scribens*¹ — во всем его блеске и нищете, со всеми симптомами профессиональной болезни. Неслучайно Акутагава упоминался и в главе о безумии, и в главе об акцентуированных личностях (а следовало бы еще и в главе о токсикомании) — все это в нем было, но прежде всего он — классическая жертва творческого кризиса.

У Акутагавы есть новелла «Нос», навеянная одноименной повестью Гоголя. Только японец повернул сюжет иначе: как быть человеку, у которого нос не пропал, а, наоборот, слишком уж явно присутствует — торчит на целых пять сун²? Монах Дзэнти, обладатель этого анатомического излишества, всю жизнь мечтает избавиться от уродства, сделать нос нормальным. В конце концов, после многолетних ухищрений, ему это удастся, но, странная вещь, жизнь с нормальным носом вдруг оказывается лишенной смысла и даже невозможной. 24-летний автор смешной новеллы, очевидно, еще не предполагал, что тень «носа длиной в пять сун» накроет всю его последующую судьбу, став безжалостной прит-

¹ человек пишущий (лат.)

² Для носа, особенно японского, это очень много.

чей о самом себе. Писательский талант очень смахивает на монументальный нос монаха Дзэнти — это тяжелое бремя, мешающее наслаждаться радостями обычной человеческой жизни. Множество творческих людей, вслед за Вагнером, мечтавшим о тихой семейной жизни вдали от искусства, или Булгаковым, воспевающим прелести «вечного дома с венецианским окном и выющимся виноградом», тосковали по неаномальной, нормальной жизни. Не чужд был подобным грезам и Акутагава. Герой новеллы «Ду Цзы-чунь» получает от старца-даоса в награду за перенесенные испытания не богатство и не славу, а «маленький домик на южном склоне горы Тайшань», где персики в полном цвету. Однако, когда на середине четвертого десятилетия Акутагаве показалось, что «нос длиной в пять сун» может вот-вот отвалиться, писатель пришел в ужас и жить без этого безобразного нароста не захотел.

Что же произошло?

Стало все труднее братья за перо. С каждым днем нарастала беспричинная, необъяснимая тревога. Акутагава вдруг стал бояться, что сойдет с ума, как в свое время сошла с ума его мать. Что-то страшное, гнетущее таилось в глубинах подсознания: «Та часть, которую я не сознаю, Африка моего духа, простирается беспредельно. Я ее боюсь. Там, во тьме, живут чудовища, каких на свете не бывает». Он очень много пишет, но все чаще возникает ощущение, что дару конец, что больше писать он не сможет. Это был еще даже не творческий кризис, а панический ужас перед неотвратимостью творческого кризиса. Можно сказать, что Акутагава умер от страха — той его разновидности, которая для людей искусства опасней всех иных страхов.

Разумеется, тут как тут объявилась бессонница, вечная спутница издерганных нервов и творческого тупика. Дозы снотворного постоянно увеличивались, одуряющее воздействие лекарств не рассеивалось и днем. «У него дрожала рука, державшая перо, — пишет о себе в третьем лице Акутагава. — Хуже того — изо рта капала слюна. Голова бывала ясной не более, чем полчаса в день, после пробуждения от сна, который приходил лишь после большой дозы веронала. Теперь он жил в вечных сумерках».

Гордый, импозантный Демон Творчества, с которым Акутагава прежде любил пообщаться на равных (в новеллах «Муки ада» или в «Диалогах во тьме»), вырождается в пошлого, мелкого беса, вроде того «хилого чертенка с жабьей кровью», что, по словам Набокова, мучил утасающего Гоголя. У Акутагавы герой автобиографической новеллы «Зубчатые колеса» открывает «Братьев Карамазовых» и пугается: «...Не прочитал и одной страницы, как почувствовал, что дрожу всем телом. Это была глава об Иване, которого мучил черт... Ивана, Стриндберга, Мопассана или меня самого в этой комнате».

Для Акутагавы, утверждавшего, что человеческая жизнь не стоит одной строчки Бодлера, мысль о том, что вдохновение уходит, оставляет его наедине с жизнью, была невыносима. Дальше нужно будет жить как все, без «носа в пять сун», обычным кормильцем семьи, отцом троих детей. «В конце концов я сам не более чем мсье Бовари среднего уровня...» — с горечью написал Акутагава, и в его устах не могло быть худшего самоуничтожения: не просто посредственность, а посредственность в квадрате, пошлейшая из пошлостей. В предсмертном письме писатель дает своим детям совет, который нечасто можно услышать от родителя: «Если и вы потерпите

поражение в жизненной борьбе, тоже уйдете из жизни сами, как это сделал ваш отец».

В «Письме к другу», уже приняв окончательное решение, Акутагава подробно (и крайне невнятно) излагает причины самоубийства. Ему, писателю до мозга костей, важно все написать про себя самому, не оставить простора для домыслов и интерпретаций. Он даже зачем-то пространно объясняет резоны, которыми руководствовался при выборе способа смерти:

«Первое, о чем я подумал, — как сделать так, чтобы умереть без мучений. Разумеется, самый лучший способ для этого — повеситься. Но стоило мне представить себя повесившимся, как я почувствовал переполняющее меня эстетическое неприятие этого. (Помню, я как-то полюбил женщину, но стоило мне увидеть, как некрасиво пишет она иероглифы, и любовь моментально улетучилась.) Не удастся мне достичь желаемого результата и утопившись, так как я умею плавать. Но даже если паче чаяния мне бы это удалось, я испытаю гораздо больше мучений, чем повесившись. Смерть под колесами поезда внушает мне такое же неприятие, о котором я уже говорил. Застрелиться или зарезать себя мне тоже не удастся, поскольку у меня дрожат руки. Безобразным будет зрелище, если я брошусь с крыши многоэтажного здания. Исходя из этого я решил умереть, воспользовавшись снотворным. Умереть таким способом мучительнее, чем повеситься. Но зато не вызывает того отвращения, как повешение, и кроме того не таит опасности, что меня вернут к жизни; в этом преимущество такого метода...»

Себя Акутагаве было не жалко, скорее он вызывал у себя чувство презрения — не Бог, каким он мечтал стать когда-то, а ничтожный «мсье Бовари», человекоподобная обезьяна. И традиционное трехстишие, которым Аку-

тагава прокомментировал свой грядущий уход, подчеркивает жалкую и смешную незначительность этого события. Если мартышка не смогла удержаться на набухшей весенними почками ветке творчества, стало быть, туда ей и дорога. Ну, чуть покачнется ветка, не более.

*Подраживает весенняя ветка.
Мгновение назад
С нее упала мартышка.*

Эмиграция

Причиной склонности к самоубийству в эмиграции является не только материальная нужда, необеспеченность будущего, болезнь, но еще более ужас, что всегда, до конца дней, придется жить в чужом и холодном мире и что жизнь в нем бессмысленна и бесцельна.

Н.Бердяев. «О самоубийстве»



Первым из литераторов, не вынесшим жизни вдали от родины, был древнегреческий философ Менедем Эретрийский (ок. 339 — 265 до н.э.). Проиграв в политической борьбе, он был вынужден бежать из родного полиса в Азию, но питаться хлебом чужбины не стал — в прямом смысле: уморил себя голодом.

Эмиграция для любого человека — испытание тяжелое, но не такое уж суицидоопасное. В конце концов, отъезд на чужбину, да еще, как правило, сопряженный с

немалыми усилиями, свидетельствует об активности и воле к жизни: в основе сего перемещения в пространстве лежит желание либо спастись от опасности (то есть выжить), либо обрести лучшую жизнь (то есть опять-таки не умереть, а жить). Конечно, кто-то из эмигрантов, оставшись после адреналиновой атаки бегства или не найдя в новообретенном рае того, чего искал, накладывает на себя руки, но причина суицида в этом случае подпадает под хрестоматийные дюркгеймовские законы: социальная дезадаптация, резкое изменение экономического положения и прочее.

Если я отношу эту главу к разделу, посвященному типично писательским мотивациям самоубийства, то лишь потому, что оторванный от родины литератор убивает себя не по Дюркгейму. Для пишущего человека эмиграция во много раз опаснее и смертоноснее, чем для человека иной профессии. Обычный эмигрант помучается с незнакомым языком, поругает чужбину-мачеху, да и худо-бедно приспособится. Некоторые из людей искусства эмиграцию могут и вовсе не заметить, потому что истинная родина художника — мир цвета и линии, а истинная родина композитора — музыка. Но для писателя-то родина — слова и междометия, подслушанные обрывки фраз и неповторимые интонации. Утратив соприкосновение с родной языковой средой и перестав питаться ее соками, литератор — тривиальное, но точное сравнение — превращается в выдернанное с корнем растение, которому суждено засохнуть. Исключения вроде Набокова или Бродского, сумевших трансплантировать свой дар в другую почву, крайне редки. О мучительности этого превращения сдержанный Набоков (который, не будем забывать, с детства в совершенстве владел английским) пишет так: «Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла до-

вольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, — и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставания с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться: скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня».

Следует оговориться, что речь в этой главе идет не об экспатриации, т.е. добровольном отрыве от родины, а именно об эмиграции — разрыве вынужденном, без возможности вернуться. Писавшие за границей Гоголь и Тургенев эмигрантами не были и в любой момент могли вернуться. Писателю важно жить там, где ему необходимо. Если это невозможно, он перестает писать или пишет гораздо хуже, чем прежде.

В редких случаях утрата родины и ностальгия дают новый импульс творчеству (Бунин, Хласко), но созданные в изгнании произведения окрашены в специфические тона тоски и безысходности. Спасением для писателя, вынужденно покинувшего родину, может стать только особая ситуация, когда эмигрантская колония создает собственный оазис родной литературы — как это произошло в 70-е и 80-е годы с «третьей волной» русского эксодуса. Правда, этот феномен не вполне типичен, поскольку для многих советских эмигрантов отъезд стал выбором добровольным и оттого гораздо менее травматическим. В любом случае существование некоей «литературной колонии» в иноязычной среде — явление временное. Колонисты либо возвращаются в лоно отечественной словесности, что и произошло с русской «третьей волной», либо просто вымирают, не дав новых всходов, что случилось с литературой первой русской диаспоры. Иногда эмигрантские дети, выросшие и сформировавшиеся вдали от родины, предпринимали попытки (бывало, что и весьма

яркие) писать на *старом* языке, но конец обычно получался тупиковый и мрачный — как у поминавшегося уже Бориса Поплавского или другого поэта, Юрия Одарченко (1903—1960). Он попал в Париж подростком, но не ассимилировался, а продолжал жить русским языком — писал для самого себя странные стихи, сочетавшие японскую лапидарность с образностью детских «ужастиков»:

Мальчик смотрит, улыбаясь:

Ворон на суку.

А под ним висит, качаясь,

Кто-то на суку.

Поплавский убил себя молодым, Одарченко сделал то же самое в зрелом возрасте. Оба, по сути дела, были *никому не нужны*.

Эмиграция для писателя — это упорствование в *никому не нужной* профессии со всеми вытекающими отсюда последствиями: нищетой, изолированностью, безысходностью. Или же нужно решительно менять ремесло, то есть идти на творческое самоубийство. Многие ли из людей искусства способны на такое? Физическое самоубийство дается им легче.

И еще о ненужности.

В этой главе не будет трогательных или романтических историй, потому что участь писателя в эмиграции не красива и скучна, а одинокая смерть жалка и бесшумна: до чуждой родины весть о ней не доходит, а для равнодушных туземцев умерший иммигрант никакой не писатель — у них, слава Богу, есть собственные писатели.

Нужда, утраты, болезни, пьянство — вот обычные спутники писателя-эмигранта, совершающего самоубийство.

Какой из этих факторов был главным, а какой второстепенным, определить бывает трудно. Но общий лейтмотив все тот же — *ненужность*.

Поэтесса Нина Петровская, о которой я уже писал, была нищей и никому не нужной. Отравилась газом.

Писатель Иван Болдырев (1903—1933) совершил невозможное — проявил чудеса смелости и находчивости, бежал из нарымской ссылки в Париж. Там жил в крайней нужде, болел, никому не был нужен. Отравился снотворным.

Борис Поплавский был наркоманом и писал талантливые, никому не нужные стихи. Отравился героином.

И так далее — вплоть до литераторов-самоубийц «третьей волны», последним из которых, уже в постсоветское время, стал живший в Гамбурге поэт Евгений Хорват (1961—1993).

Об эпидемии самоубийств среди немцев в 30-е и 40-е годы я писал в главе «Политика». Эти люди, которым хватило энергии, предприимчивости и жизненного инстинкта вырваться из лап гестапо, в относительном благополучии и несомненной безопасности эмиграции гибли один за другим.

Назову лишь нескольких, из наиболее именитых.

Меньше всех в эмиграции продержался Курт Тухольский (1890—1935). Нацистский режим числил его среди самых непримиримых своих врагов и лишил немецкого гражданства одновременно с Генрихом Манном и Лионом Фейхтвангером. Книги Тухольского сгорели в кострах, песни были запрещены. Писатель развелся с оставшейся в рейхе женой, чтобы избавить ее от преследований. Жил в Швеции. Писать не мог. В то, что немцы образумятся, не верил.

В одну и ту же майскую неделю 1939 года покончили с собой австрийский классик Йозеф Рот (1894—1939) и немецкий драматург-экспрессионист Эрнст Толлер (1893—1939). Йозеф Рот был католиком и ностальгировал по габсбургской империи. Толлер был марксистом и другом СССР. Ничего общего, кроме времени и обстоятельств смерти, между двумя этими литераторами не было. Рот бедствовал в Париже, лишенный средств к существованию и возможности писать; его жена сошла с ума; он отравился. Толлер бедствовал в Нью-Йорке, был уверен, что его пьесы никому не нужны; жена его бросила; он повесился.

Кроме двух главных эмигрантских потоков — бежавших от Гитлера немцев и бежавших от Ленина-Сталина-Брежнева русских — были в XX веке и иные, не столь массовые исходы, увлекшие за собой литераторов и погубившие некоторых из них.

Испанский философ и эссеист Эухени Имаз (1900—1951), республиканец, ученик Хайдеггера, после победы франкистов нашел убежище в Мексике. Казалось бы, жизнь в стране, пусть с другой культурой, но все же говорящей на том же языке, для литератора должна быть менее мучительной, однако Имаз вдали от Испании выжить не смог. Он совершил самоубийство в состоянии раптуса: во время обеда с друзьями внезапно встал, извинился, вышел в другую комнату и повесился в шкафу на собственных подтяжках.

Польский поэт Ян Лехонь (1899—1956) выбросился из окна нью-йоркского небоскреба. Он был эмигрантом вдвойне — и от фашистов, и от коммунистов. Для него, приверженца Пилсудского, 1945 год стал лишь сменой одного «анти» на другое: из «антинацистского» эмигранта Лехонь превратился в «антикоммунистического».

Другой поляк, Марек Хласко (1934—1969), был далек от политики. Ему просто хотелось жить не по социалистическим, а по собственным законам. «Выбрав свободу», Хласко скитался по разным странам и нигде не смог прижиться. «Мир состоит из двух половин, — писал он, — в одной из которых невозможно жить, а в другой — невозможно выдержать». Это был тот случай, когда литератор на чужбине мог писать, но не мог жить. Много пил, принимал наркотики. Умер оттого, что проглотил целую склянку снотворного. На могиле Хласко высечена надпись, повторяющая название его повести: «И все отвернулись».

Венгерский писатель и поэт Шандор Маран (1900—1989), уехавший накануне коммунистического переворота, прожил в изгнании много лет. Он покончил с собой, совсем немного не дожив до краха коммунистического режима. Маран так и не простил свою страну, хотя венгерские власти неоднократно пытались приручить маститого литератора.

Эмиграция — это когда родина прокляла писателя, но и писатель проклял родину. Ему без нее жить невозможно. Ей без него вроде бы и ничего — мало ли их, писателей?

Но в том-то и дело, что мало.

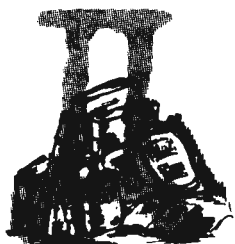
*И все ж тоска неодолимая
К тебе влечет: прими, прости.
Не ты ль одна у нас родимая?
Нам больше некуда идти.
Так, во грехе тобой зачатые,
Должны с тобою погибать
Мы, дети, матерью проклятые
И проклинающие мать.*

(Д.Мережковский. «Возвращение»)

Жизнь как роман

Умри вовремя — так учит Заратустра.

Ф.Ницше



ревнейшее и опаснейшее искушение, подстерегающее всякого творческого человека, — спутать реальную жизнь с искусством, а себя с героем своего произведения. Художнику не просто кажется, что весь мир театр, а люди в нем актеры, он нередко еще и принимает себя за постановщика этой пьесы, пытается изменить ее жанр, а то и по-своему разыграть финал. Предсмертные слова Рабле («Закройте занавес, фарс окончен»), Бетховена («Друзья, аплодисменты! Комедия окончена») и прочие подобные — не столько самоирония, сколько прощальный поклон перед зрителями.

У всякого творца сильно развита жажда этернизации, то есть желание продлить свое земное существование за пределы смерти. Казалось бы, тут вся надежда на созданные произведения. Но есть творцы с артистическим складом личности, которым этого мало. Явно рассчитывая на ее посмертное мифологизирование, они стремятся превратить в шедевр собственную жизнь. Однако искусство, как известно, требует жертв. В том числе и абсолютных, вплоть до смерти, во имя безупречности создаваемого произведения. Особенно если произведение называется Биография Гения.

Художники этого типа всю жизнь играют роль, чуть ли не каждый их поступок — хеппенинг. Более же всего

они боятся пропустить правильный момент ухода. Уходить надо эффектно, остановив мгновение в веках. Нет ничего ужаснее, чем застрять на сцене, когда публике спектакль наскучил, когда она начинает зевать, шаркать ногами и потихоньку расходиться. «И каждый желающий славы должен уметь вовремя проститься с почестью и знать трудное искусство — уйти вовремя, — учит таких художников Ницше. — Надо перестать позволять себя есть, когда находят тебя особенно вкусным, — это знают те, кто хотят, чтобы их долго любили». Те, кто хотят, чтобы их долго, тысячу лет любили, — это и есть фанатики этернизации.

Писателю легче, чем композитору, живописцу или режиссеру попасть в персонажи собственного произведения. Хотя бы потому, что литература создает наиболее правдоподобные и всеобъемлющие, «совсем как настоящие» квазимирь. Красота действительно страшная сила, потому что не признает компромиссов. Вспомним: «Кто взглянул на красоту однажды, предан смерти тайно и всецело». Когда красоте отдается преимущество перед практичностью, а видимости перед подлинностью, эта позиция сама по себе суицидальна: выживание тут в число приоритетов не входит.

Красивую автобиографию пытались создать многие литераторы. Получилось, конечно, не у всех. Но все же в истории мировой литературы образовался целый пантеон писателей, чья слава основывается не только на творческом наследии, но и на романтизированной биографии. Почти для всякого пишущего человека пример этих счастливых является вечным соблазном.

В самом деле — разве сумел бы Байрон до такой степени очаровать Европу, если б не аффектированный стиль

жизни, ореол сверхчеловека и, главное, героическая смерть на земле древней Эллады? Неромантическая лысина и преждевременные морщины рано истаскавшегося прожигателя жизни, смерть не от стрелы или меча, а от прозаической лихорадки, непохожесть новой Греции на античную декорацию — все эти противоречащие общей красивости детали современниками и потомками в расчет не брались. Всякий знает, что Байрон — это романтично: «И этот бледный полусвет, и лорда Байрона портрет».

А разве не прекрасной выглядит жизнь лобастого гусарского поручика с огромными глазами и подвитыми височками? Пожалуй, Лермонтову биография удалась даже лучше, чем хрому англичанину, с которым наш любимый поэт вполне сознательно соперничал. Смерть на дуэли гораздо красивее смерти от лихорадки, 26 лет — это не подвядшие 36, да и Печорин, ей-богу, куда интереснее Чайльд-Гарольда.

Байрон и Лермонтов, в сущности, могли бы ограничиться одной литературной деятельностью — от этого они не перестали бы быть классиками, разве что их портреты пользовались бы меньшей популярностью. Однако есть писатели, обязанные посмертной славой главным образом своей мифологизированной биографии: юный Чаттертон, почти столь же юные Китс и Радиге, не юный, но зато офицер, декабрист и военный герой Бестужев-Марлинский (да одной последней фразы в биографической справке: «Пал при высадке десанта на мысе Адлер, тело так и не нашли» достаточно, чтобы прочесть «Лейтенанта Белозора» или «Аммалат-бека» и отнестись к этим произведениям с должным пиететом!).

А фотогеничная, живописная в своем бедуинском наряде Изабелла Эберхардт (1877—1904)? В ее жизне-

описаниях миф и факт переплетены так причудливо, что, наверное, нам никогда уже не разобраться, какой она была на самом деле, эта русская девушка, писавшая кроме родного языка еще на французском и арабском. Внебрачная дочь нигилиста из поповичей и неверной сенаторской жены, Изабелла родилась в Швейцарии. Отец воспитывал ее сурово, заставлял одеваться мальчиком и приучал к тяжелым физическим нагрузкам — чтобы «подготовить к тяготам жизни». С 20 лет Изабелла в основном жила на Востоке. Приняла ислам, носила мужскую одежду и звалась Махмудом Эссади. Сторонница эмансипации и свободной любви, в XX веке она стала любимой героиней феминисток. А чего стоит финал ее короткой жизни! Утонуть во время наводнения в пустыне — этого не придумал бы и самый изощренный беллетрист. Разверзлись хляби небесные, сухое русло реки, где стоял дом писательницы, наполнилось бушующим потоком, и Изабеллу Эберхардт унесло водой вместе с рукописью незаконченного произведения. Эффектный конец этой истории описан во всех биографиях: когда тело утопленницы нашли, оно было облеплено страницами. Изабелла Эберхардт была не столь уж выдающейся писательницей, но красивая жизнь и умопомрачительная смерть обеспечили ей прочное место в истории литературы.

Не так уж их мало, литераторов, чья жизнь была большим произведением искусства, чем их сочинения.

Т.Э.Лоуренс (1888—1935), более известный как «Лоуренс Аравийский», стал знаменитым писателем благодаря своим героическим приключениям в годы Первой мировой войны, а знаменитым героем — благодаря произведениям, в которых сам рассказал о своих подвигах. Здесь литература пришла на помощь биографии, а био-

графия литературе. Однако логика поступков, достойных живой легенды, подчинила себе судьбу писателя и обрекла его на интригующую, но довольно нелепую и весьма несчастливую жизнь. Этот запоздалый Чайльд-Гарольд, скакавший по Аравии на верблюде и разбившийся в Англии на мотоцикле, сделал все для того, чтобы его жизнеописание читалось как романтическая сказка.

Такое удавалось не всем. Например, не сложился шедевр из жизни Габриеле Д'Аннунцио (1863—1938), приложившего немало усилий, чтобы стать главной романтической фигурой столетия. Увы, не вышло. Во-первых, из-за того, что национализм в XX веке быстро утратил импозантность. А во-вторых, — Д'Аннунцио слишком долго прожил и неправильно умер. Если б сложил голову в воздушном бою или погиб во время авантюры с захватом Риеки, было бы совсем другое дело. А в 75 лет, от удара, президентом Академии, князем Монтеневозо и другом пошлого дуче — нет, некрасиво.

Но, конечно же, всегда хватало литераторов, которые знали, что самая достойная смерть для творческого человека — не лихорадка и даже не чья-то пуля-дура, с которой не повезло Байрону и повезло Лермонтову с Марлинским, а «аристократ среди смертей», собственноручное закрытие занавеса в заранее подготовленных декорациях. Красивый финал, надежным образом корректирующий все некрасивости и неправильности предшествующей биографии.

О самых знаменитых самоубийцах из этой романтической плеяды — мужественных, посмертно обожаемых Р.Гари и Э.Хемингуэе — я уже писал, поэтому возьму другие примеры *беллетризированных автобиографий* с суицидным эпилогом. Три литератора, о которых пойдет

речь, принадлежат разным культурам и ничем кроме нарциссизма друг друга не напоминают.

Первый из них — американский поэт Гарри Кросби (1898—1929). Появившись на свет в баснословно богатой бостонской семье, он был начисто лишен здорового американского пристрастия к социальному альпинизму и приращиванию капитала. Зачем? У него и так все было от рождения. Материальные проблемы этому «счастливому принцу» не грозили. «Красивая жизнь», по мнению Кросби, не имела ничего общего с чинными утехами буржуазного благополучия. Жить надо было ярко, богемно, с приключениями, ужасать приличную публику безумствами, все время находиться в центре внимания и непременно умереть молодым по какой-нибудь поэтической причине — вот биография, достойная человека искусства. Подобно юному Хемингуэю, Кросби отправился воевать в Европу, тоже служил в санитарных частях, тоже чуть не погиб и тоже заболел Парижем. В ту пору хорошим тоном для творческого человека считалось устраивать всяческие публичные безобразия, скандальная репутация украшала поэта, и Кросби сполна отдал дань этой традиции. Правда, от большинства дадаистов и «проклятых поэтов» его отличала одна существенная деталь: он никогда не знал бедности. На родину Кросби заехал ненадолго — лишь для того, чтобы сразить бостонцев громкой адюльтерной историей и похищением чужой жены, дамы из высшего общества, так больше и не вернувшейся к приличной жизни, а уехавшей с юным сумасбродом в Париж и тоже превратившейся в поэтессу. В 20-е годы настоящий художник должен был жить только там, где собрались все новые люди искусства — на территории «непрекращающегося праздника». Эксцентрич-

ная миллионерская чета в Париже пришла к двору. Супруги Кросби создали богемное издательство «Черное солнце»¹ и стали печатать маленькими тиражами свои собственные сочинения, а также книги непризнанных гениев, некоторые из которых и в самом деле оказались гениями, — Джеймса Джойса, Эзры Паунда, Д.Г.Лоуренса, Харта Крейна. Гарри Кросби был любимым персонажем светских и скандальных хроникеров, своего рода символом эпохи. Он хотел, чтобы его считали «безумным поэтом», и использовал все традиционные атрибуты: пьяные дебоши, шумные любовные романы, наркотики, азартные игры. Кросби жил в таком сумасшедшем, рваном темпе, что долго это продолжаться не могло. Он рано увлекся идеей добровольной смерти и со временем стал считать самоубийство высшим актом искусства. Жена составить ему компанию отказалась, да и по своему статусу законной супруги не очень-то годилась для этой цели — это было бы недостаточно богемно. Поэтому Кросби ушел из жизни, прихватив с собой одну из своих любовниц. Кончать с собой поэт приехал в Америку. Очевидно, в блазированном Париже не вышло бы должного эффекта. А так получилось очень стильно: два красивых трупа, рядом пистолет с выгравированным изображением солнца — Кросби называл себя солнцепоклонником (по первоначальному плану он собирался ле-

¹ Это образ, навеянный гравюрой Дюрера «Меланхолия» и стихотворением де Нерваль «El Desdichado»:

Я — мрачный, я — вдовец, я сын того гнезда,
Тех башен княжеских, чьи древле пали стены.
Явилась мне моя померкшая звезда,
Как солнце черное с гравюры незабвенной.

(Пер. Н.Рыковой)

теть на аэроплане навстречу солнцу до тех пор, пока не рухнет вниз новоявленным Икаром). В общем, судьба поэта удалась, и в последующих биографах недостатка не было. А то, что вспоминали в основном не стихи Кросби, а его причуды и эскапады, не столь существенно. Термина «актуальное искусство» в 20-е годы еще не существовало, однако уже во времена Байрона стало ясно, что искусством могут быть не только картины, книги, ноты, но и стиль жизни. Тем более — смерти.

Самоубийство может стать и средством посмертной реабилитации, последним доказательством творческой состоятельности — доказательством не рациональным, а эмоциональным, и оттого неопровержимым. Так произошло в случае Ежи Косинского (1933—1991), талантливого писателя и беззастенчивого мистификатора, еще при жизни создавшего из своей биографии легенду. Когда легенда стала рушиться, Косинский прибег к самому вескому аргументу: покончил с собой. И репутация писателя не то чтобы полностью восстановилась, но во всяком случае перешла из несолидного жанра плутовского романа в благородный жанр трагедии.

Собственно, легенда и сделала Косинского звездой: автором бестселлеров, лауреатом престижных премий, президентом американского ПЕН-клуба, влиятельнейшей фигурой международного литературного истеблишмента.

Это была впечатляющая легенда.

Маленький еврейский мальчик оказался совсем один в охваченной антисемитским безумием оккупированной Польше. Он не погиб, сумел выжить, но за годы бродяжничества насмотрелся таких ужасов, что лишился дара речи и вновь заговорил лишь в 13 лет, через два года после окончания войны. Мальчик был необычайно талантлив: в счита-

ные годы получил две научные степени, в 21 год стал профессором социологии в Академии наук. Перед ним открывалась блестящая социалистическая карьера, но он решил выбрать свободу. Чтоб вырваться из-за «железного занавеса», он проявил чудеса дерзости и предприимчивости: подделал подписи на документах, заручился письменной поддержкой несуществующих академиков и, перехитрив госбезопасность, сумел выехать в Америку. Там он женился на миллионерше и издал ряд книжек, написанных на прекрасном английском. Автобиографический роман «Раскрашенная птица» поведал всему миру о военном детстве маленького Ежи и сделал большого Ежи знаменитостью. Это была хорошая проза, но главная ее сила заключалась в *достоверности*. Это был документ, по мощи не уступавший дневнику Анны Франк. Только Анна Франк погибла, а Ежи Косинскому повезло — он выжил. Потом были и другие бестселлеры. Самый удачливый — «Being There» (в русском переводе «Садовник»), с успехом экранизированный Голливудом. Не сломленный жизнью маленький герой стал любимцем красивых женщин, удачливым флибустьером, баловнем судьбы — такую биографию сделал себе Косинский.

Потом миф начал рассыпаться. Выяснилось, что никакого маленького бродяжки не было. В 1939 году родители пятилетнего Ежи Левинкопфа купили «арийские» документы, и семья всю войну тихо просидела в деревенской глуши. Было тяжело — как всем, временами страшно, но детская немота, голод и прочие ужасы — плод писательского воображения.

Затем недоброжелатели установили, что из Польши Косинский выехал без приключений и хитроумных побед над госбезопасностью, а самым тривиальным образом — у него было приглашение от американского дядюшки.

Дальше — хуже. Оказалось, что блестящий английский язык книг Косинского принадлежит не ему, а литературным рабам, которых писатель использовал, а потом оставлял ни с чем. Знаменитый «Садовник» и вовсе был обвинен в плагиате — выяснилось, что это переписанный и перенесенный на американскую почву роман некоего предвоенного польского писателя. Богатство же Косинскому досталось потому, что он женился на богатой вдове, которая была много старше. Еще Косинский — садомазохист, вуайерист, завсегдатай секс-клубов и вообще крайне неприятный тип.

От любовно выстроенной биографии остались одни руины. А тут еще начались болезни, за много лет не было ни одной творческой удачи... И Косинский покончил с собой.

С точки зрения этернизации он поступил единственно возможным в подобной ситуации образом. Сунцид — такая линза, через которую вся жизнь человека смотрится в облагороженном или уж, во всяком случае, в *располагающем к состраданию свете*.

Что пишут о Косинском сегодня? Да, он был враль и фантазер, но не таковы ли все талантливые писатели? Какая разница, что в его жизни правда, а что ложь; главное — тексты, а они хороши. Да, Косинский был ловкач и приспособленец, но какое это имеет отношение к искусству? Главное — тексты, а они хороши. Писал не он, а англоязычные редакторы? Ну и что! А Бальзак и Дюма разве всегда писали сами? И потом, редакторы были разные, а стиль-то один. Значит, дело не в литературных рабах, а в самом авторе. Косинский был плагиатор? Бросьте, какой может быть плагиат в эпоху постмодернизма, всеобщего цитирования и римейка? И, не будем забывать, главное — текст.

Если вы откроете последнее издание «Британской энциклопедии», то прочтете там легенду о Ежи Косинском в перевозданном виде — под впечатлением от самоубийства писателя почтенное издание решительно проигнорировало все разоблачения. Пройдут годы, газетные статьи с разоблачениями пожелтеют и забудутся, а легенда о немом еврейском мальчике, который стал богатым и знаменитым писателем, останется. Очень уж красивая история.

Но, безусловно, самое совершенное произведение в жанре автобиографического искусства — судьба Мисимы Юкио (1925—1970). Многолетняя самоотверженная подготовка, полнейшая безжалостность к себе, хладнокровие истинного художника — вот факторы, позволившие японскому классику не только превратить собственную жизнь в подобие жестокой пьесы Кабуки, но и совершить нечто поистине невозможное: заставить мир *увидеть* японскую литературу, отнестись к ней серьезно, переводить на другие языки и издавать массовыми тиражами. Некогда самураи взрезали себе живот, чтобы привлечь внимание общества к какому-нибудь событию или явлению. Получилось, что Мисима сделал то же самое по отношению к японской литературе. Она должна быть ему вечно благодарна.

Однако намерение у Мисимы все же было иное, куда менее альтруистическое. Этот писатель очень рано понял, что единственная нетленная ценность — Красота. Но не материальная, потому что все материальное непрочно, а живущая в воображении и в памяти людей. Шедевр зодчества может сгореть, от него останутся только головешки, и он сотрется из памяти последующих поколений. Вечно прекрасным Храм становится лишь благодаря Герострату.

Таким же *этернизирующим* актом может стать смерть художника. А для этого предварительно нужно было прожить соответствующую концовке жизнь. Мисима никогда не скрывал, что не живет, а лицедействует. «Все говорят, что жизнь — сцена, — писал он. — Но для большинства людей это не становится навязчивой идеей, а если и становится, то не в таком раннем детстве, как у меня. Когда кончилось мое детство, я уже был твердо убежден в непреложности этой истины и намеревался сыграть отведенную мне роль, не обнаруживая своей настоящей сути».

Самой красивой смертью, разумеется, было сочтено самоубийство. Самым красивым самоубийством — харакири. К тому же этот традиционный способ суицида как нельзя лучше соответствовал давней садомазохистской Obsессии писателя.

Пьесы Мисима писал следующим образом: сначала — финальную реплику, потом весь текст, начиная с первого действия, без единого исправления. Так же поступил он и с пьесой собственной жизни. Когда финальный эпизод был придуман, остальное выстроилось само собой.

Вспарывать мечом хилое, жалкое тело, доставшееся Мисиме от природы, было бы надругательством над эстетикой смерти. Поэтому писатель пятнадцать лет превращал себя в античную статую, ежедневно по многу часов проводя в гимнастическом зале. Добился невозможного — стал истинным Гераклом. Выпустил фотоальбом, позируя обнаженным в разных позах: пусть потомки видят, какой прекрасный храм был разрушен.

Другое препятствие: харакири во второй половине XX века выглядело анахронизмом. Могли счесть сумасшедшим, а то и высмеять. Красота не терпит смеха, она воз-

вышенна и трагична. И Мисима решил эту проблему с присущей ему обстоятельностью. Западник, светский лев и нигилист, он в последние пять лет жизни внезапно поменял убеждения: стал ревнителем национальных традиций, ультраправым идеологом, отчаянным монархистом. Задуманный финал предполагал массовку, роль которой была отведена членам «Общества щита», студенческой военизированной организации, содержавшейся за счет писателя.

Оставалось только закончить главный труд — тетraloгию «Море изобилия». В день, когда Мисима поставил последнюю точку в четвертой части, он поставил точку и в своей жизни. Куда уж символичней.

Спектакль получился дорогостоящий, со сценическими эффектами и огромным количеством зрителей. Без огнестрельного оружия, с одним только самурайским мечом, Мисима и четверо его юных помощников взяли в заложники коменданта одной из столичных военных баз. Потребовали собрать солдат, и писатель, писанный красавец в элегантном мундире и белых перчатках, подбоченясь, призвал воинов идти на штурм парламента. Над базой гудели полицейские вертолеты, за забором метались журналисты. Военные, разумеется, ни на какой штурм не пошли — и слава Богу, потому что тогда Мисима просто не знал бы, как быть дальше.

Вполне удовлетворенный, писатель проклял утративших самурайский дух солдат, удалился во внутреннее помещение и взрезал себе живот. Все было продумано до мелочей — мундир надет на голое тело, в задний проход вставлена ватная пробка, секундант стоял с мечом наготове. Правда, голова с плеч слетела лишь после четвертого удара, но в этом Мисима не виноват. Он сделал все,

что мог. И его рука, в отличие от руки бедного секундан-та, не дрогнула — разрез на животе получился длинным и глубоким.

С того дня началась большая слава Мисимы. Он стал и, наверное, останется для мира Главным Японским Писателем.

А без харакири что ж — ну, был бы до сих пор жив, ну в семьдесят лет получил бы Нобелевскую премию вместо Кэндзабуро Оэ, ну написал бы не сорок романов, а шестьдесят. Человеческое, слишком человеческое.

Я не знаю другого писателя, за исключением разве что Ницше, который так хорошо — и разумом, и инстинктом — понимал бы суть и смысл искусства. Оно опасно, потому что больше жизни.

При всей своей внушительной мышечной массе Мисима представляется мне существом, состоявшим не из плоти и крови, а из слов, образов, творческого эфира. Во всяком случае, плоть и кровь этого архетипического литератора насквозь пропитались ядом искусства, который, конечно, убивает, но зато обеспечивает нетленность.

«Искусства без шипов не бывает, как не бывает его и без яда. Невозможно вкусить меда искусства, не впитав и его яда».

(Юкио Мисима)

Послесловие

*А когда земное наше тело
Перестанет сковывать движенья,
В раздевалке, у зеркал высоких,
Примет нашу верхнюю одежду
Тихий, молчаливый гардеробщик.*

*По ячейкам лягут аккуратно
Уши, нос, язык, глаза и кожа,
А душа засмотрится на звезды
Купола лазоревой ротонды,
Где нас наконец-то встретит Бог.*

Ялмар Гулберг, шведский поэт,
покончивший с собой в возрасте 63 лет
из-за неизлечимой болезни

Когда я писал предисловие, мне казалось, что, завершив работу над этим исследованием, я найду ответ на занимавший меня вопрос. Не универсальный, для всех, — а индивидуальный, для себя. Для этого я прочел сотни биографий с мрачной концовкой, взвесил аргументацию сторонников и противников добровольной смерти (и те, и другие, как мог удостовериться читатель, бывают весьма убедительны), обзавелся целой коллекцией портретов писателей-самоубийц и попутно стяжал у знакомых репутацию некрофила.

Ясного ответа на вопрос, легитимен ли суицид с точки зрения высшего этического судьи, *внутреннего закона*, я, разумеется, так и не нашел.

Но кое-что все же прояснилось. Этими умозаключениями — собственно, даже не умозаключениями, а довольно смутными, путанными ощущениями — я и хочу закончить свое повествование.

Итог получился невелик, гора родила мышь.

Сначала — несколько высказываний, которые более всего стимулировали авторский мыслительный процесс в ходе работы над книгой:

«Если самоубийство позволено — значит, все позволено. Если не все позволено, значит, самоубийство не позволено. Это бросает свет на природу этики, ибо самоубийство — это, так сказать, первородный грех... А может быть, самоубийство само по себе не хорошее и не плохое?»

(Из записей Людвиг Витгенштейна)

«Самоубийство есть самый великий грех человеческий... но судья тут — один лишь Господь, ибо Ему лишь известно все, всякий предел и всякая мера».

(Ф.М.Достоевский устами Макара Долгорукого)

И, наконец, лучший совет всем живущим:

«Жизнь — это мудрая капитуляция перед тем, что выше человеческого разума».

(Йост Меерло)

Общий вывод у меня получился такой: к самоубийству нет и не может быть единого отношения. Иногда оно — малодушие, истерия, осквернение великих таинств жизни и смерти. Иногда — единственный достойный выход. Подсказки нет и не может быть. Есть только примеры, только прецеденты, только мера мужества и терпения, отпущаемых каждому из нас сугубо индивидуально.

И еще есть притчи, метафоры, которые тоже позволяют что-то нащупать, угадать, уловить: о человеке — стороже своей души, Божьего имущества; о произвольно задумой или мирно догоревшей свече;

об абсурдно мужественном Сизифе, который должен катить в гору свой камень; о слишком логичном инженере.

Напоследок могу предложить читателю две собственные метафоры, несколько противоречащие одна другой, — о пожарной лестнице и переэкзаменовке. Первая дает самоубийству индульгенцию, вторая нет. Решайте сами, какая вам больше по душе.

Если верить в существование Высшего Разума, то самоубийство — один из драгоценных даров Божьих. Это гарант свободы, возможность выбора, предоставленная нам милосердным Господом. Не хочешь жить — не живи, никто тебя насильно не заставит. И ведь как просто это стало именно теперь, на исходе второго христианского тысячелетия, когда в силу объективных и очевидных причин суицид повсеместно превратился в распространенное явление! Боишься боли? Можно без боли. Хочешь быстро — проглоти или вколи себе лошадиную дозу снотворного и транквилизаторов. Хочешь медленно и постепенно — для того есть наркотики. Сам не заметишь, как переместишься сначала в мир галлюцинаций, а затем и вовсе в мир иной. Возможность выбора между бытием и небытием утешает, позволяет жить без мучительного страха. Уж последний-то, аварийный выход всегда имеется. Только прибегать к нему без нужды, судя по всему, не стоит. Если за окном есть пожарная лестница, это еще не значит, что по ней следует выбираться из квартиры на улицу. С аварийным выходом, натурально, живется спокойней, но выходить надо не через окно, корячась, пытя и пачкаясь в штукатурке, а цивилизованно, *по-людски*. Иначе — штраф. А если человек полез через окно, потому что в доме был пожар и оставаться не имелось никакой возможности, кто ж его осудит? Главный Милиционер (если Он есть) потом разберется, правильно ты поступил или совершил акт злостного хулиганства. Об этом, собственно, и цитата из Достоевского.

Теперь про экзамен — суждение уже совсем личное и отчасти даже фантастическое.

Как большинство людей моего поколения и воспитания, я не религиозен, но и не атеист — допускаю все возможные версии и гипоте-

зы, завидую верованиям других людей и жалею, что не могу к ним присоединиться. Мысль о возможности самостоятельного, по собственным правилам, ухода из жизни мне, как и многим, придает экзистенциальной храбрости и согревает душу. Какая чудесная штука экзтаназия, думаю я. Если б еще избавиться от не объяснимого никакой логикой чувства вины... Тогда можно было бы жить, совсем ничего не боясь, как эпикурейцы. Коли все сложилось не так — всегда можно поставить точку. Без боли, без унижения и даже красиво.

Откуда же берется досадное ощущение внутреннего запрета? Закон не закон, но ведь на самом деле всегда чувствуешь, что правильно, а что неправильно, что делать можно, а чего ни в коем случае нельзя. Это не от христианского воспитания, которого не было.

Когда же я стал копаться в себе, постаравшись забыть обо всех прочитанных книгах, чтобы не путать привнесенное со своим собственным, верной нотой зазвучало примерно такое ощущение — отнюдь, впрочем, не оригинальное: жизнь — это какой-то многоступенчатый экзамен, который нужно сдать. Зачем? Не знаю.

Нет, знаю — чтобы не проходить переекзаменовку. А она уже была, эта переекзаменовка, и возможно, даже не раз. Я уже заваливался на этом экзамене раньше. Вот чем, вероятно, следует объяснять стоп-кадры под названием дежавю — неуловимые, но совершенно точные ощущения, что именно *этот* момент уже был, вплоть до мельчайших деталей. Будто на видеопленке вдруг мелькнула картинка из прежнего, стертого изображения, поверх которого ведется новая запись. Значит, до данного этапа своего экзамена я доходил и раньше. Пункт, на котором я «завалился», — впереди. Надо двигаться дальше по уже хоженному пути. Тут-то и возникает совершенно иррациональное, но, отчего-то кажется, верное чувство: самоубийство — это добровольное бегство с экзамена. Тебя не срезают, ты уходишь сам, добровольно обрекая себя на переекзаменовку. Что ж, дело твое. Придешь осенью или на следующий год и начнешь все сначала.

Такая вот странная фантазия.

Григорий Чхартишвили

**ПИСАТЕЛЬ
И САМОУБИЙСТВО**

*На суперобложке использован
коллаж Макса Эрнста*

*Художественное оформление
Григория Златогорова*



9 785815 905795

Директор издательства
Ирина Евг. Богат

Верстка
Татьяна Васильцова

Тел.: 291-12-17, 258-69-10

Факс: 258-69-09

Наш сайт: www.zakharov.ru

ИЗДАТЕЛЬ ИРИНА ЕВГ. БОГАТ

Свидетельство о регистрации 77 № 006722212 от 12.10.2004

121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9

(Рядом с Никитскими воротами,

отдельный вход в арке)

e-mail: zakharov@df.ru, zakharov@dataforce.net

Наш сайт: www.zakharov.ru

Подписано в печать 05.06.2006. Формат 84×108¹/₃₂.

Гарнитура Академическая. Печать офсетная. Бумага писчая.

Усл. печ. л. 24,36. Тираж 5000 экз.

Изд. № 579. Заказ № 409.

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru> e-mail: book@uralprint.ru

Ар.Беддоус, Томас Ловелл Бекфорд, Жильям Бенедиктсон, Виктория
Ват, Александр Ваше, Жак Вейнинггер, Отто Венема, Адриан Вивьен
Вальтер Галгоци, Эржебет Галич, Брий Галл, Гай Корнелий Ганивет
Гиндероде, Каролина Дагерман, Стиг Дадзай, Осаму Делёз, Жиль Деме
Дрие ла Рошель, Друнина Елия, Дэвидсон, Джон Дубель, Леон Дю
Иозеф Аттила Йонссон, Тур Кавабата, Ясунари Каваками, Бидзан Кав
тио Катул, Квинт Лутаций Кентал, Антеро Таркиниу Кестлер, Артур
ий, Ежи Коста, Клаудио Мануэль Костафреда, Альфонсо Кофман, Сара
Гарри Крэкенторп, Хьюберт Монтегг, Ксенократ, Кубо Саказ Кулька,
дури, Малколм Лафарг, Поль Леви, Примо Леви, Эйми Лехонь, Ян Л
дс-Лукан, Марк Анней Лукреций (Тит Лукреций Кар) Львова, Надежда Л
Майрбер, Матье-Франсуа Пиданса Майрхофер, Иоганн Майсснер, Альф
Отто Машаду, Жулио Сезар, Маяковский Владимир, Мёллер ван ден Б
в Михиз Монтерлан, Анри Морозов Сергей Мукерджи, Дхан Гхопат Муни
омура Вайхан Норденфлихт, Хедвиг Ньюмен, Френсис Одарченко, Брий
Абланкур, Никола Перье, Бонавантур Петерфи, Енё Петровская, Ни
Анатолий ПродикПротеё, Перегрин Пулаизас, Никос Пуллер, Льюис Рабс
Хосе Антонио Риго, Жак Ристо, Софи Ролдан, Белисарио Роллина, Мо
ека (Младший), Луций Анней Сеченьи, Иштван граф Силади Домокош
у Тейге, Карел Теренций, Афер Публий Тиндалл, Джон Тисдейл, Са
Жозе Франсизку Тул, Джон Кеннеди-Турбина, Ника Георгиевна-Тухо
к, Андре Фрейд, Зигмунд Фридель, Эгон Фрич, Герхард Фудзинс Кохе